

Михаил Захарович Никонов-Сморозин

Красная каторга: записки соловчанина

КРАСНАЯ КАТОРГА

ОТ ИЗДАТЕЛЯ

Тяжелые условия работы на зарубежном книжном рынке затрудняют продвижение даже насущно нужной книги к читателю. Эти обстоятельства вынудили нас издать не целиком документальный труд М. З. Никонова, озаглавленный им «Записки соловчанина», но только его половину, отложив остальную часть, рисующую захватывающую картину начала российского лихолетья в лично виденном и испытанном автором, до более лучших времен.

«Красная каторга» обнимая время от ареста автора до его побега (с лишком шесть лет) естественно не может претендовать на полноту использования богатого материала, имеющегося у автора. В нашем распоряжении имеются дальнейшие труды М. З. Никонова, являющиеся продолжением и углублением документального мемуара («Концлагерь в тайге») и в форме документального романа («Соловецкий заговор»).

Мы твердо надеемся — настоящая документальная книга вызовет спрос на нее у читателя и даст нам возможность издать дальнейшие труды М. З. Никонова.

Издатель

С. В. СМОРОДИН (М. З. НИКОНОВ) И ЕГО ЗАПИСКИ

М. З. Никонов-Сморозин — по происхождению крестьянин, по образованию и предвоенной службе — землемер, в Великую войну мобилизованный, в конце её, прапорщик в глубоком провинциальном тылу, свидетель тылового разложения армии. Затем участник и руководитель крестьянского «вилочного восстания» против утвердившейся большевицкой власти.

По ликвидации восстания один из многих тысяч тайных противобольшевиков, нырнувших в бездонную народную пучину с большевицкими «фальшивками» — сидеть у моря и ждать погоды, мелкими «спецами» на показной советской службе. Восемь лет просуществовал под ложным именем товарища Луки Лукича Дубинкина, служа по землеустройству сперва в Сибири, потом на Черноморском побережье. Здесь был узан, арестован, предназначен к расстрелу, но, в силу амнистии, получил замену «высшей меры наказания» ссылкой в Соловки на десять лет. Из них Никонов-Сморозин отмаячил шесть лет, то в Соловецком концлагере, то в командировках по материковым лагерям, в качестве «спеца» по пушному хозяйству, то на Белбалтлаге (на работах по прорытию Беломоро-Балтийского канала). На седьмой год мытарств ему посчастливилось бежать из «пушхоза» на Онежском озере в Финляндию. Представив коротким кондуитом автора записок, скажу два слова об их предмете. Большевики очень хвалятся своим строительством; «строй» — любимое словцо их казенного языка: Днепрострой, Волховстрой и т. д. Во всех этих «строях» у них, однако, не без прорухи: то выстроят плохо, и «строй» не действует; то выстроят хорошо, да оказывается — без надобности, себе в убыток: амортизация грозит растянуться лет этак на сто вперед. Совершенно не удался им и главнейший всеобщий их «строй»: водворение рабоче-крестьянского «рая на земле», — взялись не за свое дело и водворили нечто, как раз, обратное. Однако, надо отдать им справедливость: в обратном то они оказались действительно мастерами-художниками. Раи их сооружений никуда не

годятся, но зато ады, которыми они усеяли Россию, верх совершенства: непревосходимо приспособлены к цели отравлять жизнь человеческую и обращать ее в медленную смерть.

В последние годы советские «адострой» начали находить описателей из числа жертв, побывавших в когтях ангелов, правящих кругами большевицкой преисподней. Не девятью, как у Данте Алигьери, а гораздо большими, — десятками, — и один другого отвратительнее. Соловецкий «адострой» только наиболее пресловут. Из записок Никонова-Смородина читатели узнают, что и на материке учреждены большевицкими благодетелями такие счастливые местечки, при одной угрозе которыми даже измаянный солвчанин содрогается, бледнеет и делается всему покорным как ягненок, ведомый на заклание.

Предупреждаю: в записках Никонова-Смородина любители читать «ух-страшное» не найдут увлекательного размазывания ужасов садических жестокостей и прочих частностей палачества, которые живописать любят многие противобольшевицкие беллетристы, воображая, будто преувеличивать злодейство значит отталкивать читателя от злодеев, а в действительности только нездорово раздражать его воображение. Никонов-Смородин прост, фактичен, фотографичен, нисколько не беллетрист. Он отлично знает, что изображаемое им, само по себе так жутко и мерзко, что, если иному читателю надо втолковывать эту жуткость и мерзость усиленно раскрашенными иллюстрациями, то подобному читателю лучше и не читать его записок: значит, непроницаемо толстокож. В собственных страдальческих переживаниях Никонов-Смородин тоже не выставляет себя героическим мучеником, Прометеем таким, гордым титаном в оковах и с печенью, терзаемой свирепым коршуном. Напротив, то-то и жутко в Никонове-Смородине, что он просто симпатичный средний обыватель, провинциальный чеховский интеллигент, брошенный в условия непосильных титанических мук. И переживает он их не по Эсхилу, но обывательски, фаталистически покорным приспособлением к обстоятельствам. Выносит невыносимое, терпит нестерпимое. К чему только не в состоянии «привыкнуть» жизнелюбивый человек. До какой предельной растяжимости простирается его выносливость, что он может, сравнительно спокойно вспоминать и просто лаконически «отметочно» описывать.

Никонов-Смородин житель и бытописатель деревни, Солоневич в своей «России в концлагере» повествует по преимуществу о городе. Эти две книги дают жуткую картину советской действительности.

Леванто. 7 января 1938 г.

Александр Амфитеатров

Вам — живым героям, ведущим борьбу с темными силами в самой их цитадели, вам — героям подвигов несказанных, чьих имен и дел мы не посмели коснуться в рассказах о подсоветской России, ибо дело ваше живо, и вам, убитым тайно палачами, скрывающими этим убийством ваш подвиг, ибо один слух о вас, о вашем деле всколыхнет всякое верное Родине сердце, посвящаем мы эти строки.

Вам — здравствующим спутникам по страданиям, здесь описанным и неописанным, шлем мы наш братский привет.

К ЧИТАТЕЛЮ

С тех пор, как пораженная коммунистической чумой Родина-Россия осталась предоставленной самой себе и овладевшим ею темным силам, она стала для наблюдателя извне загадочной и непонятной.

Все, оставившие Россию и унесшие сюда, в чужие земли любовь к Родине и боль за нее, в своих представлениях видят все ту же вздыбленную революцией Россию, все тот же одурманенный бурей народ. Но это не так, ибо жизнь идет и творит новое.

Если представим себе на минуту нашу Родину — шестую часть суши, представим себе её необозримые пространства: степи, леса, горы, дикие от века дебри, вообразим, наконец, обитателей этой «шири необъятной», разбросанных по просторам и дебрям, не станет ли ясно-какая масса враждебных коммунизму людей осталась рассеянной внутри России, осталась незатронутая белой борьбой из-за невозможности преодолеть пространство, отделявшее их от белых армий. А главное, самое главное, из-за неосведомленности о всем тогда, в смутные после февральские годы, происходящем.

Не забудем: там остались затопленные коммунистическим потоком такие же, как и отступившие сюда за границу патриоты и патриотки. Разница только одна — оставшиеся испили горькую чашу «социалистического житья», испытали на своей шкуре проведенные в жизнь социалистические принципы и знают вкус «слезного хлеба социализма». Ушедшие за границу не знают ни того, ни другого.

Как течет жизнь оставшихся в России противников коммунизма, как они борются с темными силами? Не звучат ли эти вопросы в каждом верном Родине сердце? И еще, — продолжается ли борьба с темными силами в самой России, как она выглядит, когда мы увидим её пламя и увидим ли?

И вот я, спасшийся из горящего родного дома, живой свидетель части великой драмы, принес, как и другие, свидетельство о неугасшем духе борьбы, о великих страданиях наших сограждан, оставшихся залитыми коммунистическим потоком.

Я рассказываю здесь только о виденном и испытанном. В конце этого предисловия читатель найдет клятвенное мое удостоверение, свидетельствующее прежде всего, о документальности этой книги, не являющейся обычным беллетристическим произведением.

Мои записки, изображая кусочки подсоветской жизни, говорят о живых, не выдуманных людях. В гуще жизни подсоветской стираются её ужасы, ибо они для той жизни — повседневности. И эта повседневность кладет на жизни свое клеймо. Если здесь Александр Амфитеатов, наблюдая эмигрантскую жизнь, восклицал: «какая мы дрянь», то там, в подсоветской России, наблюдая жизни и людей в государственном аппарате, в деревнях, каторге и ссылке, он воскликнул бы, несомненно, тоже самое. Но мы не делаем отсюда безнадежного вывода.

Толпа — есть всегда толпа. В грязных делах она «дрянь», в великих сокровище. И хотя теперь будущее наши вожди и находятся в толп, обзываемой «дрянею», нет никакого сомнения, пробьет час и они встанут на свои места и поведут дрянь» на великия дела. «Дряне» в умелых руках превратится в бесценное сокровище. Драгоценный камень в руках дикаря только стекляшка; «дрянь» в руках мастера — это сокровище.

Большевики хорошо знают свою «дрянь». Во всяком случае, лучше, чем «дрянь» знает себя. Они знают свойство «дряни» при умелом руководстве делать великия дела и

занимаются охотой на скрывающихся в «дряни» будущих вождей. Чекистская поговорка: «лучше угробить сто человек невинных (читай — «дряни»), чем упустить одного виновного (читай — «вождя») — как нельзя лучше характеризует их внимательное отношение к «дряни», не страшной им без вождей и объясняет безлошадное истребление людей подвалами, ссылкой и каторгой в надежде убить в згродыше возможность воскресения России.

Любой из эмигрантов, очутившись в условиях полного коммунистического окружения, был бы вынужден принять участие в политической и общественной жизни. Эта деятельность для равнодушных и холодных выразилась бы в борьбе за кусок хлеба, а для патриотов с горячим сердцем, умеющих размышлять, она была бы борьбой под маской. Открытой борьбы не может быть; коммунизм затопил все. Борьба идет под маской. Борьба в одиночку, небольшими группами, целыми организациями. Она никогда не прекращалась и не прекращается, порою разрастается, порою уходит далеко внутрь.

Борьба не кончена поражением белых армий, борьба только приняла новые формы.

Приступая к своим «Запискам», должен предупредить читателя; я не был «столпом общества» и не имел никакого отношения к управлению страной. Я не состоял ни в какой политической партии и не лил воду ни на одну политическую мельницу. Обыкновенный прапорщик великой войны, я не был в рядах ни красной ни белой армий. Происходя сам из крестьян, я оставался большую часть жизни в самой гуще народной, болел болезнями моей Родины. Меня, как и миллионы других, оставшихся в России противников коммунизма, затопило взбаламученное коммунистическое море и предоставленный самому себе, я как умел боролся с темными силами, был свидетелем бесконечных коммунистических злодеяний. Живя восемь лет под вымышленной фамилией, соприкасаясь с агентами Коминтерна и рядовыми коммунистами, я стремился узнать их пути, их намерения, их надежды на будущее. Наконец, попав в подвально-концлагерную систему, шел с непрерывным людским потоком на мучения в Соловки, страдал вместе с толпами обреченных в самых гиблых местах каторги, то падая на дно каторжной жизни, то поднимаясь вверх. Я испытал все, что испытал бы каждый, не захотевший стать только простым свидетелем происходящего. И если послешести с лишним лет пребывания в подвально-концлагерной системе, я уцелел среди многих опасностей и бежал из лагеря в Финляндию, в этом вижу только милость Провидения.

В подвально-концлагерной системе я пробыл шесть лет и два месяца, в годы наибольшего разгула темных сил в России. Именно в эти годы каторга стала пульсом Великой страны. В концлагеря лились, буквально лились, так они были непрерывны, потоки людские, обреченные темными силами на уничтожение трудом и голодом. И хотя к этому потоку всегда в более или менее значительном количестве был примешан уголовный элемент, однако, остальная масса не уголовников шла на каторгу по приведенной выше чекистской формуле с одним общим штампом — «каэра» (контр-революционера). Пути в концлагерь, залитые кровью и слезами, стали настоящими артериями организма страны, охваченной коммунистической чумой. Разное впечатление в разное время оставалось от ощущения биения этого пульса. В иные годы, казалось, напряжение народного терпения достигло предела и вот-вот возникнет великий смерч, сметающий на своем пути все преграды. Ужас «раскулачивания», гибель крестьянского достояния, разруха в колхозах — все это с необычайной ясностью можно было видеть в местах скрещения всех путей советского гражданина, а особенно в фокусе этих путей — Соловецком концлагере.

В годы сплошной коллективизации, казалось, темные силы катятся в чудовищном вихре к своей гибели. Но прошли года, а темные силы, разгромив крестьянство, как класс, обескровив его, принялись за дальнейшую разрушительную работу.

И вот тогда, в эти трагические годы, плавая по взбаламученным каторжным волнам, то на высоком (техническом) посту зава звероводной и кролиководной секции зверосовхоза (зоофермы), созданного руками заключенных и ими же обслуживаемого, то на общих (физических) работах на Беломоро-Балтийском канале, то в самых окайненных местах Соловецкой каторги, я прошел, так сказать, полный каторжно-подвальный курс, понял и узнал многое, о чем, к сожалению, даже и теперь приходится молчать.

Многие причины заставили меня первоначально выступить под литературным псевдонимом. Однако со времени моего перехода финской границы прошло четыре года — срок для современной, богатой катастрофами политической жизни, очень большой, а для советской России это — целая эпоха. Произошло за это время многое, изменившее не только политическую обстановку внутри России, но и сделавшее явным многое из бывшего тайным. Моя тщательная зашифровка некоторых жизненных встреч уже потеряла во многом свою необходимость. Однако, частичная переделка написанного едва ли имела бы практическое значение. Поэтому я предпочел оставить все таким, каким оно было написано — зашифрованным в некоторых местах от агентов ГПУ, предпослав «Запискам соловчанина» написанный мною первым очерк «Правдисты», оставаясь по-прежнему под литературным псевдонимом Смородин.

Освещая здесь маленькие кусочки работы внутрироссийского Братства Русской Правды, должен заметить, что внутрироссийские Правдисты не имеют ничего общего с работающими, частью тайно, частью явно, в эмиграции организациями эмигрантского Братства Русской Правды. Как известно из публичного доклада генерала Деникина — эмигрантское Братство Русской Правды насквозь пронизано большевицкой провокацией. Слово «братчик» я услышал только здесь, за границей. В России ему соответствует «правдист», человек «Русской правды». Надоевшая всем до тошноты коммунистическая ложь, естественно, вызывает к жизни свою антитезу — правду, но правду не коммунистическую, а русскую. Её носители — «правдисты» (но не эмигрантские «братчики») — члены внутрирусской организации БРП — в своей борьбе пользуются правдой, как главным оружием, бьющим без промаха по коммунистической лжи. Их название «правдисты», как нельзя лучше, характеризует путь борьбы этих, безвестных пока, героев. Говорить более подробно о «правдистах» как в самом тексте книги, так и здесь я не имею возможности по понятным причинам.

Некоторые периоды подвально-концлагерной жизни оказались недостаточно освещенными по причинам от меня не зависящим. Однако, я надеюсь осветить эти периоды впоследствии, прибегнув к чисто беллетристической форме, дающей возможность хорошо зашифровать работу тайных противосоветских организаций, действующих в России.

Не ищите в этих очерках интересных вымыслов или романтических историй: жизнь в своих проявлениях превосходит всякий вымысел.

Эта книга является документом и только документом, свидетельствующим о большевицких злодеяниях, о подсоветской жизни, полной лишений и несчастий, о жизни-борьбе с темными силами под маской.

Эмигрантские представления о России сегодняшнего дня в такой же степени соответствуют действительности, в какой представление подсоветских людей об эмиграции соответствуют эмигрантской действительности. И вот, если мой труд, подобно книгам Солоневичей, бежавших через девять месяцев после моего побега почти из тех же самых мест, будет содействовать разоблачению советской лжи о подсоветской жизни, я буду считать цель свою достигнутой.

I. ПРАВДИСТЫ

1. В ПОДВАЛ ГПУ

Я с любопытством разглядывал вновь пришедшего молодого, здорового парня в старой, замызганной красноармейской шинели, красноармейском шлеме и рваной нижней одежде. Сквозь дырявые брюки выглядывало молодое крепкое тело. Он прошел ко мне на нары и лег, заложив руки за голову. До его прихода в камеру Казанского подвала я сидел один.

— Откуда?

— Арестован, что ли? Здесь, на вокзале. Еду во Владивосток.

Разговор не вязался. Незвестный целыми днями лежал и молчал. Потекли тоскливые дни. Новичка раза два водили на допрос.

— Ну, как?

— Да ничего. Пересылают в Баку.

В долгие томительные ночи и в звенящей тишине дня нас угнетали наши мысли, наше горе. И это тоскливое ожидание постепенно сламывало взаимную настороженность. Незаметно мы ближе узнали друг друга.

Неизвестный ехал в Екатеринбург, но в Казани был арестован при выходе на перрон из теплушки товарного поезда.

— Эх, жаль, деньги пропадут в Екатеринбурге. Должен был получить на почте.

— Ну, что жалеть деньги: это все пустяки. Незвестный иногда целыми днями лежал молча и неотступно думал о чем-то. Иногда ему, видимо, становилось невольно.

— Кто это мог сделать? Ведь, я арестован не случайно, меня здесь поджидали. Кто же это сделал? Документы у меня были в порядке...

Как-то ночью, когда я и сам был в тоске, ожидая расстрела, неизвестный заговорил о возможности побега.

Он, оказывается, тщательно изучил весь Казанский подвал, но пришел к безнадежному выводу. Теперь мы начали обсуждать и взвешивать возможность бегства с этапа на пути его следования.

Я чувствовал — этому человеку только один выход — бежать. В подвале его ждет смерть. Баку, вероятно, оттяжка. Может быть он имеет бакинские документы? Я не выдержал и спросил, за какое дело он сел.

— Дело есть. И подумать мне есть о чем. Да, ведь, вы не знаете. Слыхали что-нибудь о «Русской правде»?

— Это сборник законов Ярослава Мудрого?

— Ну, так, значит, не слыхали.

2. НА ЭТАПЕ

Измученный долгим приемом в серой громаде Бутырской тюрьмы, наш этап в сто с лишним человек, направился, наконец, через сжатый корпусами тюрьмы, тюремный двор и попал в сто двадцать четвертую камеру на третьем этаже одного из многочисленных каменных корпусов.

Казаки, офицеры, служилая интеллигенция всяких рангов, бандиты, воры, отпетая шпана — вся эта измученная компания стремилась растянуться на деревянных топчанах, наставленных без особого порядка по всему пространству обширной камеры.

Наш этап по советским масштабам считался маленьким и мы избавились на этот раз от лежания прямо на каменном полу, как в большинстве советских тюрем. Однако, камера при нашем приходе не была совсем пустою: в ней еще находились остатки от какого-то этапа с юга России. Впрочем, их небольшая группа потонула в вошедшей толпе.

Но наши мучения еще не кончены. Едва молчаливая толпа разместилась на топчанах и начались исподволь тихие, вполголоса, разговоры, переходящие в тихий гул, как в камере появился надзиратель и все смолкло.

— Выбрать камерного старосту, — сказал надзиратель не передаваемым чекистским тоном.

— У нас староста уже есть, — отозвался быстрый рыжеватый, синеглазый детина Веткин, ближайший к вошедшему начальству.

— Фамилия? — спросил надзиратель.

— Кудрявов, — сказал Веткин.

— Возражений нет? — сказал полунасмешливо тюремщик.

— Кудрявов, Кудрявов, — вполголоса сказали с десяток людей чужого этапа.

Надзиратель записал фамилию, вызвал «выбранного» старосту и дал ему нужные распоряжения, относящиеся к внутреннему распорядку.

На фоне затасканной по тюрьмам толпы, сутулая фигура анархиста Кудрявова выделялась своим «тюремным достоинством», сквозившем в каждом его движении. И не мудрено: Кудрявов почти девять лет пробыл на старой каторге и теперь в смутные дни 1928 года шел на три года в Соловецкий концлагерь.

Он принял избрание как должное, хотя сам по себе этот факт некоего, пусть даже эфемерного, господства человека над человеком и противоречил анархическим принципам. Очевидно старая и новая каторга наложили свои отпечатки на эти принципы,

хотя Кудрявов формально оставался анархистом и даже в уборной, где нас целыми группами по очереди запирали одних, тщательно выводил среди других надписей на стенах: «анархия — мать порядка».

Мы поместились у одной из колонн, поддерживавших потолок камеры, вчетвером: я — столыпинский землемер, староста анархист Кудрявов, народный учитель крепыш Матушкин и синеглазый Веткин. Я прибыл с Казанским этапом, они с южным. Однако это не помешало нам узнать вскоре во всех подробностях наши «истории» и чувствовать себя во всяком случае друзьями по пословице: «Истинные друзья познаются в несчастье».

Кудрявов любил пофилософствовать и его философия чаще всего касалась близких ему тюремных тем.

— Тюрьма — это не простое собрание случайных людей, — говаривал он.

Если хочешь узнать чем болеет власть — загляни в тюрьмы. Здесь ты найдешь всех микробов, выловленных властью на своем теле. И настоящее лицо власти увидишь.

Матушкин ничуть не сочувствовал анархическим идеям Кудрявова.

— Вот вы живы, — возражал он Кудрявову, — потому, что вы микроб не из опасных. Опасных микробов нынешняя власть прямо к ногтю. Могила куда на дежней тюрьмы. Только случайно не узнанные микробы проскальзывают в тюрьмы и в лагеря.

— Это отчасти верно, Матушкин, — соглашается Кудрявов, подняв по детски брови и продолжая усиленно курить. — Все-таки, у них нет возможности уничтожить всех. Да и случайности всякия бывают.

Матушкин украдкой переглянулся с Веткиным и, потушив веселый огонек в глазах, опять обратился к Кудрявову:

— Вы вот, так сказать, человек двух каторжных эпох и можете сравнивать режимы. Каков вам кажется на вкус нынешний советский режим?

Кудрявов нахмурился, но продолжал говорить все так же размерно, как и раньше.

— Видите-ли... Советская власть это нечто неопределенное. Во всяком случае это совсем есто юной царицы свободы — дряхлая беззубая старуха — вот что такое советский режим.

Кудрявов оживился и сел на топчане.

— Революционеры боролись за счастье человечества, за его будущее. И вот вам результат их ложного пути. Только одна анархия может дать счастье человечеству, — с убеждением закончил Кудрявов.

Матушкин с сомнением покачал головой.

— Теперь люди едят друг друга на законном основании а тогда будут есть вообще без всякого основания. Это, извините, будет не старуха вместо юницы, а просто гроб.

— Хорошая палка, да крепкая рука — вот это будет порядок, — неожиданно выпалил Веткин.

Матушкин укоризненно на него взглянул. Водворилось небольшое неловкое молчание. Правдисты — Матушкин и Веткин перестали вести разговор на опасную тему. Кто знает — может быть анархист Кудрявов просто сексот.

3. СОЛОВЕЦКИЙ СЕЛЬХОЗ

Вот она — знаменитая социалистическая «тюрьма без решеток» — Соловецкий концлагерь. Тюрьма по сравнению с лагерем казалась раем. Палачи красной каторги часто орали перед молчаливым фронтом каторжан:

— Здесь вам не тюрьма, а Соловки. Мы выбьем из вас тюремные привычки.

И выбивали. Не палкой, не плетью. Для такой массы народа надо слишком много палок и плетей. Избиение такой массы людей все-таки ведь работа и большая. Выбивали непосильным трудом, голодом и лишением сна. Особенно тяжел карантинный срок — первые две недели по прибытии на «остров пыток и смерти». Днем изнурительная работа, ночью работа «на ударнике» до трех-четырёх утра. Подъем в шесть утра и снова изнурительная работа с небольшим перерывом наеду. В этой сумятице дни и ночи слились в какой-то бесконечный, дикий вихрь. Нас группами посылали на разные работы, одни группы уходили из карантинного помещения, другие приходили. Едва усталые люди добирались до нар, как появлялся ротный или взводный командир карантина, изрыгал ругательства, гнал группу на новую работу и оступелые люди молча шли и работали.

Я попал с Матушкиным в одну группу, и мы мотались вместе по карантинным мытарствам.

Матушкин — народный учитель, крепкий, среднего роста, прибыл в эти гиблые соловецкие места, как и я, на десять лет. Даже статья у нас была одинакова: пятьдесят восемь два — активная контрреволюция. У него был всегда спокойный вид. Даже во время непосильной работы он не терял спокойствия. В нем чувствовался настоящий, цельный человек. В огромном большинстве каторжане, пройдя через ужасные подвалы ГПУ, прибывали на каторгу деморализованными, упав духом. Встретить человека, как будто нетронутого тлетворным дыханием подвала было ново и приятно. Мы вскоре близко узнали друг друга и подружились. Здесь же в лагере, в женской роте была и жена Матушкина, учительница комсомолка. Ей дали только три года за соучастие или за укрывательство.

Матушкин, во время наших недолгих встреч наедине, по его рассказам «зарабатывал статью» несколько лет. Несколько лет он был главой своего района. Как только советская власть начинала какую-нибудь очередную кампанию, Матушкин принимался за разоблачения. Он сам изготовлял обличительные прокламации, листовки и распространял их по созданной им обширной сети, хорошо организованной и безусловно чистой от агентов ГПУ. Сам он, женившись на комсомолке-учительнице, вел двойную жизнь. Оставаясь по виду советским «своим человеком» в партии и в школе, втайне руководил «правдистами» в своем районе. Литературу и директивы он развозил по своим ближайшим правдистам сам и передавал из рук в руки. Свои поездки он так умело маскировал служебным делом, что потом, после провала. ГПУ не могло арестовать ни одного «правдиста».

— Ну, а с границей вы имели связь? — спросил я его.

— Прямой — нет. В нашу внутрирусскую организацию попадали иногда эмигрантские прокламации и листовки, со стороны, так сказать. Вот, например, помню карикатура в листовке: изображен еврейский воз, везомый рабочим, крестьянином и красноармейцем. На дуге надпись «коминтерн». Но вообще связь с границей дело невозможное — сразу можно провалить всю работу. У ГПУ за границей в эмиграции, очевидно, надежная сеть из агентов-провокаторов.

Провал Матушкина произошел совершенно случайно. Не застав дома одного из своих агентов, тоже по профессии педагога, он оставил ему пачку литературы. Эта литература попала в ГПУ. Агент-педагог успел скрыться, но Матушкина предупредить не успел. Несмотря на все ухищрения чекистов, у арестованного Матушкина не нашли ровно ничего компрометирующего. Он жил при школе и у себя никогда ничего подозрительного не держал. Весь аппарат организации и вся его сеть остались целы. Только поэтому и сам Матушкин не был расстрелян и попал на Соловки.

Однажды мы с Матушкиным остались наедине и могли говорить откровенно, не боясь быть подслушанными. Матушкин сообщает:

— Знаешь, меня не забывают ребята.

Он вынул две открытки, прошедших лагерную цензуру. Одна открытка была адресована «Матушкин».

— Они и фамилии моей хорошо не знают, — пояснил правдист.

В открытках авторы ободряли своего друга, в несчастьи сущего, иносказательно сообщали о делах, идущих успешно и кончали трогательным обещанием никогда его не забывать.

— Как же это через цензуру прошло?

— А почему бы не пройти? Цензоры разные бывают, — возразил он улыбаясь.

— Вечером мы опять были в карантинной роте, под пятивековыми сводами, в каменной громаде Преображенского собора. Мертвая гнетущая тишина, несмотря на множество лежащих на нарах людей. Но вот дверь с шумом распахнулась, и вошедший ротный заорал:

— Встать. Смирно.

Все замерло. Оказалось — пришел стрелок-охранник.

— Матушкин. Без вещей.

Матушкин встал и пошел за охранником. Куда? Кто знает?

Веткин тревожно посмотрел ему вслед. Уходя, Матушкин кивнул ему головой и скрылся за дверью.

Впоследствии я познакомился поближе с Веткиным, быстрым, энергичным тридцатилетним парнем. Когда, бывало, начнет рассказывать о своих необычайных похождениях, глаза его так и загорятся огнем. Сколько раз он переходил границу туда и обратно — и сам не помнит. Над своей фамилией он не раз посмеивался. Ясно было, что фамилия вымышленная. Этот неутомимый ходок попался в лапы ГПУ не в своем районе, а в другой губернии. Там в тюрьме он и встретился с Матушкиным. Веткин относился к нему как к старшему, Матушкин им руководил.

Любимым занятием Веткина было чтение и объяснение Евангелия. Он походил на сектанта. Как и Матушкин — ке курил, не пил и, вдобавок, не л мясо.

Я ломал голову — куда это могли взять Матушкина? Веткин уже посмеивался:

— Ничего, не иголка, найдется.

Утром Матушкин был на своем месте. Расспрашивать нельзя — не принято, — таков каторжный режим.

* * *

Через две недели кончился карантин, и мы втроем: я, Матушкин и Веткин попали в сельхоз рабочими по уборке сена. Получили на руки особый документ «сведения», с которым ходили из кремля и обратно без конвоя. Однажды утром на мощеном камнем дворесельхоза, где собирались по утрам рабочие, Матушкин потянул меня за рукав:

— Пойдем.

Мы пересекли двор, завернули налево и вошли в постройку вроде сарая. Снова двери, какие-то закоулки и, наконец, комната с двумя большими окнами и четырьмя постелями. У правого окна, за столом, сидел высокий рыжеватый человек с редкими оспинами на веснушчатом лице.

— С приездом, — добродушно приветствовал он, протягивая руку и радушно усаживая нас на колченогую скамью. — Привыкайте, привыкайте, это необходимо. Из каких краев?

Это был полковник (агроном) Степан Герасимович Петрашко. Он сидел уже второй раз. По первому разу отбыл полностью свои три года и был выслан в Сибирь. Через полгода вновь получил уже десять лет и опять попал на те же Соловки. Человек он размашистый, заметный. Его можно было всегда узнать издали по энергичной фигуре. Он ходил твердым решительным шагом, и совсем не имел вида пришибленного несчастьями.

Каждый день мы заходили в барак сельхоза на несколько минут: перекинуться словом, узнать новости. Завелись новые знакомства, открылись новые возможности вырваться из Соловецкого кремля и поселиться здесь в сельхозе. Рабочие сельхоза жили разбросанно; при конюшнях, мастерских, на сортоиспытательной станции, при конторе и во многих других местах. Все эти рабочие входили в состав так называемой «сводной роты».

Мало по малу лагерные вихри разбросали нас в разные стороны. Я попал на кирпичный завод на тяжелые физические работы. Лагерные новости, называемые там «радио параша» известили, что Матушкин пошел в гору и уже где-то является небольшим начальством. Очевидно у него и здесь, среди лагерного начальства, оказались «свои ребята».

4. СОЛОВЕЦКИЙ ЗАГОВОР

Зима 1929 года была для соловчан особенно тяжелой. Активных контрреволюционеров и аристократов снимали с не физических работ и отправляли на тяжелые физические работы. Двенадцатая рабочая рота, куда бросали всех снятых, была переполнена. Туда попали между прочими активными врагами власти, и я с Петрашко. Матушкин посылал довольно часто к нам Веткина. Он приходил обыкновенно с какою-нибудь уже свареною снедью, или варил что-нибудь на нашей ротной плите. Где-нибудь в сторонке, у плошки с кашей, после трудового дня, мы вели тихие разговоры. Веткин рассказывал свои удивительные истории о боевой подпольной работе, об агитации под видом сектанства. Сколько раз он был на краю гибели, но обычно ускользал; уже теперь, спустя несколько лет, он встретил здесь своих агентов. Конечно, делали вид, будто никогда не видали друг друга. Еще бы: ведь Веткин сидит за сектанство, а об его настоящей физиономии ГПУ не имеет понятия.

Пришла весна, а с нею и большие перемены в на шей судьбе. Снятые с не физических работ опять постепенно возвратились к своим прежним работам, ибо ставка лагерной администрации на полуграмотный уголовный пролетариат, призванный заменить в работе интеллигенцию, оказалась, конечно, битой. Ничего кроме большой путаницы в работе лагерного аппарата из этого дела не получилось. Но такова уж судьба большей части коммунистических социальных опытов. Петрашко вернулся в сельхоз и поселился над конюшней, Веткин оставался по-прежнему в сельхозском бараке. Мне не повезло я попал на кирпичный завод и «втыкал» на выделке кирпича, изредка с оказией посещая своих друзей.

Неутомимый Веткин и в бараке сельхоза продолжал свое дело. У него всегда было под рукой Евангелие. Как только свободная минутка, около него уже небольшая группа, и его синие глаза блестят огоньком. Он начинает с евангельских тем и постепенно пережует куда надо. Удивителен природный ум этого простяка-самородка... Не искушенный тонкостями риторики, он искусно владел речью, ловко вкладывал в нее нужный ему задний смысл.

Матушкин уже в роли небольшого начальника, обязанного следить за порядком, иногда, как бы случайно, заходил в барак и обращался к Веткину всегда с одной и той же укоризной:

— Веткин...

Синие глаза погасали, Веткин прятал Евангелие, и, как ни в чем не бывало, принимался опять за свое дело.

С Матушкиным он уже не встречался и не разговаривал на людях: Матушкин был начальством и его положение надо было охранять; он должен был изображать власть предержажущую. И изображал.

В одно ясное, но отнюдь не веселое, июньское утро, возвращаясь из кремля на кирпичный завод, тотчас за Святым озером я встретил Петрашко. Мы добрались до маленькой солнечной полянки.

— Зайдемте сюда, за кусты, — сказал Петрашко. — Я имею кое что вам сообщить.

Я с любопытством ожидал услышать одну из волнующих соловчан новостей, вроде перемены лагерной политики. Однако, разговор вертелся около второстепенных лагерных новостей. Я видел «Я видел «Петрашко был чем-то взволнован, все время курил и односложно отвечал.

— Какая вас муха укусила? — спросил, наконец, я. Петрашко швырнул окурок и пожав мою руку, сказал:

— Будем добывать себе свободу сами, вот что я хотел сказать.

Видя мое недоумение, Петрашко подробно рассказал мне об обширном заговоре среди заключенных казров. Цель заговора — захват островов, средств передвижения и отступление, в случае нужды, в Финляндию. Заговор охватывал весь лагерь, включая и Кемь.

— Так вот, закончил он, — активным участником я вас не приглашаю — нас уже достаточно, чтобы захватить этот курятник. Но не удивляйтесь, когда наступят решительные часы и мы придем снимать охрану и у вас на кирпичном.

С этого самого дня после свидания с Петрашко, охваченный внутренней радостью, я забыл и о своей тяжелой доле и о непосильном труде: только бы как-нибудь про держаться до вождяленного момента. Каждый новый день я встречал мыслью: не сегодня-ли? Впрочем, мое положение вскоре изменилось к лучшему: я устроился на работу в Соловецкий Пушхоз (зооферма). Навещая иногда сельхоз, я находил правдивистов бодрыми и радостными. За это время на каторгу прибыло еще несколько свежих «правдивистов», не расшифрованных чекистами, и они принесли вести о проникновении членов Б. Р. П., борцов-правдивистов в стан врага под личиною усердных сотрудников. Борьба принимала новые формы и велась по всему фронту — уходя в низы и поднимаясь на верхи к правящему кулаку.

Бойцы-одиночки, вкрапленные во вражескую массу — вот настоящие герои-борцы за страждущую Родину, за истязуемый народ.

Слушая сообщения правдивиста Веткина о некоторых подробностях боевой работы Братства Русской Правды, я чувствовал, как радость охватывает меня и я сознаю себя не песчинкой, не тростью, колеблемой коммунистическими ветрами, а искрой вот этого огонька борьбы, призванной согреть надеждою усталое сердце, а может быть и зажечь общий пожар борьбы.

* * *

В конце лета грянул неожиданный гром: организация провалилась, как-всегда бывает в таких случаях, от оплошности одного из заговорщиков. Петрашко был арестован. Настали жуткие дни. Свыше двухсот человек заговорщиков сидели в изоляторе, между тем заговор охватывал более шестидесяти процентов лагерного населения и дело могло закончиться общей расправой. Однако, цвет заговора, запертый в особый изолятор оказался настоящим героем. Арестованные заговорщики держались мужественно. Они не выдали никого. Петрашко все время следственного периода издевался над следователем и умер героем. Матушкин остался все таким же спокойным и решительным. Веткин уже не брал в руки Евангелия: он также ожидал неизбежно трагической развязки.

Матушкин употреблял все меры, чтобы поддержать свою группу. Он даже ухитрялся, пользуясь своим положением и братскими связями, передавать смертникам передачи, рискуя и сам попасть за решетку.

Двадцать второго ноября 1929 года шестьдесят три заговорщика были выведены из «Святых ворот» и расстреляны на монастырском кладбище. Здесь погибли: Петрашко, тайный правдист, то есть член внутрирусской организации Братства Русской Правды, профессор Покровский, оккультист Чеховский, несколько рабочих (например Попов — отец одиннадцати детей), девяносто процентов бывших на Соловках моряков, гвардейские офицеры, скауты, финны. Среди моряков был даже адмирал — крепкий человек с большими рыжими усами и серыми глазами. Сто сорок остальных заговорщиков были расстреляны немного позднее под Секирной горой. Чекисты, убедившись в обширности заговора, труслили и расстреляли заговорщиков на скорую руку, самосудом, без санкции Москвы. Но в лагере в это время уже свирепствовал тиф, расстрелянные были проведены по лагерным приказам умершими от тифа.

* * *

В 1933 году я уже был на спокойной работе в лагере, на материке и как нужный специалист, пользовался некоторыми благами, в том числе отдельной комнатой.

Я только что встретил старого соловчанина Петю Журавлева — лицеиста, попавшего в лагерь еще юношей, за панихиду по убиенному царю. Мы сидели у меня в комнате и делились новостями. Вспоминали и старое.

— Где-то теперь наш Матушкин?

— Жена его отсидела свое и уехала. Однако, мужа своего она не забыла. В прошлом году Матушкина вывезли на Беломоро-Балтийский канал. Тут он и исчез.

— То есть, как это исчез?

— Скрылся. Жена привезла ему подложные документы, и они оба убежали. Бесследно исчезли. Жена то ведь была коммунисткой, а теперь, очевидно, ушла в противоположный лагерь. Веткин по окончании срока сидения в Соловках, был сослан в Архангельск. И, конечно, скрылся, как только попал на берег.

Мы радовались их счастью, счастьем свободных дней, счастьем борцов за Русскую Правду не потерявших воли и способности к борьбе в этих местах ужаса и гибели.

II. НА РОДНЫХ НИВАХ

1. ОПЯТЬ ПОБЕГ В ПРОСТРАНСТВО

Шесть лет тому назад я прибыл в Сибирь, прорвавшись через чекистские заставы, каждую минуту рискуя быть узнанным и получить чекистскую пулю в затылок за свое контрреволюционное прошлое. Этот первый «побег в пространство» укрепил меня на моих нелегальных позициях: теперь в кармане у меня профсоюзная книжка, служившая и паспортом, у меня пятилетний профсоюзный стаж и сам я, Лука Лукич Дубинкин, «выросший» из землемера Смородина, постепенно из скромного конторщика стал завоём уездным землеустройством Устькаменогорского уезда, Семипалатинской губернии, применяя на советской ниве свой опыт столыпинского землеустроителя. Однако, если вообще под луною ничего не вечно, то под луной советской и подавно. Мой патрон коммунист, зав уездным земельным управлением, как-то оставшись со мною с глазу на глаз, впрочем, не глядя на меня, сказал:

— Вот что, Лука Лукич, тут говорят будто вы бывший белый офицер и скрываетесь под вымышленной фамилией.

Что было отвечать на такой прямой вопрос, звучащий, собственно, не вопросом, а утверждением? Оставалось — принять невозмутимый вид и что-нибудь промямлить, благодаря в душе, не потерявшего еще человеческих чувств, коммуниста.

Однако, передо мной встал тотчас же вопрос: как наилучше застраховать себя от чекистского подвала? Выход находился только один — немедленно драпать.

Будучи уже на Семипалатинском воксале, я долго соображал: куда, собственно драпать. То есть, я не выбирал места, куда именно бежать, но только направление-то ли к Атлантическому океану, то ли к Тихому.

Теперь уже в точности не помню, почему я забраковал направление на Владивосток и направился к Черному морю.

В конце июня наступили летние жары. Безжалостное солнце целый день калило горячие семипалатинские пески и все живое спряталось от его огненных стрел. Стоял полный штиль и в душном мареве раскаленного воздуха замерла всякая жизнь.

Из окна вагона отходящего поезда я в последний раз, выглянул на рассыпавшийся по степи Семипалатинск и мысленно распрощался с этим привольным краем.

Поезд мчался на север, врезаясь в бескрайные степи, палимые солнцем. Встречные станции — типичные степные поселки, рассыпавшимися по степи домами напоминали казачьи станицы далеких черноморских степей.

В вагоне жарко и душно несмотря на открытые окна. Я всматриваюсь в новую жизнь, сравниваю сегодняшнее нэповское время с бывшим шесть лет назад (эпоха военного коммунизма). Какая разительная перемена! Никто не спрашивает личных документов, обычная публика наполняет вагон, располагаясь кто как может. Совсем довоенное время. Но опытный глаз замечает переодетых чекистов, часто проходящих через вагон. Они,

вероятно, выработали для слежки менее тяжелые приемы, чем постоянная поголовная проверка документов в двадцатых годах.

На перроне каждой станции при встрече поезда торчит неизбежный чекист в форме ТОГПУ ^Ш. Впрочем, на эту фигуру публика не обращает никакого внимания. ГПУ еще не затрагивало массы и массам было наплевать на ГПУ.

Более двух суток поезд мчится на север, оставляя позади раскаленные степи и врезаясь в более прохладные пространства, переходящие далее в лесостепь. За Барнаулом, главным городом Алтая, уже начинается переход к Барабинской степи с её куртинами деревьев и блестящими зеркалами отдельных озер. Буйная растительность этих степей, дающая приют бесчисленным птицам и степным животным, колышется словно зеленое море, обвеваемое ласковыми, полными весенних степных запахов, ветерками. Какое здесь бесконечное приволье и как все пусто! Редко увидишь где-нибудь вдали степной поселок или хутор. И в этих благословенных, раздольных степях семь лет тому назад валялись трупы русских людей, убитых только за свое несогласие с коммунистическими принципами. Порой в степи можно видеть белеющие кости. Может быть это кости людей, нашедших здесь безвременный конец?

Тысячу верст до самого Ново-Николаевска, переименованного теперь в Новосибирск, мчится поезд на север. И горячие Семипалатинские степи уже кажутся сном в этих прохладных местах, едва освободившихся от зимних оков. На станциях продают лесную землянику, в полях колышется колосющаяся рожь. В это самое время в Семипалатинской губернии идет жатва хлебов и в самом разгаре сенокос.

Я не узнал Ново-Николаевска. Из захолустного уездного города он превратился в центр. Выстроены целые кварталы новых громадных зданий. На улицах большое оживление. Мне очень хотелось пройти на окраину города и взглянуть на колбасный завод, где мы — компания скрывавшихся офицеров и скаутов изображали из себя счетоводов, по вечерам ели «суп из двух блюд» и мечтали о скорой гибели коммунистических насильников. Но у меня не было времени: мой путь лежал на запад в Новороссийск, к лазурным берегам Черного моря.

День и ночь мчится поезд по прямому, как стрела, пути, по сибирским просторам, день и ночь бегут мимо бескрайные степи. Опять медленно нарастает тепло. Во встречных полях рожь уже наливается, зеленеют пшеничные поля и яркими темно зелеными пятнами выделяются посеы проса. Ближе к Уралу уже начался сенокос. Тепло движется на встречу нам или вернее — мы летим к теплу.

Станции мелькают, оставаясь сзади поезда в грохоте колес по скрещениям рельс и в обрывках облаков пара и дыма паровозов.

На станциях продают съестное, появляется в продаже зелень, лук, ревень и даже клубника. Приятно выйти на несколько минут на перрон, вмешаться в пеструю толпу, поговорить с незнакомыми людьми и подышать свежим воздухом.

На одной из глухих станций близ Урала я хотел купить себе съестного. Только что прошел дождь и у перрона не видно ни одной торговки. Вероятно, придется добежать до ларька невдалеке от станции или зайти в буфет.

Я уже совсем направился к дверям буфета, но, взглянув налево, едва не вскрикнул от изумления. Невдалеке от меня стоял скучающий чекист, смотревший в противоположную

сторону. По сутулой фигуре и привычке держать руки за спиной, я скорее угадал, чем узнал в нем своего однополчанина прапорщика Мыслицина.

Он медленно повернул ко мне лицо, смотря как-то вверх меня. Да это несомненно он. Я круто повернулся к нему спиной и вошел обратно в вагон. Еще раз осторожно посмотрел на него в окно и вздохнул с облегчением, когда станция осталась позади.

Что заставило Мыслицина поступить на службу в ГПУ? Может быть, безвыходное положение, житье под вымышленной фамилией? Насколько я его знал, он относился к большевикам резко отрицательно.

Во всяком случае нужно быть осторожным при выходе на станциях.

Поезд подходит к Уфе. Здесь могут быть неожиданные встречи. Шесть лет тому назад меня здесь искали с директивой чека — убить на месте. Я забрался на среднюю полку и притворился спящим.

После Уральского хребта и природа и люди все резко изменилось. Мелькают частые деревни, села, поля, перелески. Поля уже наполовину сжаты, сено почти скошено. В Сызрани на Волге продают вишни и помидоры.

На каждой станции толпы веселой детворы смеющейся, шумливой. Кое-где встречаются то слепые музыканты, то певцы. Вагоны переполнены настоящими русскими людьми.

Новая экономическая политика (нэп), то есть возврат к старым экономическим формам влила в жилы истомленной революцией деревне и худосочному городу новую жизнь.

Начались черноземные степи. По ночам ясное небо пылало в зарницах и далеко в степях мигали огни невидимых хуторов и сел. Звуки гармоники на станциях, а иногда и хоровое пение стали обыкновенными. Толпы молодых парней и девчат приходили на станции встретить поезд, если он проходил под вечерок. Тут же крестьяне и подростки продавали съестное. В буфете можно было получить обед и закуски. Все было, по внешнему, как прежде. Я с тяжелым чувством слушал разговоры одураченных крестьян, принимавших все деяния коммунистической власти за чистую монету, радующихся обновленной жизни как своей победе. Они, конечно, не чувствовали и не подозревали грядущего близкого разгрома своих иллюзий.

* * *

Поезд наш покинул широкие степи и стал скрываться в туннелях, вырываясь из них на высокие насыпи. Навстречу нам неслись горы Кавказского хребта. Около Новороссийска хребет подходит почти к самому морю и отсюда идет на восток, постепенно удаляясь от него.

Меня занимало море: сейчас я его увижу. Силюсь рассмотреть из окна обрывки морского простора и вдруг застываю в изумлении: вот оно море. Оно мне показалось лазурной горой, уходящей в небо. Еще и еще повороты пути и, наконец, поезд останавливается у станции, прогремев по железной сетке скрещивающихся путей.

Я беру свой маленький чемоданчик и иду по незнакомым улицам Новороссийска. Мне хочется поскорей добраться до моря. Невдалеке от него снимаю скромный номер в частной гостинице и иду к набережной.

Вот оно плещется у моих ног. Лазурная вода отливает на солнце зеленоватыми отсветами, бесконечно приятными для глаз. Передо мною уже нет лазурной горы. Вместо неё разостлалось лазурное поле, скрывающееся за горизонтом и далекие волны нежились у призрачных горных берегов и одетых зеленью скал.

Воздух здесь такой, какого я не встречал нигде. Мне казалось — его можно было пить.

Несколько дней я предавался с упоением лежке на морском берегу и купанью. Я забыл обо всем: о своем скитальческом жребии, о темном, полном неизвестности, будущем. Странное безразличие ко всему овладело мною на берегу лазурных вод. Казалось — море погашает и стремление к новому и вечную неудовлетворенность,двигающую человека вперед и угнетающую его в этой земной юдоли.

* * *

В отделе землеустройства Черноморского земельного управления (Черокрзу) меня — загорелого и уже обвеянного морскими ветерками, встретили с удовольствием: был большой недостаток в землемерах, и я пришелся как раз кстати. Назначение на работу не замедлило состояться.

2. СОВЕТСКИЕ АГРОНОМЫ

В Туапсинском уездном земельном отделе обычная сутолока. Кабинет зава, насквозь прокуренный табаком, набит обычной советской публикой. Около стола уполномоченные земельных обществ, ожидающие землемеров, агрономы. Мы с уездным землеустроителем сидим против зава. Высокий рыжий украинец доказывает заву:

— Что же это такое, товарищ Францкевич, мы без малого год ждем землемера. Кругом идет землеустройство, а у нас нет.

— Зав спокойно возражает:

И не будет. В первую очередь землеустройство коллективов и поселков. А у вас хутора.

— Так в законе-ж сказано — выбирай какой хочешь способ, чи хутор, чи там коллектив, — возмущается рыжий.

— Сказано, сам знаю, сказано. Так где же вам землемеров взять? Вот он (кивок на меня) один приехал, а тянете в пять мест.

Украинец еще возражает, напоминает о каких-то обещаниях, но зав уже говорит с другими.

— Вот, товарищ Дубинкин, — обращается ко мне зав, — поедете в Джубгу. Здесь у нас как раз и агроном участковый.

Я оглядываюсь по указанному направлению и вижу худощавую девицу лет тридцати с папиросой во рту и толстым портфелем на коленях. Рядом с ней молодая практикантка из сельскохозяйственного вуза.

Мы условились относительно отъезда и из кабинета зава втроем направились на пристань. Вскоре должен был отойти пароход в Новороссицк, делающий остановку в Джубге. Пока мы устроились на берегу моря и начали с деловых разговоров.

Агроном Настя Дроздова окончила Екатеринодарский сельскохозяйственный институт в прошлом году и теперь работала участковым агрономом Джубгского участка. Живет она с матерью в курортном селе Джубге, верстах в семидесяти от Туапсе. её подруга Оксана Хвинар оканчивала курс того же института в будущем году и, здесь в Джубге, отбывала практику. По советскому обычаю я уже звал их только по именам.

— Как у вас обстоит дело с коллективизацией?

— Скверно, — цедит сквозь зубы Дроздова.

Оксана возмущается:

— Мы в работе совершенно одиноки. Нам никто не помогает. Да и помощи ждать от таких сотрудников землеустройства, как здесь, трудно.

— Брось, Нюра, к чему нам это? — морщится Настя.

— Вот еще, новости какие, да чего же молчать? — кипятится Оксана. — Вы подумайте, — обращается она ко мне, — послушаешь здешних землемеров, так это сплошная контрреволюция.

— Во первых, это слишком широко «здешних». Нужно говорить только о Николае Ивановиче Петрове. Действительно, однажды, разговаривая с нами, он говорил непозволительные вещи о советской власти, о партии. И вообще относился к современному строю критически.

Я искоса посматривал на возмущенных агрономов, свежее испеченных советских деятелей, поднявшихся со дна — «дочерей двух крестьян и одного рабочего от станка — как остряк комсомольцы, щеголяя оппортунизмом.

Я пытаюсь успокоить Оксану:

— Знаете, прежде употреблялась поговорка «за глаза и царя ругают». Очевидно русскому человеку вообще свойственно ругать государственный порядок, какой бы он ни был.

Оксана набросилась на меня, щеголяя знаниями обществоведения. Она стреляла цитатами из «Азбуки коммунизма» и было жалко смотреть на этого вполне зрелого человека с вывернутыми мозгами... Она не изучала истории. Для неё история начиналась с октябрьских дней. До этого был царизм и буржуазные правительства. Всякое общественно-политическое явление она рассматривала без исторической перспективы и от того её суждения были узки и примитивны. Если ей случалось выйти из рамок «Азбуки

коммунизма», она чувствовала себя беспомощной. Полную беспомощность проявляли они и в чисто практических, агрономических вопросах. Прописи они, конечно знали, но опыт агрономический, увы, отсутствовал совершенно. Чтобы закрыть эту брешь, они делали длительные экскурсии в область «обществоведения», предпочитая конкретному отвлеченное. Впрочем, Настя Дроздова относилась ко всему спокойнее. Она была значительно старше своей подруги и знала старое «буржуазное время».

— Надеюсь вы, товарищ Дубинкин, нам поможете?

— Конечно, конечно. Я уже восемь лет работаю в землеустройстве и дело знаю. Будем работать совместно.

Агрономы расцвели: наконец-то они нашли настоящего советского работника. Наш разговор перешел на житейские темы, ибо мои попытки перейти на специально агрономические темы окончились полным фиаско. Мои агрономы не знали подчас самых обыкновенных вещей агрономического обихода.

Наконец, уже вечером мы устроились на пароходе.

Ночь здесь наступает довольно быстро, сумерек почти нет. Наш маленький пароход идет, охваченный мраком, вздрагивая от работы машин. Мерно ударяют в его корпус небольшие волны, слегка его покачивают. Темный берег исчез, и только далекие огоньки среди гор горят то где-то внизу — вероятно, у моря, — то где-то в горах.

Мы сидим на палубе, и Настя рассказывает про свое детство:

— Знаете, я ведь детство провела в коммуне еще в царское время.

— Не слыхал никогда о коммунах в царское время, — сознался я в своем невежестве в таком важном вопросе, как история сельскохозяйственных коммун.

— Расположена она недалеко от Геленджика. Называется «Криница».

— Так ведь это толстовцы. — вспоминаю, наконец, я.

— Вот именно. Основал ее Еропкин. Именно в этой коммуне я и провела детство и школьные годы.

— Значит вы получили настоящее коммунистическое воспитание?

В полумраке мне показалось, будто Настя поморщилась.

— Уроливо в общем там было поставлено и воспитание и обучение. По толстовским трафаретам. Молодежь эта учеба разумеется не удовлетворяла. Начался форменный исход молодежи в гимназии. Вот и я тоже. Приемные экзамены сдала хорошо. Но самое трудное было привыкнуть к новому строю жизни, к дисциплине. Что вы удивляетесь? Да ведь в криницкой школе и в жизни отсутствовала всякая дисциплина. Каждый делал что хотел. И вот в гимназии мы сделались посмешищем своих подруг. Конечно, мне теперь и самой смешно. Посудите сами: в разгар занятий криничанка встает и идет к двери. Педагог удивленно осведомляется куда и почему хочет уйти криничанка. Она краснеет, весь класс хохочет. Или среди урока вынимает завтрак и начинает закусывать. Опять очередной просак.

— Но вы, конечно, скоро привыкли?

— Вот в том то и дело — не скоро. Ведь отсутствие дисциплины впиталось в плоть и кровь. И чувствовали мы всегда себя отвратительно: в конце концов, не знаешь, можно или нельзя сделать какой-нибудь пустяковый шаг, движение, употребить выражение.

Гулкий свисток известил о конце нашего путешествия. Пароход остановился на рейде против Джубги. Из темноты вынырнула лодка, принявшая нас с судна.

Пароход выбрал якорь, потушил лишние огни и стал удаляться. Мы очутились во мраке безлунной ночи. Лодка скользила по небольшим волнам и медленно подвигалась навстречу мигающему свету берегового маяка.

С пустынного берега мы идем по тропинкам среди темных кустов и деревьев. Я иду сзади за моими спутницами, то опускаясь во встречные невидимые ложбины, то взбираясь на пригорки, пока перед нами не вынырнул из мрака силуэт белого домика с освещенным окном; нас уже ждала старушка — мать Насти.

Мы сидим в небольшой, освещенной лампой, комнате и ужинаем.

— Вы все же не dokonчили ваш рассказ, Настя. Чем же кончилось ваше гимназическое мытарство? — спросил я.

— Ничем. Я ушла в революцию и сидела по тюрьмам.

3. ДАЕШЬ ХУТОРА

Село Джубга рассыпалось по долине небольшой горной речки того же имени, впадающей в море в пределах самого села. В этом горном селе есть даже небольшая площадь и на ней церковь.

Недалеко от площади в большом досчатом сарае с грубо сколоченной сценой собралось общее собрание земельного общества. На председательском месте местный крестьянин-кооператор, с неудовольствием принявший свое избрание в председатели этого собрания. Чванства в этом, конечно, не было: всякий стремился уйти в тень, представляя поле деятельности партийным людям. Соблюдающих крестьянские интересы беспартийных общественных работников очень часто высылали с берегов Черного моря на берега Белого.

Собрание идет, как вообще они идут в советском союзе, с массой ненужных ритуально-коммунистических речей о давно известном и никого не интересующем. Оживление вносит мой доклад. Знакомлю, как-всегда, с земельными законами, сообщаю о праве каждого крестьянина выбирать любой способ пользования землей и, конечно, особенно рекомендую коллективный способ землепользования. Настя и Оксана мне усиленно помогают. «Азбука коммунизма» у них в полном ходу.

Никто не возражает. Председатель после небольших формальностей начинает голосовать.

За коллективный способ — никого. За образование выселков — половина.

Тут уже не выдержал председатель сельсовета Пустяков. Он обрушился с рьяностью обиженного в своих лучших стремлениях на своих «пасомых», порученных ему,

пензенскому коммунисту, Черноморским парткомом «тащить в коллектив» и «не пущать на хутора».

— Что же это, товарищи? Обсуждали мы с вами без малого год наш земельный вопрос, намечали коллективы в первую очередь. А теперь выходит на попятный. Как можем мы свою рабоче-крестьянскую власть обманывать? Надо забывать, товарищи, эти повадки — наследство от царского режима. Здесь не стражник с плетью, а своя рабоче-крестьянская власть, власть советская.

Долго усовещивал Пустяков крестьян, но толку из этого не вышло. Даже хуже. Половина воздержавшихся от голосования намеревалась разбиться на хутора. Пустяков обличал эту «помещичью» повадку жить хутором и пробовал запугивать будущих хуторян. Гробоное молчание было ему ответом. Крестьяне нэповской поры верили в закон. Они думали примерно так: если есть твердый закон, то Пустяков и комячейка не имеют значения. Газеты вели бешенную кампанию за «революционную законность», необходимую при проведении в жизнь основ новой экономической политики (нэпа) или проще — право свободной торговли и накопления капитала городской буржуазии и замаскированная земельная собственность деревне.

Доверчивые в своей массе крестьяне верили в этот обман. Они и знать не хотели о временности нэпа. И впрямь в этом вихре возрождающейся экономической жизни трудно было верить в возврат к такой дикой вещи как, скажем, голодный военный коммунизм. Как бы то ни было — нэп вызвал у крестьян доверие к власти. Была пора подъема крестьянства — деревня начала богатеть и вместе с тем у крестьянства появилась вера в свои силы. Эти силы противопоставляли домогательству коммунистов добровольно коллективизировать крестьянские хозяйства свои собственнические тенденции. Ни о какой коллективизации, в более или менее крупном масштабе, не могло быть и речи. И в обширной Сибири, только что мною покинутой, и по всему пространству России, шла тяга на хутора. Большинство фабричных рабочих было связано с деревней земельными интересами. Земельный закон давал и им возможность удерживать за собою свои надельные земли. Среди этих, не порвавших с деревней, рабочих хутора пользовались большой популярностью и их клич «даешь хутора» несся по фабрикам и заводам.

Коммунистическая партия, казалось, в земельном вопросе зашла в явный тупик. Возврат к единоличным формам землепользования означал бы полное поражение коммунистических планов в деревне.

Однако, партия по-своему обыкновению прибегла и в этом случае ко лжи, в этом я убедился еще будучи в Сибири: вот как это произошло.

Заведующий Устькаменогорским земельным управлением коммунист Колюшкин, уезжая в отпуск, оставил меня своим заместителем.

— Ничего, теперь время спокойное, — успокаивал они меня, — да и пробуду в отпуску только месяц.

Он сдал мне дела и напоследок, передавая небольшой ключик, сказал:

— Вот это от нижнего ящика письменного стола. Там секретные бумаги. Смотреть там ничего не нужно. Я это оставляю на всякий случай, чтобы в случае чего, не пришлось взламывать стол.

Колюшкин уехал, а я остался на его месте вридзавом земуправления.

Близко соприкасаясь в своей служебной деятельности с властью имущими, я все более и более приходил в смущение. В них не чувствовалось ничего революционного. Это были обыкновенные бюрократы в худшем смысле этого слова, заботящиеся только о себе, о своем благе. И, глядя на них, я начал думать о перерождении большевиков, об эволюции их в сторону радикализма. Все указывало на это: расцвет крестьянских хозяйств, широко развернувшаяся частная торгово-промышленная деятельность. Даже Чека теперь не так выпучивается и превратилась в обычное советское учреждение.

Однако, эти мои сомнения быстро рассеялись, как только я заглянул в секретные документы.

Это были партийные директивы. Это были нити, идущие от единого кулака, сжимающего пока подспудно, всю страну. Это были действительные законы регулирующие всю жизнь, законы имеющиеся только по ящикам с секретными бумагами, в большинстве находящиеся в прямом противоречии со всякими советскими распоряжениями и опубликованными законами. Передо мной встал во весь рост преступный путь коммунистической власти, не отошедшей ни на йоту от своих намерений и готовящейся под покровом «благоденственного жития» к ужасным казням. Гибель беспечным, верящим в это благоденствие и помогающим изо всей мочи вертеть советское государственное колесо, гибель думающим о наступлении эры возрождения, о перерождении большевиков, об их эволюции. Только тогда я понял действительную силу лжи и провокации — оружия Коминтерна. Иными средствами и нельзя провести в жизнь мероприятий, основанных на зле и человеконенавистничестве.

Моя деятельность как землеустроителя предстала тогда передо мною в новом свете. Горе хуторянам и отрубникам, которых мы теперь устраиваем на землях. Их ждет верная гибель в недалеком будущем, ибо они встали на путях преступной власти. Они уже и теперь обречены властью на уничтожение и их кипучая работа над «своим» куском земли даст плод не мне, а их убийцам.

4. НА РУИНАХ

Чем ближе я знакомился с этим чудесным краем, тем более сожалел о позднем с ним знакомстве. Я исколесил всю Россию от степей Предкавказья до дальнего севера, от среднерусских полей до Дальневосточных окраин. Где-только не пришлось мне бродяге-землемеру работать, начиная со времени издания Столыпинского указа 9-го ноября 1907 года и до большевицкого «земельного кодекса», каких-только земель не измерял я за свою полную приключений жизнь.

И, однако, Черноморский край меня поразил и покорила. Благодатный край без зимы, край тропического изобилия и благоуханных ветерков. Кавказский хребет заслонил этот край от снежных метелей и холодных ветров, благодатная теплота солнца и моря оживотворили его природу, разбросали в бесконечных лесах его, среди среднерусских лесных пород, радостные чинары, высокие дикие черешни, могучие платаны, развесистые орехи и скромные неприхотливые пальмы-хамеропс, переплели все лианами, вечнозеленым плюшем и закрыли доступ в эти буйные чащи колючими лианами и кустарником «держи дерево». Не пройти сквозь эти зеленые стены. Только старые черкесские тропинки по горам, да звериные дорожки дают возможность обойти эти места.

Когда-то здесь обитал многочисленный кавказский народ исламского вероисповедания. Священная война, провозглашенная в 1877 году владыкою ислама, заставила их покинуть родные места и уйти в Турцию. Около трех четвертей отступивших погибло от голода в турецкой Анатолии, остальные же остались в Турции навсегда. И край их опустел.

Покинутые сады и небольшие леса разрослись и покрыли всю страну девственным полутропическим лесом. Нельзя видеть без волнения цветение этих фруктовых лесов весною. Дикие яблони и груши огромных размеров, покрыты, как снегом, белыми цветами, и ласковые морские ветерки сдувают с них пыльцу блестящую на солнце, как золото. Всякое европейское плодовое дерево, перенесенное сюда, делается неузнаваемым: оно так пышно растет и дает такой великолепный плод, какого никогда не могут дать земли по ту сторону Кавказского хребта. Плоды всяких размеров и вкусов погибают здесь без пользы для людей. В каштановых рощах пасутся дикие кабаны, и фиговые деревья, обыкновенные здесь, как в Поволжье рябина или черемуха, кормят птиц и зверей.

В голодные девяностые годы по этому безлюдному краю вдоль морского берега от самого Новороссийска до Сухума проложено шоссе. Оно высечено в каменистом грунте и прихотливо извивается по горным склонам то убегая далеко в ущелья, то появляясь опять у моря. Через шумливые горные ручейки и речки, низвергающиеся в море, перекинулись каменные мосты, у зияющих пропастей сбоку шоссе устроены небольшие стенки из камня. Часто у источников, в местах, где шоссе сбегает вниз, на небольших площадках устроены каменные водоемы. Здесь путники могут кормить и поить усталых лошадей. Вдоль всего шоссе почти непрерывно тянутся дачные постройки. Когда-то здесь кипела жизнь, цвели роскошные цветы и виноградники. Теперь эта сказочная страна стала кладбищем. Хозяева дач покинули эти места в гражданскую войну и вот роскошные постройки зловеще смотрят оскалом выбитых окон, а сады и виноградники захваченные буйной растительностью, превращены в тропическую заросль. Здесь перепуталось все: чудесные цветы и декоративные растения садов разрослись благоуханными джунглями. Виноградные грозди висят по деревьям, на остатках трельяжей, на стенах домов. Тропинки к морю заросли и нет кругом следа человеческого.

Мне случалось ехать по шоссе на велосипеде и бродить по этим покинутым местам. По всему видно: тут жили русские люди. Я не видал здесь даже двух одинаковых построек: каждый строил себе жилище по-своему. Каких-только форм не имеют дома. На стенах домов, особенно внутри, целая заборная литература. Здесь встречаются и печальные надписи о безнадежной любви и заметки скитальцев, скрывшихся под чужой личиной. Вот оставшиеся в моей памяти некоторые надписи.

— Нашли здесь приют два инженера и камергер. Хлеба нет. Что будет дальше не знаем.

— Под скромной личиной рабочих бодро шагаем в неизвестное.

— Слезы в разлуке с тобой омывают мою душу.

За шоссе сейчас же начинался настоящий девственный лес. Врубаясь во время работ в лесные чащи, я находил среди зарослей сакли, покинутые когда-то горцами, какие-то сооружения из камня: конусовидные ямы, выложенные камнем.

— Что это за ямы?

Бывалый старожил — казак смеется.

— Пленных русских сажали сюда в кавказскую войну.

Я вспомнил отлстовских Жилина и Костылина и для меня понятны стали и остальные сооружения. Это были укрепления, возведенные горцами против русских.

В лесах Черноморья скрыта масса памятников былого; неизвестные древние кладбища, дольмены, скифские могилы, могилы крестоносцев.

Бродя по этим диким местам, доступным для человека более в эпоху великого переселения народов, нежели теперь, я забывал обо всем: о проклятом коммунистическом гнете, об опасности быть опознанным и даже о своей работе. Выходя из горных ущелий на горы, я любил встречать взглядом морской простор и под горячими лучами солнца ощутить едва уловимую волну прохлады, идущую с моря.

Однажды, работая на склоне высокой горы Бжид близ селения Архип — Осиповки, я встретил человека, идущего по тропинке. Он, по-видимому, смутился от неожиданности и прошел дальше.

— Кто это?

Сопровождавший меня местный учитель замялся.

— Это не здешний.

— Не бойтесь, — усмехнулся я, — дальше меня наш разговор не пойдет. — Учитель тянул нерешительно:

— Да, тут, знаете, живут трое... бывших офицеров.

— И об этом никто не знает?

— Ну, как не знают. Местные партийцы знают... Они никого не беспокоят, их тоже не беспокоят. Вроде перемирия. Только я думаю это до случая.

5. НЕФТЕПРОВОД ГРОЗНЫЙ — ТУАПСЕ

Зав губернским землеустройством Иванов в своем кабинете в Новороссийске объяснял существо порученной мне большой землеустроительной работы, и, водя толстым пальцем по карте, сказал:

— Вот видите, от города Грозного предполагается провести в город Туапсе нефтепровод. На расстоянии шестисот километров нефть будет перекачиваться по трубам до Туапсе. Здесь, в Туапсе, будут выстроены нефтеперегонные заводы, будут из нефти добывать бензин, масла, керосин и много других, менее важных, продуктов. Нефтеперегонные заводы проектируется построить на месте пригородного села Вельяминовки. Нам поручено землеустроить это село. Нужно взамен отбираемых от крестьян отвести им другие земли вблизи села, вот хотя бы из дачи барона Штенгеля, что ли. Затем, второе, нужно оценить затраты по созданию крестьянами новых садов и виноградников взамен отбираемых под заводскую территорию, затраты по перенесению построек на новое место и все прочее.

— В каком же порядке все это будет делаться? — спросил я.

— В порядке землеустройства. Никакого административного произвола со стороны кого бы то ни было мы не допустим, — продолжал зав. — Вы назначаетесь землеустроителем по этому делу. От грознефти будут представители инженер Умников и товарищ Горный Сергей Михайлович. Эти представители являются только заинтересованной стороной в деле, так же как и крестьяне.

— Стало быть все придется вести по правилам Столыпинского землеустройства? — прямо спросил я.

Иванов улыбнулся и кивнул головой.

Я не особенно верил в эти проекты. Они возникают в недрах советских учреждений, как грибы после дождя и часто так же неожиданно исчезают, как и возникли.

Переговорив обо всем подробно я поехал к месту моей новой работы в город Туапсе.

Началась обычная в таких случаях канитель: то поступает распоряжение приступить к делу, то приостановить работы. Мне это стало надоедать.

Наконец, из центра приехал видный партийный работник и приказал грознефти начать работы. По обыкновению, начался шабаш. Оказывается упущены какие-то там сроки и все надо делать срочно и спешно. Из Ростова на Дону приехал зав краевым землеустройством Ильин, бывший в мирное время помощником зыплемера и пошла потеха.

Теплой летней ночью мы работаем в комнате, отведенной нам в одной из школ в селе Вельяминовке. Нас трое: я, агроном Эпаминонд Павлович Дара и агроном-почвовед Жуков Сергей Васильевич.

Эпаминонд Павлович — русский француз, обычно веселый и жизнерадостный, на этот раз сидит в большой задумчивости. Он вместе с Сергеем Васильевичем — агрономом от грознефти, рассуждает об оценке садов и виноградников, подлежащих уничтожению.

Рассуждают они уже давно. Вопрос очень сложный. Нужно провести его в рамках советских законов и в тоже время не обидеть крестьян. Это хождение между Сциллой и Харибдой измучило обоих агрономов. Еще бы, как не поверни или получается незаконно или невыгодно для крестьян, или не соответствует секретным директивам.

Противозаконно — когда земельную собственность, замаскированную в земельном кодексе, назовешь её настоящим именем. За землю платить нельзя, оцениваются только затраты, вложенные на создание сада и виноградника. При оценке же этих затрат получается такая чушь несусветная.

— Ну, как же будем делать? — спрашиваю я, — завтра ведь надо начинать работы по оценке, а у вас ничего нет. Что я скажу Ильину?

Жуков не торопясь вытер свои очки.

— Может быть за ночь придумаем. Мне пора идти. — Он жил где-то в горах под Туапсе и рассчитывал подумать еще и дорогой.

Ночью Эпаминонд Павлович разбудил меня:

— Вставайте, Лука Лукич, я нашел.

— Чего вы там нашли?

— Способ оценки.

Я хотел выругаться от всей души, но увидав его милые, приветливые глаза, побежденный его мальчишеским увлечением работой, встал и терпеливо выслушал открытие. В заключение Эпаминонд Павлович сказал:

— Вот так и будем делать. Пусть Сергей Васильевич немного убавляет от цифры моей оценки, видоизменит немного этот способ и будет у него, своя якобы, оценка. Вот и все. Представитель грознефти будет видеть как мы каждый изо всей мочи защищаем порученные нам интересы, а крестьяне в накладе не останутся.

Сон у меня прошел. Мы сели у окна и с удовольствием слушали ночные концерты цикад, ночных птиц, лягушек, дышали воздухом, напоенными весенними ароматами. Уже цвели мирты. Иногда откуда-то легкий ветерок доносил запах азалий, называемых тут «собачья смерть».

— Где еще есть такие места? — спросил я.

— Едва ли есть. Впрочем, я встречал в Сочи сапожника, недовольного здешним климатом. Как видите — все относительно. Сидит он под развесистой мимозой, тачает сапоги и вздыхает о Новониколаевске.

— Ффу... Не могу сочувствовать сапожнику. Жил в тех гиблых местах. Даже картофель там плохо растет.

Эпаминонд Павлович закурил, и неровный свет папиросы вырвал из мрака его матово бледное лицо, маленькую бородку и улыбающиеся губы.

— Жаль, — продолжал я, — не по теперешним временам спокойная жизнь...

— Ну, мне кажется, большевикам, в конце концов, надоест эта игра в «социализм в одной стране». Уже и теперь видно, как они сдают одну позицию за другой. Я думаю все же их опыт кончится не реставрацией. Вероятно, мир обогатится еще одной разновидностью демократической формы правления...

Я не имел возможности разубедить оптимиста агронома о великом обмане новой экономической политики. В эволюцию власти верят все, начиная от простого крестьянина, ушедшего теперь с головой в свое хозяйство, и кончая советскими инженерами. И сам я, до знакомства с секретными документами, не соблазнился ли эволюционностью большевизма? Три года спустя Эпаминонд Павлович на опыте убедился в своих заблуждениях, сидя в подвально-концлагерной системе.

* * *

Комиссия по оценке садов и построек выселяемой Вельямияовки состояла из восьми человек. Представители грознефти в нее не входили и считались заинтересованной

стороной. Мы ходили по дворам, делали оценку и тут же я старался привести представителя грознефти к соглашению с хозяином усадьбы относительно размеров вознаграждения. В большинстве случаев происходило добровольное соглашение. При разногласиях дело шло в суд, неизменно присуждавший 'сумму, назначенную комиссией.

Это шествие комиссии из дома в дом, бесконечные разговоры, чрезвычайно утомляли. Представитель грознефти, Горный Сергей Михайлович, с манерами большого барина держал себя с достоинством и блюл грознефтенскую копейку. Мужики отстаивали свои интересы: без большого упорства и предпочитали сговориться добровольно.

Обычно приходим и садимся за стол где-нибудь в саду. Хозяин и семья тут же в полном составе. Агрономы идут считать деревья, лозы и все растущее и приносящее доход. Инженеры обмеряют постройки и погружаются в вычисления. Через четверть часа все готово — цена известна. Я обращаюсь к хозяину и Горному:

— Предлагаю сторонам договориться добровольно. Горный пыжится, искоса поглядывая на хозяина.

— Наша оценка ниже оценки комиссии. Но, если хозяин пойдет навстречу, я могу согласиться на оценку комиссии.

Хозяин, конечно, не согласен. Он начинает оспаривать оценку, хозяйка ему усиленно помогает, вспоминая как подлом таскала на усадьбу камни и уничтожала мокрые места.

Наконец, Горный начинает уступать:

— Ну, вот, я вам отдам этот дом в придачу. Ведь он оценен и грознефть его как бы покупает.

Хозяин в нерешительности.

Тогда я прихожу ему на помощь, советую просить у грознефти какой-нибудь пустяк еще и соглашение состоялось. Стороны подписывают согласительный документ, а на другой день крестьянин получает деньги и начинает строиться или в Туапсе или выше, на горах. Приемы столыпинского землеустроительного процесса и на большевицкой почве давали отличные результаты.

В этот день мы закончили работу на усадьбе рыбака. Его семья состояла из хозяина, жены, сына и внука, прижитого матерью от этого своего сына.

Вся семья дружно защищала свои права, а брат своего отца, и внук своей матери спокойно играл невдалеке своими несложными игрушками.

— Сокращение числа родственников — это своего рода экономия, — шутить Эпаминонд Павлович.

Вечером оба агронома и я возвращались к себе. Сергей Васильевич медленно шагал по шиферной дороге, хрустящей под ногой. Разговор наш опять коснулся странной семьи.

Сергей Васильевич остановился, закурил папиросу и, сделав неопределенный жест рукой, как бы отвечая своим мыслям, заговорил:

— Что-ж, особенного тут ничего нет. Есть только нарушение целесообразности. Раз это не целесообразно, значит оно и не жизненно.

Эпаминонд Павлович оживился:

— Позвольте, Сергей Васильич, а кто эту целесообразность установил?

Жуков улыбнулся в свои усы.

— Есть целесообразность, установленная человеком, как вот коммунистическая целесообразность, а есть целесообразность, установленная силою вещей. И эта целесообразность имеет единое начало — Бога.

Мы молча дошли до нашей квартиры. Сергей Васильевич распрощался и утонул в вечернем сумраке.

— Покойной ночи.

— Покойной ночи, — прозвучало из сумрака.

6. ЗОЛОТАЯ ПОРА НЭПА В ДЕРЕВНЕ

Весною 1927 года я ехал по железной дороге из Туапсе в Грозный по делам нефтепровода. Южная толпа, шумливая и веселая, наполняла вагоны, на людных станциях бойко шла торговля. Масса людей ехала на курорты и наводняла берега Черного моря от Новороссийска до Батума. Большевизм как будто исчез и его даже не чувствовалось в этой сутолоке. Замолкли всякие политические споры, надоедавшие в вагонах в пору военного коммунизма, все стало ясным и понятным. «Братишки» возглашавшие в семнадцатом году «за что мы боролись», уже не бьют себя в бандитскую грудь, едут вместе с толпой пассажиров по своим делам, большею частью сугубо спекулятивного свойства. У крестьян разговоры о земле. В нашем купе как раз трое крестьян и красноармеец. Натасканный красноармейской «политучебой» паренек, вспоминая «проклятый царский режим» которого по младости лет он не помнит, особенно восторженно отзывался о коллективной форме хозяйства.

Крестьянин постарше ощупывает его основательно глазами и, я догадываюсь как, он осудил болтовню молокососа.

— Коллектив... что ж... Должно быть, что хорошее это дело. Только вот с молоду к нему надо привыкать, вот что я скажу. Нам куда. Мы бы вот по-старому. Или бы вот хутором.

Второй его поддерживает:

— Хутором в самый бы раз. Вся земля вместе и все у тебя под боком. Из хаты вышел и в поле... Так ведь вот бабы... Что ты с ними поделаешь. Куда, говорит, из села уходить? Как волки, вишь ты будем жить в степи одни.

Красноармеец посмотрел на них взглядом, означаящим «эх, темнота» и сказал:

— И правда. Бабы лучше вас понимают дело. Как волки. Знамо, что как волки. Коллектив, а не хутор, вот это настоящее житье.

Паренек хотел было продолжать, но я отвлек его своими расспросами мужиков как идет хозяйство, много ли скота, как обстоят дела с севооборотом.

Мужики народ осторожный. Хвалить свое житье сразу они не станут — кто его знает, что за человек. Нахвалишь свое житье, а там смотришь цоп — и налог прибавят. Красноармеец оказался, конечно, более откровенным.

— Что и говорить — деревня богатеть начала, — говорил он.

Второй крестьянин с неудовольствием взглянул на красноармейца.

— Ну, насчет богатеть это ты здорово хватил, — говорил он, — ну, однако хозяйство поправляется. Коли так будет и дальше — ничего, дела пойдут на поправку. Налоги — вот больно уж велики.

Опять завязывается спор с красноармейцем относительно налогов.

Мы подъезжаем к городу Грозному.

Большой южный город Грозный лишен растительности, гибнущей от нефти. Нефть пропитала всю землю и даже плавает по реке жирными пятнами. Густые толпы рабочих движутся непрерывно по тротуарам и в воздухе стоит крепкая матерная ругань.

Случайно на улице встречаю старого сослуживца, землемера-казанца. Он мне очень обрадовался:

— Где же вы были в эти смутные годы, Семен Васильич?

Я оглянулся назад и сказал вполголоса:

— Извините, дорогой мой — я уже восемь лет как Лука Лукич Дубинкин.

Приятель весело рассмеялся.

— Ну, в этом нет ничего удивительного... Не вы первый, не вы последний. Самое главное — уметь уничтожать неувязки жизни, а остальное приложится.

Мы вспоминаем старых друзей, погибших на полях битв, неудачников, попавших в подвалы.

Улица вливалась в торговую площадь, запруженную народом. Сквозь обычный шум толпы где-то слышалась странная песенка. Невидимый тенор тянул ее особым волнующимся и порою протяжным речитативом, растягивая слова в конце строфы:

Как поеду я в деревню,

Погляжу я на котят -

Уезжал — были слепые,

А теперь, поди, глядят.

Слепой нищий, сидя на земле с деревянной чашкой на коленях, тянул эту песенку.

— Вот вам пример приспособляемости, — заметил приятель, — раньше этот слепец тянул «Лазаря» на паперти храма, а теперь переселился сюда: и переменял репертуар.

Вечером мы зашли в церковь. Стриженный и нарочито побритый священник служил всенощную. Церковь почти пуста. Несколько старух и стариков стоят у стен. Славянский язык молитв стал в устах живоцерковников каким-то новым жаргоном. Послушав плохое пение немногочисленного хора, мы поспешили уйти. Коммунизм, старался через своих агентов-живоцерковников разложить церковь ложью и провокацией. Карьеристы, неустойчивые и неверующие священники явились одною из сил, разрушающих русскую церковь. Источник, питающий совесть и сохраняющий святой завет любви к ближнему в противовес человеконенавистнической идее классовой борьбы загрязнился темными силами. И церкви пустуют. Верующие разумеется не перестали верить, но присутствие в церкви предателей — живоцерковников и отталкивало их от храма. В своих скитаниях я редко встречал дом без икон.

Иконы часто встречаются даже у партийных людей, конечно, под спудом.

7. ВЕЛИКИЙ ПОГРОМ

Весною 1927 года грянул выстрел Коверды. Темные силы, державшие Россию в плену и притаившиеся под покровом нэпа, избрали именно этот выстрел за сигнал к давно подготовленному наступлению на «буржуазию», интеллигенцию и крестьянство.

Мы, дефилирующие под знаменами протеста против убийства Войкова, не подозревали какая масса из числа присутствующих на этой казенной демонстрации попадет в концлагерно-подвальную систему или будут расстреляны за непролетарское происхождение, с прищипом «для коммунистического приличия» какого-нибудь обвинения в выдуманном заговоре против советской власти.

Вскоре, однако, начались странные аресты. Начали исчезать по одному, по два, по несколько человек. В комнате участкового землеустроителя в узлу (земельное управление) я узнаю каждый день об этих арестах: то исчезает агроном, то группа крестьян из Вельяминовки. Эти аресты повергали нас в смущение. Мы пробовали определить характер арестов и не могли. В подвале ГПУ исчезали люди всяких положений и национальностей. Пробовали узнать что-нибудь из партийных сфер. Напрасный труд — партийцы, даже из болтливых, делали вид ничего не знающих.

Как-то зав узлу, встретив меня, осведомился, когда я сдам в законченном виде большую работу по землеустройству Джубгского района.

— Через месяц рассчитываю закончить, — сообщил я.

— Через месяц — это недопустимо долгий срок. Работайте дни и ночи.

Я зорко посмотрел на зава. Знает что-либо обо мне или же это просто так? Торопит с работой, чтобы с моим арестом не осталось неоконченной большой работы или же это только совпадение.

Ничего я не прочел в глазах коммуниста и ушел с тревогой. Идя на квартиру, я старался сообразить какие могут быть причины к моему аресту. По службе — никаких. По

профсоюзу — никаких, ибо взносы плачу исправно, от нагрузок освобожден, как элемент кочующий. Нет, с этой стороны все в порядке. Остается еще один пункт — Устькаменогорск. Если открыли мое местопребывание и сообщили в здешнее ГПУ? Но что именно могли они сообщить из Устькаменогорска? Дальше начиналась область гаданий и всяческих предположений. Однако, я бросил это бесполезное занятие и предпочел выжидать.

8. АРЕСТ

Работы мои подходили к концу. Я перебрался в дачное местечко Макопсе (километрах в двенадцати от Туапсе) и поселился в избушке у переселенца, недалеко от морского берега и у самого шоссе. Работать пришлось очень много, ибо подгоняли меня усердно. За мельканием дней и ночей я забыл о своих опасениях и думал только об одном — как бы скорей свалить с шеи надоевшую и мне работу. Спал я около избушки под развесистым орехом, вставал с восходом солнца и ложился глубокой ночью.

Уже в конце работы мне нужно было увидеть Жукова. Я поехал по Сочинской дороге в Туапсе. Мотаясь по прокуренным кабинетам всякого начальства, ведя нудные деловые переговоры, я, наконец, решил передохнуть. Оставалось только еще найти Жукова. В комнате землеустроителей я нашел Эпаминонда Павловича.

— Где бы мне найти Сергея Васильича? — обратился я к нему.

Эпаминонд Павлович нахмурился.

— Ему не повезло. Уже вторая неделя пошла, как он арестован и сидит в подвале.

У меня заныло сердце. Эпаминонд Павлович продолжал:

— Аресты не только не прекращаются, но еще усиливаются. Связывают их с убийством Войкова и называют «Войковским набором». Среди арестованных попадают и лица близкие к партии, и комсомольцы, местные крестьяне, беспартийная интеллигенция.

Я возвратился к себе встревоженным. Однако, здесь нет волнующих слухов, а работа не давала возможности о них думать. Зав опять меня усиленно подгонял с работой. И опять мне это показалось подозрительным.

26 августа 1927 года я лег в постель под своим ореховым деревом по обыкновению поздно, чрезвычайно утомленным работой и тотчас заснул. Сколько я спал, сказать трудно. Меня разбудил странный шорох. Я открыл глаза и среди зелени кустов в утреннем полусумраке увидел какие-то фигуры, шедшие ко мне из леса.

Я приподнялся на постели. Фигуры подвинулись ближе ко мне и я разглядел ясно трех вооруженных пограничников и с ними краскома ^[21].

— Кто здесь живет? — обратился ко мне краском. Я понял все; значит пробил мой час.

— Дубинкин. Землемер Дубинкин.

— Мне нужно сделать у вас обыск.

Я живо оделся и пошел вместе с командиром в мою избушку. Обыск продолжался недолго. Командир потребовал мою частную переписку, просмотрел письма, мною полученные и два из них взял. Письма были от жены и в обращении в них мое настоящее, не вымышленное имя.

— Значит донесли, — мелькнуло у меня.

— Я должен доставить вас в Туапсе, — сказал командир и поручил меня красноармейцу конвоиру. Простившись с заплаканной женой, я покинул свое убежище на долгие годы, а может быть и навсегда.

Мы шли вдоль морского берега. Море нежилось под лучами восходящего солнца и ленивая тихая волна чуть плескалась у песчаных берегов. В прозрачном, чистом воздухе реяли птицы и крепкий соленый запах моря перебивал нежные ароматы цветов.

Я не думал о происшедшем и шел как автомат. Мною овладели усталость и апатия. Все равно — будь, что будет.

Мой конвоир-пограничник — молодой деревенский парень с белыми как лен волосами и синими глазами. Он шел вопреки правилам рядом со мною, дружелюбно на меня поглядывал и совсем не стеснял моей свободы.

— Может быть отдохнем? — спросил он.

— Ну, что ж, посидим, пожалуй. Надо посмотреть в последний раз на море.

— Ну, как знать, последний, а либо нет. Всяко ведь бывает. Вот теперь мы вас в подвалы водим, а придет время, вы нас будете водить. Тут, как сказать, ничего не поймешь.

* * *

Дверь небольшой камеры при пограничном Туапсинском отряде захлопнулась за мной. Словно стержень какой вытянула из меня невидимая рука и я почувствовал тщету и борьбы и бешеной работы, лег на лавку и тотчас заснул.

Проснулся я только ночью. В решетчатое окно тянуло легким прохладным ветерком и были видны меркнущие от утренних лучей звезды. Вот и небо стало багроветь. Я опять закрываю глаза и представляю себе как легкий утренний ветерок рябит море и оно, как и небо, загорается рубинами. Представляю себе и тихий лес, отвечающий легким шелестом утренним ветеркам.

Я уже готов был вскочить и направиться прочь отсюда, но колючая мысль о происшедшем заставила сесть на лавку. Решетка в окне, закрытая дверь — сразу привели меня в себя.

Мысли несутся потоком. Я не могу остановить их бег, сосредоточить на чем-нибудь. Что у меня на сердце? Тяжесть? Нет, равнодушие. Мелькают как сон мои восьмилетние скитания, житье под вымышленной фамилией, потеря близких, детей. И стало еще

равнодушнее на сердце. Куда мне стремиться? Что такое я в этой буре, в этом хаосе? Песчинка, трость, колеблемая ветром.

Звякнул ключ и в растворившейся двери, мой конвоир, белокурый парняга. В руках у него корзина.

— Вот тут прислали вам слив. Я взял корзину.

— Корзину обратно, — сказал пограничник.

— Она тут? — спросил я, разумея жену.

— Тут, тут. Через час вас повезут в Новороссийск, — добавил он полупшепотом.

Я отдал корзину. Дверь захлопнулась. В моих руках облитые слезами сливы, немой знак присутствия любимой. Может быть это последнее прости.

III. ПО ПОДВАЛАМ И ТЮРЬМАМ

1. В НОВОРОССИЙСКОМ ПОДВАЛЕ

Каменная, не широкая лестница вела вниз, в подвальное помещение. Едва я переступил порог подвалила, как на меня пахнуло запахом пота, смешанного с затхлостью непроветриваемого помещения.

На последних ступеньках я слегка задержался, пытаюсь рассмотреть темные силуэты мрачных фигур охранников-красноармейцев.

— Ну, иди, чего стал! — грубо крикнула темная фигура. Я шагнул еще несколько шагов.

— Направо, — командует конвоир.

Я взглянул туда. Справа от общего подвала отгорожено железной решеткой помещение, наполненное полуголыми людьми. Полуголые люди двигались за решеткой молча. Некоторые подошли поближе, прильнули к дюймовым железным трубам, образующим эту решетчатую загородку и с любопытством осматривали меня.

Навстречу мне откуда-то из темного коридора между дощатых перегородок, слева от решетки, вышел невооруженный охранник со связкою ключей.

— Куда его? — обратился он в полумрак.

— В первую, — сказала темная фигура.

Где-то в полумраке щелкнул замок, открылась легкая дощатая дверь и пропустила меня, ошеломленного темнотой в клетку.

— Так это и есть камера подвала номер первый, — пронеслось у меня.

Я стоял в нерешимости среди молчаливых фигур и старался рассмотреть и их и помещение.

Камера была отгорожена от угла двух наружных стен каменного подвала. В левой стене под самым потолком было окно, но из него проникал в камеру только полусвет: снаружи был футляр и свет попадал только через верхнее отверстие этого футляра. Впоследствии я узнал: в таких футлярах все окна подвалов ГПУ.

Ко мне подошел плотный среднего роста человек в очках с черепаховой оправой. Узнав в нем зава губернской стазрой (станция защиты растений) энтомолога Беляева, я воскликнул:

— И вы здесь. Давно ли?

Отовсюду на меня зашикали.

— Тише. Здесь говорят только вполголоса, — сказал Беляев.

— Так вот почему безмолвны полуголые фигуры, — опять мелькнуло у меня в голове.

Беляев продолжал пониженным голосом:

— Идемте к камерному старосте, он вас запишет и укажет место.

Камерный староста священник Сиротин постарался меня успокоить как мог, хотя я и не проявлял особого беспокойства: мой организм окреп у лазурных вод. Староста указал мне место на полу у самой двери, сообщил о неписанных правилах внутреннего распорядка, о подвальных обычаях.

К вечеру я уже освоился со своим новым положением и стал знакомиться с населением камеры и её жизнью. Здесь впервые за время моего подсоветского нелегального существования передо мною во всей наготы предстала сила, держащая в тисках мою Родину. Здесь темным силам не нужно было прибегать к мимикрии, делать вид людей не чуждых гуманизму и даже почитающих некоторые, выработанные христианской культурой обычаи и идеи. Здесь юдоль плача и отчаяния. Отсюда нет спасения. Освобождения из этих мест отчаяния редки. Многие уже не видят больше белого света и идут отсюда в могилу.

Разумеется, все это я знал и ранее теоретически. Но теперь это неизбежное, меня ждавшее, предстало передо мной во всей своей ужасающей гнусности. Я ощутил безвыходность своего положения, ощутил эти стены, держащие меня в плену и в душу заползло отчаяние.

Я лежал в полусумраке на полу и теперь сквозь решетки видел мрачную фигуру красноармейца с ружьем-автоматом в руках. Рядом стоял пулемет. «Оставь надежду всяк сюда входящий», казалось заявляла эта неподвижная вооруженная фигура охранника обреченных людей.

* * *

Я и Беляев разговариваем вполголоса около окна в футляре. Он снова достает объемистую рукопись с изложением в ней ряда обвинений, ему предъявленных следователем —

чекистом, и своих возражений на них. Кропотливо, но убедительно он разбивает все пункты обвинения. Самый главный пункт — сокрытие воинского звания. Его, поручика, обвиняют будто он генерал.

— Вы думаете, вас выпустят? — осведомляюсь я.

— Ну, выпустить — не выпустят, но все-таки не так далеко запекут.

— Так у вас же нет в сущности никакой вины.

— А вы думаете — здесь у кого-нибудь есть какая то вина? Виновные отсюда живыми не уходят.

Такое сообщение вовсе не было утешительным для меня. Я, главарь крестьянского восстания, живший в советских недрах целых восемь лет под вымышленной фамилией, мог рассчитывать только на пулю. Напрасно перечитывал я много раз подряд «уголовный кодекс», изданный в виде маленькой брошюрки. С его сереньких страниц передо мною вставал призрак неизбежного.

И припомнились мне сотни возможностей скрыться заблаговременно от ареста, возможностей, мною не использованных. Я знал более чем кто-либо из моих товарищей по несчастью двуличность и преступность коммунистической власти. Надежда, неясная надежда на эволюцию большевиков удерживала меня на месте и я оставлял свои планы бегства от малейших подозрений. Истину об отсутствии большевицкой эволюции пришлось мне купить ценою многолетних страданий и горя.

Ко мне подошел Сиротин.

— Знакомьтесь с обстановкой? — спросил он участливо.

— Да, знакомлюсь, — сказал я, покачав головою. — Только лучше было бы совсем этих подвальных тайн не знать и погибнуть неожиданно.

Я рассказал Сиротину о своей борьбе с советской властью, участии в крестьянском восстании и ждал от него подтверждения своих пессимистических предположений.

— Дело не так уж и мрачно, как вы предполагаете, — возразил он — во первых, вас отправят по этапу к месту совершения преступления — в Казань, а во вторых — ваше дело будет рассматриваться после октября и может попасть под амнистию, ожидаемую по случаю десятилетия советской власти.

Действительно, через несколько дней всё это начало осуществляться. Меня вызвали к следователю ГПУ.

Опять я очутился вне решетки подвала. Сзади шел чекист, держа наган в руках и командуя мне:

— Вправо... влево... прямо... стой.

Мы остановились у двери, выходящей в коридор. Через некоторое время дверь открылась и я вошел из темного коридора в светлую, просторную комнату.

Следователь — человек средних лет, даже не взглянув на меня, сказал:

— Вас отправляем в Казань. Через несколько дней будете переведены в тюрьму для следования по этапу. Распишитесь.

Я расписался в прочтении этого постановления и таким же порядком был водворен обратно в камеру.

* * *

Вечером под потолком камеры вспыхивала электрическая лампочка и горела до самой утренней зари. В девять вечера все должны уже спать и, во всяком случае, лежать на своих местах.

Жуткая тишина водворялась в подвале после девяти часов. Даже отпетая шпана и та бодрствовала до двенадцати ночи, чутко прислушиваясь к каждому звуку и каждому шороху извне. Никто не знал за кем могут придти палачи в эти жуткие три часа, кому придется в последний раз взглянуть на Божий мир и умереть от руки безжалостного, пьяного чекиста.

Тихо, без движения лежат обитатели подвала. Мерно льется равнодушный свет медленной чередой и, кажется, нет им конца.

Где-то далеко хлопает отворившаяся дверь, снаружи доносится гул автомобильного мотора. словно электрическая искра пронизывает лежащих. Кажется, каждый затаил дыхание и жадно ждет повторения звуков.

Гулко отдаются под сводами подвала шаги пришедших, гремит засов, открывается дверь. Из какой камеры? Нет, не из нашей. Неясный гул снова, шаги удаляются или приближаются? Минуты превращаются в годы. Глухие звуки кажутся оглушительными. Боже мой, откуда эта тоска смертная, откуда эта тяжесть на сердце неизбывная. Ведь знаешь не тебя, не за тобой идут, не ты будешь сейчас умирать, а смертельная тоска сжимает сердце, не вырвавшиеся рыдания сжимают горло.

Умирают звуки, водворяется жуткая тишина. неподвижно сидит часовой и по-прежнему льется свет электричества.

Рядом со мной лежит молодой, здоровый детина и, заложив руки за голову, упорно смотрит в угол. Тень от нар затемняет его, но я вижу, как судорога нет, нет, да и перекосит его лицо. Я прикоснулся к его руке. Он вздохнул, повернулся ко мне и вдруг, сжав мою руку своими богатырскими клещами, зашептал:

— Вот, видите-ли, сам я сколько раз присутствовал на расстрелах. Жутко, правда, но не очень. Заметил я: приговоренный человек делается как-то бессильным и равнодушным. Ну, равнодушным становишься и к нему. А вот теперь, здесь, каждой жилкой чувствуешь его, приговоренного, то, что с ним делается. И на себя примеряешь.

Замолчал на минуту комсомолец, но грызущая тоска гнала его высказаться.

— Эх, дураки мы русские люди, вот что. Легко было нас заманить, ну, а теперь уж трудно выбраться из мешка. Взять хоть мое дело. Надоело оно мне до смерти. Я ведь шишка: начальник Сталинградской милиции. На курорте здесь меня арестовали. Растрата, ну, еще там кое что. Да не в том дело. Я за себя не боюсь: везде своя братва. Только доvezут до Сталинграда по этапу, а там и выпустят. Но житье такое надоело. А ведь конца ему не видно.

— Неужели массовые аресты и расстрелы будут еще продолжаться? — спросил я.

— Продолжаться? Они только еще начались. Главные аресты и расстрелы должны быть закончены к седьмому ноября, к сроку амнистии. Так теперь что дальше, то больше будет расстрелов, чтобы убавить число амнистии подлежащих. А после амнистии, конечно, опять начнутся, но это же будут новые — своим порядком и чередом.

Но откуда они набирают такую массу «преступников»? Чем эта страшная чистка вызвана? Не убийством же Войкова в самом деле?

Начмил (начальник милиции) подумал немножко:

— Впрочем, что же? Тебе на свободе не бывать. Пожалуй и расскажу тебе кое-что о чекистах. Ты вот сказал: «преступники». Это мы все еще примеряем на старое. Продолжаем говорить: преступление, суд. На самом же деле у них в ГПУ никакой борьбы с преступностью и не ведется, если не считать изоляцию шпаны, то есть уголовников-рецидивистов. И преступников здесь в подвалах, кроме шпаны, никаких и нет. Имеется, правда, в ГПУ бандотдел, то есть, отдел по борьбе с бандитизмом. Но они этим самым бандитизмом почти что и не занимаются. Это наше дело, милицейское.

Ихнее же дело совсем не судебное, даже не милицейское. Аппарат у них — сами ничего не найдут. В отношении сыска их гепеушный аппарат ни копейки не стоит. Да им этого и не надо. Действуют только по доносам. А вот есть у них отдел «осведомительный». Это, можно сказать, мозг ГПУ. Везде у ГПУ имеются секретные сотрудники или, как мы их зовем, «сексоты». В каждом учреждении, в каждом заводском цехе, вообще, где-только есть небольшая группа, там и сексот. Настоящих сексотов, то есть наемных агентов, служебников, у них очень мало. Главная масса сексотов из среды тех же граждан, за которыми надзор. Оплачивается сексот такой грошами или льготными пайками какими-нибудь, а работает за страх. Сексотское дело — аховое. Проболтается, так сейчас его в «конверт» и «сушить». Бывает, что и расстреливают. Каждый сексот это знает и держит язык за зубами. Сфальшивить он не может: ГПУ над сексотами держит еще сексота.

Работа у сексота не трудная. Каждые две недели он должен подавать рапорт. Пишет наверху свою сексотскую кличку, например — «источник Осип». Дальше излагает как за две недели шла работа в учреждении или цехе, где, какие велись разговоры в подробности до самых малых мелочей. Запишет, например: у станка такого-то рабочего, в девять часов утра такого-то числа собрались рабочие такие то, и велись между ними разговоры о том то и о том то. Либо отметит о других, как они тогда то сидели в пивной, сколько чего выпили, о чем говорили. По виду как будто все пустяки. Но по этим пустякам составляются сводки и губерния подобные сводки ежемесячно отсылает Москве.

Ни одно поступающее от сексотов сведение не пропадает даром. Кто угодит в рапорт сексота, о том заводится дело. По этим делам в дальнейшем, осведомительный отдел раскладывает дальнейшие, поступающие от сексотов сведения. По сексотским сведениям никого не арестуют, но их хранят. Скажем, к примеру: вот вы попадаете на примету, о вас

заводят дело и складывают в него все поступающие от сексотов на ваш счет сведения. И вас не трогают, но дело ваше лежит, растет и пухнет, а вы, отнюдь того не подозревая, освещены в ГПУ с совершенною подробностью и с самых неожиданных для вас сторон.

В Москве по сводкам видят, как и что происходит на местах. И сейчас дают директиву — начинать очередную кампанию, скажем, — хоть бы по борьбе с религиозностью. А кампания — это значит, массовые аресты.

Берут с краю всех, на кого заведены дела. И тут же арестованным допрос. Как это предъявят гражданину какие он слова говорил у станка, — у него и глаза на лоб. И начнет он, со страху, выдавать под диктовку следователя своих несуществующих единомышленников. Этим тоже арестуют. И пошла писать. И чего только запуганные люди не наговаривают на себя, — уму непостижимо.

Сочинят им чекисты какое-нибудь дело, заставят расписаться в небывалых преступлениях. Затем, конечно, выбрав из оговоренных одного, другого, третьего, от которых приятно отделаться, используют удобный случай — расстреляют. Главных оговорщиков — тоже — кого расстреляют, кого в концлагерь. И вот вам: и дело есть, и преступники есть, и высшая мера наказания есть. А преступления и нет, и не было, — да кто это докажет? Никто во век. Бумаги подписаны честь честью, оговорщики израсходованы. Все концы в воду. Так вот и гибнут люди.

Нам внушают и мы все повторяем: и у нас есть закон и право. А на самом деле ничего нет. Закон — это только видимость одна. Никакого права нет, — есть палка ГПУ. И, в конце концов, живешь, — не знаешь, — только ждешь, когда эта самая палка по тебе пройдет.

Конечно, не работай я в милиции, не знал бы всего этого, а, не зная, не думал бы и был бы спокоен. А как присмотришься, да поймешь, тошно жить станет. На свет бы не глядел — так все надоело.

* * *

К утру вся камера погружается в сон. Лампочка под потолком тухнет, и водворяется вновь полумрак. Около окна, в слабо освещенном прямоугольнике, мелькают какие-то тени. Может быть птички? Даже эти маленькие признаки жизни, идущей там за подвалом, кажутся значительными и интересными. Мы отрезаны от мира, мы погребены заживо в этом угрюмом подвале.

Отец Иван Сиротин — ныне камерный староста, уже давно бодрствует в своем углу. У него такое спокойное русское лицо, уверенные движения. Кажется, будто от него идет некая волна успокоения.

Приносят кипяток. Начинается обычная утренняя суэта. Соседи, давно сидящие в подвале и знающие друг друга и свои дела, обмениваются впечатлениями, соображают кого и из какой камеры сегодня «взяли». Для них несомненно одно: день до девяти часов вечера они проведут спокойно. А там — опять тягостное ожидание, опять неотвязчивые думы.

Я разговариваю с отцом Иваном:

— За что вас зацепили, отец Иван?

— Конечно, по навету. Донесли на меня, будто я, пять лет назад, при взятии церковных ценностей советским правительством, спрятал Евангелие... Собственно серебряный оклад Евангелия. А на самом деле — в церковь пожертвовали год тому назад совершенно новое Евангелие.

— Кому же интересно вас обвинить в несовершенном преступлении?

Отец Иван вздохнул.

— Злые люди всегда найдутся. Да дело и не в них. Трудное время теперь вообще переживает Церковь. Очень много священников арестовано и уже отправлено в ссылку.

— А прихожане?

— Что ж прихожане... Многие просто перестали в церковь ходить. И в самой церкви раскол. Живоцерковников прихожане, как правило, не принимают. И принять не могут. Молодежи среди прихожан почти нет. А разве старики верующие могут примириться с живой церковью? Конечно, нет. Вот теперь и начинается водворение живоцерковников на место изгоняемых и ссылаемых чекистами священников.

Впоследствии в концлагере я встречал и изрядное количество живоцерковников в числе других попутчиков-большевиков. Но все встречаемые мной живоцерковники, — случайно, или уж это правило — были сексоты, люди аморальные, шкурники. Они-то именно на первых порах борьбы большевиков с Церковью служили разлагающим ферментом церковной общины. Именно живоцерковники вели подрывную работу в самых недрах церкви и эта работа высоко ценилась чекистами. Я припоминаю встречу в 1922 году в глухом сибирском городе Устькаменогорске с основоположником живой церкви, епископом Александром Введенским.

Путешествуя в столь глухих местах, он имел охрану из чекистов.

На диспутах с безбожниками он всегда оставался победителем, но эта его победа заканчивалась пересмешкой с оппонентами и заигрыванием с чекистами. Так во время диспута один из комсомольцев спрашивает:

— Скажите, товарищ Введенский, для чего вы носите такие широкие поповские рукава?

— Это моя спецодежда, — сказал Введенский, лихо засучивая рукава.

Смеются чекисты, смеются комсомольцы, смеется и Введенский.

И теперь, разговаривая с Сиротинным, я понял, что он одна из жертв провокации живоцерковников.

Хлопнула дверь камеры.

— Дубинкин, с вещами.

Я собрал свои вещи и вышел, сопровождаемый конвоиром. Вот опять знакомая лестница. Я поднимаюсь из подвала наверх. Боже мой, сколько света! Я замедляю шаги от слепящего солнечного света.

— Ну, иди, иди. Останавливаться нельзя.

Я оправился и бодро зашагал из ворот тюрьмы ГПУ. Слева и несколько сзади меня сопровождал конный чекист, а справа шел красноармеец с автоматом в руках. Из этих предосторожностей в моей охране я понял как меня расценивает ГПУ. Но вид освещенных солнцем улиц, живые люди, поблескивающее вдали море, так меня обрадовали. Повернув за угол, я едва не остановился от неожиданности: на меня смотрела пара заплаканных милых глаз. Это был только один момент. Увидев поворот моей головы, охранник угрожающе поднял ружье-автомат. Я отвернулся, но скосив глаза видел, как моя жена сошла с тротуара и направилась прямо ко мне.

— Нельзя, гражданка, прочь, — грубо заорал на нее конвоир.

Мы пошли далее.

2. ТЮРЬМА

Двухэтажная каменная тюрьма с двумя дворами, обнесенными высокой каменной стеной с постовыми вышками на углах, стояла на пригорке и смотрела решетками мрачных окон своих в бирюзовое море.

Все камеры тюрьмы переполнены. Если в каждой камере по мирному времени полагалось пятнадцать заключенных, то теперь там шестьдесят и более. Ночью люди ложатся все подряд: на нарах, под нарами, на полу и в проходах. Последний человек е, называемой «парашей».

Люди, томимые бездельем и угнетаемые своим положением очень много курят, и в камере всегда облака табачного дыма. Здесь, в тюрьме, совершенно иной режим, чем в подвале. Говорят все полным голосом, надзиратель разговаривает и даже шутит с заключенными. Глубокая провинция — не столичные строгие Бутырки. Но мы тогда этого не знали и не ценили.

Меня поместили в двенадцатую камеру, набитую до отказа казаками, интеллигенцией — русской и туземной.

Сергей Васильевич Жуков, оказавшийся там, очень мне обрадовался:

— Я так и думал, — говорил он после первых приветствий, — не избежать вам этой участи.

Но больше всего поражены были моим появлением вельяминовцы. Их было в тюрьме изрядное количество.

— Как же это вы, Лука Лукич, тоже за решетку, — говорил старый вельяминовец? — Мы думали вы самое высокое начальство. Комиссией заворачивали. Ошибку, должно быть, сделали?

— Все мы тут по ошибке сидим, — шутит сосед-казак. — Вот только головой которым приходится расплачиваться за ошибки, — с горечью закончил он.

Я стал присматриваться к тюремным обитателям. Здесь были представлены все слои общества. Каких-только профессий тут нет: фотографы, плотники, столяры, художники, оперные певцы, врачи, дантисты, музыканты, священники, учителя, торговцы, землепашцы. Над всей этой разношерстной компанией висело одно обвинение — в контрреволюции. Уголовников было очень мало. Шпана, или по здешнему «кодло» — воры-рецидивисты, была сосредоточена в двух нижних камерах. Они были самыми беспокойными обитателями тюрьмы и считали ее «своим родным домом». По ночам у них случались драки, поднимался невообразимый шум. Часовой с постовой будки на стене поднимал стрельбу в окна хулиганящей камеры и этим ее тотчас успокаивал.

После признания комсомольца-начальника Сталинградской милиции для меня стали ясны причины, загнавшие сюда, за тюремные решетки, невинных людей. Но решительно все тюремные сидельцы и каждый порознь не могли прийти в себя от неожиданности и совершенно не понимали — почему именно их загнали в тюрьмы? Только одни казаки, а их было здесь большинство, не спрашивали — почему и за что их посадили: им вспомнили старые грехи — участие в белом движении. У них были грехи, и не малые. Они недоумевали только об одном: почему именно их — небольшие сравнительно группы (человек по пять-шесть со станицы) — решили посадить в первую очередь, оставив всю остальную массу белых казаков нетронутой. Они не знали истинной причины этого и этим возмущались. Причины же были совсем не в юридических нормах.

Наступление темных сил развивалось медленно, но с нарастающей жестокостью. Оставшаяся в живых часть казаков — теперешних сидельцев, — попав в лагеря, в общем, выиграла. Во времена «сплошной коллективизации» их станицы были залиты кровью, а казачьи семьи, попав в «спецпоселки», умирали «в рассрочку». В спецпоселках ограбленные казаки получали скудный индивидуальный паек только за выработку полного рабочего урока на лесоразработках. Слабые женщины, старики и дети (на советском жаргоне — «иждивенцы») не получали ничего. Им предоставлено было постепенно угасать от голода.

Я поместился под нарами, рядом с музыкантом, и был очень доволен своим местом. Обыкновенно вновь прибывшему приходилось порядочное время спать подле «параши». Я же этого неприятного соседства по счастью избежал.

Здесь, в тюрьме, при виде моря и близкой громады Кавказского хребта, я начал понимать — какое великое благо свобода, ощутил ее — потерянную — всем существом своим и затосковал. Мне казалось таким возможным скрыться в горах и там жить. Пусть бы хоть целую вечность продолжалось это житье в горах, только бы не эта проклятая клетка. Я не мог найти себе места от неожиданно нахлынувшей тоски. «Бежать» — вот единственная мысль, мною овладевшая. На получасовых ежедневных прогулках по тюремному двору я прилежно рассматривал тюремные стены с единственной мыслью — не откроется ли возможность побега. Тут так близко до гор и леса — всего каких-нибудь два километра. А там, в горах, — свобода и жизнь! Я часами разговаривал под нарами с Сергеем Васильевичем о возможности побега и житья в кавказских горах. Такой опыт лесной жизни у меня был: восемь лет тому назад, участвуя в крестьянском восстании, я проскитался в лесах четырнадцать месяцев. Сергей Васильевич больше молчал и, по-видимому, безропотно подчинился року.

Тоска моя усиливалась день ото дня. Я не мог спокойно спать и меня мучали кошмарные сны. Я видел себя обычно на свободе в вихре разных событий. В эту кинематографическую мешанину неожиданно откуда-то врезалась мысль — а почему я не в тюрьме? и я тотчас пробуждался, с тоскою смотрел на выделяющиеся на ночном небе переплеты решеток. В моем воображении со всей ясностью вставал ужас моего положения. Я готов был кричать от душевной боли. Хоть бы землетрясение. Я отвлекаюсь вихрем мыслей от душевной боли, представляю себе землетрясение, разрушающее тюрьму, представляю себя бегущим к Кавказскому хребту, к спасительному южному густому лесу.

Часы идут за часами. Я смотрю во мрак невидящими глазами и тоскую об утраченной свободе, об утерянных навсегда близких. Понемногу в душе созревает твердое решение: бежать, бежать при первой возможности где угодно и как угодно!

3. ТЮРЕМНЫЕ БУДНИ

Даже здесь — в этой юдоли тоски и отчаяния жизнь не может заглухнуть и пробивается через все преграды.

Начинается тюремный день. Каждый старается забыть свое горе, чем-нибудь заняться. Здесь воспрещены только карты, но процветают шашки, шахматы, домино, нарды. Разрешены даже книги из тюремной библиотеки. Но книга из тюремной библиотеки не унесет в иной мир грез. От неё также веет тюремной действительностью. На форзацных белых листочках переплетенной книги и на белых внутренних оклейках её переплета краткая, полные отчаяния фразы, писанные смертниками в томлении перед расстрелом. Нет, уж лучше не видеть этих книг.

Самый старый обитатель нашей камеры — пожилой, толстый армянин Учинджиян. Это он, плачущий иногда над своей судьбой, часто шутит с соседями, рассказывает сказки, показывает тюремные игры. Потешаются обыкновенно над вновь прибывшим простаком. Все стараются быть веселыми и, даже случается, смеются. Но смех этот не задевает души. В душе остается и точит все время как червь тоска, тоска по утраченной свободе. Здесь убивается энергия, убивается надежда на избавление. Это не тоска заключенного в тюрьму на определенный срок. Заключенный на срок знает: придет время и его выпустят на свободу. У него есть чем жить. Но мы — подследственные, не знаем своей судьбы, не знаем — придется ли еще смотреть на белый свет. Это сознание своей обреченности вызывает постоянно грызущую, неопределенно тяжелую тоску, отравляет жизнь. Мы все болели этой тяжелой психической болезнью, однако, употребляли все усилия держать ее скрытой у себя внутри, не обнаруживали своей слабости, разнообразили как могли наши тюремные будни. Впрочем, наши развлечения не так уже и разнообразны. Оперный певец споет вполголоса арию-другую из оперы, профессор прочтет короткую лекцию, врач расскажет, как следует сохранить здоровье. Слушая их я продолжаю тосковать и думать о чекистской пуле, прерывающей жизнь здорового и больного с одинаковой беспощадностью.

Немного в стороне от нас держался старичок Маслов — петербуржец. Он никак не хотел верить, будто его, Маслова, подвергнут одинаковой каре с этим определенно контрреволюционным сбродом, каким являлись в его глазах все мы остальные. Еще бы: Маслов управлял в Новороссийске губернским финотделом (казначейство), принес своей деятельностью несомненную и большую пользу советской власти. И он работал для власти не по принуждению. Если бы начальство могло заглянуть в его сердце, в его мозги,

ничего кроме сто процентного приятия большевизма там не нашло бы. И вдруг его запрятали в тюрьму. За что? Он морщит лоб, делает гримасу.

— Ну, была у меня в Ленинграде (непрерменно в Ленинграде, а не в Петербурге) фабричка небольшая. Бумажная фабричка. Всего тридцать рабочих. И я же этого не скрывал. Ну, это, конечно, пустяки. Я надеюсь, на днях меня выпустят, — заканчивал он, высоко подняв брови и усаживаясь поудобнее.

Я видел его на этапе и в Екатеринодаре и в Московских Бутырках. Надежда его не покидала. Пришел в себя он только в Соловках и закончил свой жизненный путь в братской тифозной могиле.

Казачи «залегали» на нарах «по станично», вели свои казачьи разговоры, а больше молчали, ожидая решения своей участи. Шесть лет тому назад белые казаки поверили обещаниям советской власти о полном забвении их грехов и преступлений против рабоче-крестьянской власти в случае возвращения. Убаюканные нэпом, возродившим их хозяйства и давшим им сытую жизнь, казаки и не думали о грозящем им возмездии. Их не трогали. Так думали казаки и дальше жить. Однако, этот противоестественный союз с большевиками к добру не привел. Могучий казак-кузнец Хоменко лежал как раз среди голых нар и дымил папирасой. Табак у всех казаков свой, хороший табак; люди они все зажиточные, положительные. Кузнец молчит. Фотограф Афиногеныч, сидящий за сбыт куда-то карточки Буденного, лезет из под нар и задевает огромную босую ногу казака.

— Ну, и нога. Из такой ноги можно две сделать, — говорит он, почесывая лоб.

Казак смотрит на высокую шуплую фигуру фотографа и изрекает:

— По хате и хвундамент.

Потом они начинают мирно играть в шашки. Афиногеныч в сотый раз рассказывает, как Буденный был знаком с ним запросто и если бы теперь можно было ему написать, непременно бы заступился «начальник первой конной» за взятого за жабры фотографа. Он и на Соловках остался при том же мнении.

Я лежу под нарами рядом с молодым музыкантом Иваном Пройдой. Он рассказывает кое что о себе:

— Вы думаете я Иван Пройда и на самом деле? Ничего подобного: я и числа своим фамилиям не упомяну. А все почему? Жизнь такая, приходится часто менять место. Работаешь в каком-нибудь полковом оркестре. Конечно, особенно много не заработаешь. Возьмешь — свистнешь инструмент и подался в другой город. Там сейчас в полк к маэстро. Так и так, мол, кларнетист, скажем. Даст пробу — и готово. И документов не спрашивает. Да еще в случае нужды, от ГПУ прикроет. Вот у нас братва какая.

— Пожалуй это может и надоест, — возражаю я. Цыганская жизнь, вечные опасения.

— Привычка, — говорит Пройда. — Вот в последний раз мне доверили инструменты в ремонт свезти. Инструментов было много. Я их, конечно, свистнул, загнал одному человечку. Однако, вскоре влип — поймали. Дело это происходило в Узбекистане.

— Кого это вас?

— Там в Туркестане все время идет война с местными бандитами-басмачами. Вот с пленными, захваченными в одной из стычек с басмачами, меня и отправляли. Хорошо, едем в товарном. Вагон открыт со стороны часового. Жара там сильная и в закрытом вагоне ехать невозможно. Часовой около выхода полулежит. Да и задремал. А поезд шел шел, да и остановился. Я не долго думая, тихонько через часового переступил и раз, под вагон. Смотрю, а за мной все басмачи до единого удрали. Вот и пришлось мне после этого самого случая сплестовать подальше сюда, на Черное море. Года полтора жил. Место было ничего. Да, ведь бабы уж обязательно подведут. Кабы не бабы — кто тут найдет? Нипочем нельзя было найти.

Пройда принимается ругать на все корки «слабый пол» и клясться никогда ничего не доверять «этому зелью-бабам».

После обеда подходит нашей камере очередь идти на прогулку. На дворике, при возврате камеры с прогулки, можно было зайти за выступ крыльца и отстав от своей камеры, подождать следующую и с ней еще полчаса погулять.

Сергей Васильевич прогуливался с человеком средних лет, одетым в рваную блузу и брюки цвета хаки. На голове у него шапочка тюленьей кожи. Он был не из нашей камеры, словчил отстать от своих и теперь гулял с нами. Я подошел к ним.

— Вот вам, — обратился ко мне Жуков, — кругосветно-тюремный путешественник; уже побывал на Соловках и опять, по-видимому, собирается туда же.

Я заинтересовался. История «путешественника» оказалась очень несложной.

Просидел этот бывший крупный помещик три года на Соловках за свою «буржуазность» и был после отбытия каторги водворен на три года в ссылку в одну из губерний. За попытку удрать его схватили. При обыске нашли у него адреса некоторых высокопоставленных особ в Болгарии. Новый срок в три года Соловецкой каторги ему был, конечно, обеспечен.

Дзюбин (так звали соловчанина) довольно спокойно относился к своей судьбе и равнодушно ожидал этапа. Для него тюрьма уже перестала быть тюрьмой. Как я узнал потом, из чувства человеколюбия он не рассказывал нам — будущим соловчанам — о Соловецкой каторге ничего ужасного, отделяваясь общими фразами. Для нас же Соловецкая каторга была большим, но отнюдь не зловещим иксом.

4. БЕРУТ СМЕРТНИКОВ

По тюрьме поползли слухи. Тюремные надзиратели взяли у камерных старост списки заключенных и с озабоченным видом ходили по камерам, что-то в списках отмечая. Старые тюремные сидельцы поняли эти приготовления. И замолчали обреченные, бросив и занятия дозволенными играми и разговоры. Каждый ушел в себя, каждый чувствовал, как надвигается нечто неизбежное.

Вечерняя поверка была раньше обычного. Как-всегда надзиратель перестукал деревянным молотком прутья оконной решетки, но вместо обычной шутки или пожелания, ни слова не сказал и исчез.

Тюрьма замолкла. Из-за оконной решетки поползла ночная темнота, скрыла груды лежащих на нарах и на полу тел, загустила сумрак под нарами.

Мы лежали тихо, неподвижно. Каждый звук извне отдавался в камере и заставлял вздрагивать. Где-то в отдалении застучал мотор автомобиля. В окно проскользнула резкая полоса света от автомобильных фар и замерла на уголке потолка и стены.

Опять звонкая тишина. Где-то хлопнула железная дверь и по тюремному двору гулко застучали шаги.

Идут...

Еще стук открываемых дверей. Топот шагов по лестнице. Опять стук двери, ведущей в коридор.

В жуткой тишине не слышно даже дыхания притаившихся людей. Время словно остановилось.

У соседней камеры звякнул железом о железо ключ, и скрипнула дверь.

Что там происходит? Звонкая тишина не нарушается ничем.

Вот опять где-то неясный шум, словно хрип.

И снова шаги по коридору — дробный стук многих ног.

Неужели к нам?

Нет, опять в соседней камере. Опять хлопает железная дверь вдали, а здесь жуткая тишина. Снова хлопнула дверь. Шаги стучат, удаляясь. Опять хлопает коридорная дверь. На минуту все замолкает. Уже готов вырваться вздох облегчения — пронесло... Но нет, звуки шагов возобновляются. Стук их все громче и громче. Вот они у двери. Ключ звякает о металл замка и вдруг летит на пол.

Камера замерла. Ужас и отчаяние, казалось, залили все. Время остановилось.

В открытую дверь камеры вошли трое. При свете фонаря надзиратель читает по списку:

— Стасюк, Григорий Иванович.

Медленно поднимается с нар приземистый, старый казак и начинает надевать ботинки. Сосед не выдерживает:

— На што воны тоби те ботинки?

Казак, однако, надел ботинки, перекрестился.

— Ну, прощайте.

Темную его фигуру поглотила коридорная темнота. Мертвое молчание застыло над неподвижными людьми. У двери, освещаемой фонарем, третий пришедший, одетый в кожаную куртку, нелепо улыбался во всю свою широкую физиономию.

Дверь гулко захлопнулась вслед за ушедшими и прострекотал замок. Богатырь казак Хоменко вздохнул, как кузнечный мех и зашуршал папиросной бумагой.

Со всех сторон на него зашикали:

— Брось свою бумагу, Хоменко... Что ты делаешь? Брось... Если бы тебе пришлось...

Хоменко продолжал завертывать папиросу.

— А если бы то и мне пришлось — не смог помереть бы што ли?

В голосе у него против воли звучала радостная нотка — пронесло.

Неожиданно около нашей камеры послышались вновь шаги, вновь загремел ключ в скважине и, не успели опомниться узники, как сухой голос надзирателя произнес из коридорной темноты:

— Хоменко, Прокоп Ильич.

Богатырь кузнец сел на нарах, пораженный как громом, и остался неподвижен.

— Хоменко, одевайсь, — слышится из коридора. Хоменко медленным движением берет в руки ботинки и вдруг опускает обессиленные могучия руки.

— За что это меня? — спросил он упавшим голосом.

— Живо, живо, Хоменко, — подгоняют из коридора. Хоменко кое-как оделся и стал около нар, твердя только эти два слова: «за что?»

Палач в кожаной куртке подошел к нему, схватил его за руку и рванул. Хоменко нелепо шатнулся и отлетел к двери камеры. Силы оставили богатыря и ужас сделал его малым ребенком. Еще момент — и он скрылся в коридорной темноте, подталкиваемый палачами.

5. НА ЭТАП

Идут тоскливые дни. Мы все еще не можем опомниться от кошмарной ночи. Уныние овладело тюремным населением... Казалось — каждый только и думал, как бы получить каторгу вместо расстрела.

Однажды днем в нашу камеру посадили рабочего. У него не было вещей, не было и вопроса о месте для него. Он сидел в сторонке, поглядывая на угнетенных ночными страхами сидельцев. Я заговорил с ним и он охотно поддержал разговор. Рабочий оказался из уфимской губернии — земляк. Мы с ним разговорились о своем крае, о многоводных реках и дремучих лесах.

— Почему это у вас вещей нет? — осведомился я.

— Да, видите — ли какое дело, я наказание в тюрьме отбываю по приговору нарсуда и работаю на «заднем тюремном дворе». Вчера проштрафился: выпил немного. Ну, меня и ткнули сюда к вам, вместо карцера.

— Сколько в последний раз человек расстреляли?

— Двенадцать. Я и еще двое рабочих и могилы им заранее выкопали на косе у моря.

— Много в этом году расстреляли?

— Да, за полгода двести пятьдесят человек. Доктор тюремный считал. Я слышал ихний разговор с начальником тюрьмы. Ну, это только из тюрьмы взято двести пятьдесят. В подвале там много, не двести пятьдесят.

Парень взглянул на меня и, с сожалением покачав головой, продолжал:

— Как это только и дальше будет? Каждые две недели из нашей тюрьмы уходит этап человек по полтора — двести. Все в концлагерь, да в ссылку.

Днем пришел начальник тюрьмы в сопровождении надзирателей. В руках у начальника список, написанный на пишущей машинке.

— Послезавтра на этап, — объявил он. — Теперь послушайте кому что назначено.

Далее следовало чтение длинного списка фамилий с отметками против фамилий в какой лагерь и на какой срок идут заключенные.

Вздых облегчения вырвался из многих грудей. Вот уж теперь можно сказать — пронесло. Соловки так Соловки. Самое главное убрались от расстрела, — читал я в глазах ссылаемых на каторгу.

Опять потянулось тягостное ожидание. Мы ходили на прогулку, жили от утреннего чая до обеда и от обеда до вечерней каши. Обед обычно разносился в жестяных тазах «бачках». Никто почти этой баланды не л. Питались приносимыми из дому передачами. Деревня времен расцвета нэпа и при суррогате собственности на землю, цдела изобилием и, конечно, кормила своих попавших в пасть ГПУ сеятелей прекрасно.

Все деятельно готовились на этап. В камеру вместе с передачами съестного стали приносить шубы, полушубки, сапоги, мешки с сухарями, чемоданы.

В день отправки нашего этапа, численностью в полтора человека, мы были выстроены с вещами на дворе. Конвоиры — грубые до хулиганства украинцы, приступили к личному обыску.

Вещи каждого этапника осматриваются до последних мелочей. Отбирают ножи, мелкий табак, чтобы не могли бросить его в глаза конвоиру и убежать, деньги, ценности, часы, могущие как известно в солнечный день служить беглецу компасом. Процедура эта занимает целый день. Нам строго воспрещено разговаривать друг с другом и даже оглядываться. Но вот осмотрены вещи у последнего заключенного, нас, обремененных вещами, выстраивают рядами и солдаты, вооруженные винтовками с примкнутыми штыками, окружают этап.

Начальник конвоя произносит обычную формулу о поведении этапников во время следования этапа до вокзала и в заключение заявляет:

— Шаг в сторону из строя считается побегом и стрельба по бегущему будет без предупреждения.

Нас выводят на улицу. Я жадно всматриваюсь в окружающее: нет ли хотя бы какой-либо возможности бежать. Напрасно: конвоиры окружают нас почти непрерывным кольцом, с боков, впереди и сзади этапа сверх того еще и конные конвоиры.

Этап шел до вокзала около двух километров. И пока мы двигались, я, не ослабевая внимания, следил за его движениями, всматривался в ситуацию местности — не будет ли возможности быстрым прыжком выскочить из строя и исчезнуть за каким-нибудь прикрытием. Однажды мне показалось: на нашем пути лежат заборы, постройки с узкими проходами между ними. Я уже напрягаю мускулы, готовлюсь к прыжку, но этап свертывает в сторону и лабиринт построек остается у нас сзади.

В некотором удалении от станции стояли в тупике зловещие вагоны с окнами, забранными железными решетками. Вагоны «царского времени» и называются «столыпинскими». Каждое купе в вагоне забрано в решетку и рассчитано было на шесть человек по числу спальных мест. Но нас набили туда по четырнадцать.

Наконец, захлопнуты двери клетки, засунуты засовы и запорты. Приютившись среди груды сваленных кое-как вещей, в неудобных позах мы все же чувствуем облегчение: кончилась самая надоедливая процедура. Я со своими планами побега чувствую себя немножко обескураженным. Но надежда на будущие удачи меня в конце концов подбадривает.

На другой день приезжаем в Екатеринодар и этап идет в тюрьму, расположенную за городом у самых зарослей — плавней реки Кубани. Опять бесполезное ожидание момента для побега, опять надежда осуществить его при вторичной отправке этапа из Екатеринодара дальше.

Надоедливая процедура вторичного осмотра вещей при приеме этапа тюрьмой утомляет нас и мы рады добраться до грязной, заплесанной камеры и отдохнуть. До очередного этапа в Ростов на Дону нам придется ожидать целых две недели в Екатеринодарской тюрьме.

* * *

Екатеринодарская тюрьма — еще провинция и нас не угощают особыми строгостями. Во время прогулок можно ходить всюду по тюремному двору. Мы вдвоем идем мимо больших кирпичных корпусов. Из окон выглядывают заключенные красноармейцы в своих шлемах.

— Что тут красноармейская часть что ли сидит? Мой собеседник профессор-химик Диденко, сосед по нарам в нашей камере, равнодушно заметил:

— Их всегда порядочно тут сидит. Преступление против дисциплины. За более серьезное без разговоров — расстрел.

— Строго.

— Да, чистят серьезно. Будет ли только толк. Нам встретился несколько сгорбленный молодой человек и увидав профессора, весело сказал:

— Знаете, профессор, а меня хотят расстрелять.

Профессор ничего не ответил.

— Психует? — спросил я.

— Да. И не он один. Здесь за шесть месяцев уже к тысяче расстрелянных из тюрьмы подходят. А сколько в подвалах? Представляете себе какая это бойня.

— Мы думали бойня у нас в Новороссийске. Оказывается отстаем.

Профессор нахмурился.

— Да, отстаете. А что делается в Ростове, что делается в Москве! Впрочем, это мы с вами увидим. Я отправляюсь из Москвы прямо в Соловки.

Я ему позавидовал и сообщил, что из Казани ожидаю отправиться прямо к праотцам. Профессор пожал плечами.

— Не мудрено. Я вот никогда не думал заниматься политикой. Однако зачислен в ранг контрреволюционеров. Провокаторы ГПУ без дела не сидят.

В Ростовской тюрьме нас ожидали еще более ошеломляющие известия. Тюрьма была буквально битком набита. А люди все прибывали и прибывали.

Мой спутник музыкант Иван Пройда неожиданно для себя встретился со своим другом, сидящим в Ростовской тюрьме за какие-то уголовные художества. Он сообщил нам невеселые вещи.

— Житье здесь аховое. Народу — реки. А расстреливают и числа нет. Вот сосчитайте: каждый день, то есть ночь собственно, автомобиль отвозит смертников раза три или четыре. Это никак не меньше пятидесяти человек. А бывает и больше. Считают в канцелярии у нас — не меньше пяти тысяч народу уже расстреляно. Главным образом казаки.

Встречаемые нами на прогулках ростовцы имели убитый вид, говорили вполголоса, словно перенесли тяжелую болезнь.

— Не веселое житье у вас в Ростове, — обратился однажды к крестьянину.

— И не говори. Такое пришло время — и жить не надо. Да били хотя бы сразу. А ведь тут страху сначала натерпишься. Жизни своей будешь не рад.

* * *

В Москву мы прибыли рано утром. Закрытый автомобиль, знаменитый «черный ворон» начал возить нас отдельными партиями. Мне и трем моим случайным компаньонам повезло: нам не хватило мест в «черном вороне» и нас водворили на грузовик с вещами заключенных, под охрану двух конвоиров.

Все время, пока мы ехали по людным улицам, меня не оставляла мысль: прыгнуть с автомобиля на мостовую и скрыться. Я прилежно вглядываюсь в наполненные толпами улицы, вижу милиционеров, торчащих всюду, снующих в толпе военных, и мне становится ясным несбыточность моего предприятия.

Неожиданно автомобиль останавливается перед фасадом дома из красного кирпича в небольшом, уютном переулке. Это и была Бутырская тюрьма, получившая свое название от татарского князя Бутыра, плененного при взятии Казани. Здесь же в круглой кирпичной башне когда-то сидел, ожидая казни, Емельян Пугачев. В этой Пугачевской башне битком набито людей и помещение там такое же паршивое, каким оно выглядело, вероятно, во времена Пугачева.

В Бутырской тюрьме свои особые, чекистские порядки. Все здесь делается как в подвалах, таинственно и, порою, загадочно. Даже такое простое дело, как обыск при приеме, обставлен большими формальностями. Говорят здесь вполголоса и делается все бесшумно. На каждого прибывающего в Бутырки заполняется обязательно анкета. Пока все формальности будут выполнены, проходит много времени. А «черный ворон» все подвозит и подвозит новых обреченных. Но, наконец, начинают писать анкеты на людей нашего этапа.

Около анкетного стола происходит какое-то замешательство. Стол окружают серые мужики. Конторщик начинает их спрашивать:

— Фамилия?

— Бог знает.

— Фамилия, имя, отчество? — свирепеет конторщик.

Крестьянин спокойно отвечает:

— Бог знает.

Конторщик обращается к следующему. Повторяется такой же самый разговор. Конторщик с минуту смотрит на них с недоумением, затем срывается со своего места и исчезает в какую-то закуту, очевидно за справками.

Серые мужики стоят спокойные и молчаливые. Я спрашиваю соседа священника:

— Что это за люди?

— Имяславцы. Это православные. Только они верят, что антихрист уже пришел в мир и его слуги — большевики. Они не называют своих имен и не работают для антихриста. Друг друга зовут «брат» и «сестра», постятся все время и мяса не дят совсем. ^[3]

Непоколебимо-спокойные бородачи стоят молча. У ног их — деревенские холщевые котомки. Это все, что осталось у них от связи с родной деревней. Своего имени они

никогда не поведают антихристовой власти и никогда не получат весточки ни от разметанной палачами семьи, ни из родной деревни. Их жен услали в другие лагеря, а дети остались предоставленными самим себе. Но крепкая вера этих серых богатырей им оплот и сила. Что семья, что дети и жена, коли пришел час предстать, перед Господом! И они всегда были готовы к этому престательству не запятнанными работою антихристу, сохранив в тайне от него свое имя, полученное при святом крещении.

Конторщик возвратился. Имяславцев куда-то уводят. Вновь течет нудное время. Люди, пройдя мимо анкетного столика исчезали за дверью и проходили следующее мытарство — личный обыск. В помещении становится после ухода части людей на обыск, посвободнее. Я пробую размять затекшие члены и ухожу к стенке за колонны. Здесь стены испещрены записями. Арестантская заборная литература, испещряющая стены камер и этапных помещений, не лишена интереса для свежего человека.

Здесь за колоннами стены исписаны скучающими заключенными. Надписи по преимуществу повествовательного характера, сообщают кто и куда проследовал. Попадаются иногда случайно знакомые имена и фамилии. Часто встречается пессимистическая надпись-поучение:

Входящий — не грусти,
Выходящий — не радуйся.
Кто не был — тот будет,
Кто был — тот не забудет.

Вот длинный список:

- Проследовали на Вышеру скаут-мастера.
- Сколько их?
- Восемнадцать.

Любители математических выкладок сообщают:

- Из Харькова проследовали на Соловки из камеры номер десять — двенадцать человек, имеющих сроков на сто лет.

Некто сообщает поговорки.

- С миру по рубашке — голому нитка.

Начертан даже целый интернационал.

Вставай полфунтом накормленный,
Иди в деревню за мукой.
Снимай последнюю рубашку,
Своею собственной рукой.
Лишь мы — работники всемирной
Великой армии труда,
Владеть землей имеем право,
А урожай никогда.

Всякого рода ругательства и издевательства над «Ильичем» (Лениным) встречаются в надписях за колоннами. В одной из надписей сообщается:

— Напиши советскую эмблему, прочти наоборот и узнаешь чем все это закончится. Молотсерп.

Вновь подхожу к своему спутнику — священнику.

— Для чего здесь такие сводчатые высокие потолки и колонны, — недоумеваю я.

— Да, ведь это же церковь, тюремная церковь, — отвечает священник.

Я сконфуженно оглядываю всю постройку и убеждаюсь — конечно, здесь была церковь.

После долгих мытарств мы попадаем в сто двадцатую камеру на третьем этаже одного из корпусов и спешим растянуться на деревянных кроватях (топчанах), почти сплошь расставленных по всему пространству обширной камеры.

6. ВОЗВРАЩЕНЦЫ И РЕВОЛЮЦИОНЕРЫ

Наш этап прибыл в Бутырки в последних числах октября 1927 года. В десятую годовщину октябрьской революции 7 ноября 1927 года ожидалось помпезные торжества. Среди заключенных все время циркулируют слухи самого фантастического свойства о предстоящей широкой амнистии. За месяц до октябрьских торжеств об этой амнистии затрубили все советские газеты. Как не ожидать было если не амнистии, то хотя бы облегчения участи. И мы ожидали. Только соловчанин Дзюбин ничего не ожидал. Он побывал на Соловках и знал о заплечной машине ГПУ больше нас.

Этапы все прибывают и прибывают. Из окна нашей камеры мы наблюдаем каждый день толпы новых людей, прибывающих с этапами. Их то уводят в корпуса в нашу сторону, то за церковь, что среди двора. Офицеры царской армии, юнкера, кадеты, чаще всего встречались в этих толпах.

У нас в камере уже наладилась жизнь. Люди разбились на группы и уже вели оживленные разговоры и споры. В первую очередь, конечно, обсуждалась со всех сторон грядущая амнистия. Находились даже оптимисты, верившие в открытие дверей тюрем и освобождение всех прибывших с этапами заключенных. Эти оптимисты принадлежали к возвращенцам, соблазненным большевицкими посулами на возвращение из эмиграции в лоно родины в качестве блудных, но раскаявшихся сынов.

Около нас полковник-возвращенец Попов беседует с казаком.

— Вы спрашиваете почему мы из заграницы вернулись? Наши уговорили.

— Ваши и здесь в советах были? — интересуется казак.

— Да, тут у красных он занимают высокое положение. Но вышло не совсем удачно — началась эта катавасия. Предлагали они, что, мол, если хотите, будем вас вызволять, но этим сильно повредим себе. Так мы, то есть наша возвратившаяся группа, решили выждать.

Полковник Попов закурил папиросу и продолжал:

— Так-то вот и приходится теперь идти на принудительные работы. Что мы там будем делать — не представляю. Я умею воевать, вешать могу с успехом. А ведь это все теперь не пригодится.

Этот простяк — Попов все еще не чувствовал себя обманутым, находил всякия объяснения свалившимся на их возвращенческую группу несчастиям.

— Я думаю все же, — говорил он при сочувствующем молчании остальных, — кончится большой шум и нас постепенно вызволят.

Где теперь полковник Попов? По-видимому, попал он на Парандозо, а там остаться целым было весьма трудно. Он, конечно, убедился на собственном опыте в отсутствии большевицкой эволюции, но что в этом толку?

В другой группе седоусый бодрый старик рассуждать с синеглазым крестьянином Веткиным.

— Вот помани мое слово: дольше, чем до Рождества это не продержится. Рухнет все к чертовой матери и сами они разлетятся как дым. Это перед смертью они хотят надыхаться и губят народ.

Веткин качает головой:

— Ой, так ли? Как это оно само собой пропадет? Вот, если бы...

Веткин оглянулся и замолчал: его приятель грозил ему шутя кулаком.

Рядом со мною лежал на своем топчане наш камерный староста — анархист Кудрявов и рассказывал о своих злоключениях на царской каторге. Пришлось ему отбыть десять лет ем удалось бежать. И вот теперь Кудрявов идет на большевицкую каторгу на три года. Впрочем, он надеялся на скорую помощь: у него двоюродная сестра здесь в Москве одним из прокуроров.

— Прочел я как-то недавно интересную книжку. Автора забыл. Название книжки «Аль-Исса» рассказывается там про некий остров, управляемый бессмертной богиней. Каждые три года ее носили по всему острову и никто не смел на нее глядеть. Каждые три года для неё жрецы выбирали одного юношу, победившего на состязаниях всех конкурентов. И этот юноша за ночь, проведенную с богиней, платил жизнью.

Был на острове некий юноша по имени Аль-Исса. Полюбил он богиню, представляя ее себе небесной красоты и несказанной прелести женщиной. Три года мечтал он о богине, победил на состязаниях всех своих конкурентов и с восторгом понес свою молодую жизнь дивной царице.

Привели его в святилище. Ждет он вожделенной встречи с царицей. И вот открывается тяжелая завеса и перед ним вместо дивной богини старая престарая, беззубая и безобразная старуха.

Я здесь ставлю точку и продолжаю уже о себе. Мы, революционеры, боролись за светлую свободу, несли за нее в жертву нашу жизнь, гнили по тюрьмам, лишались семьи и близких. И вот она, эта свобода, пришла в виде уродливой и отвратительной старухи.

7. ОПЯТЬ ПОДВАЛ

Прошли «октябрьские торжества» с большой помпой. Во всех газетах был опубликован большевицкий манифест — один из ярких образцов коммунистической лжи. Согласно точному смыслу манифеста — реки людей, льющиеся в места заключения и каторжных работ должны были быть отпущены немедленно на свободу. На самом деле ничего в положении заключенных не изменилось, расстрелы опять пошли своим порядком, а широковещательные льготы и амнистия были погашены «секретными декретами».

Из Москвы меня отправили в Казань по месту совершения преступления на следствие и расправу. Чем дальше уезжал наш этап от Москвы, тем мы, заключенные, лучше себя чувствовали. Татары и русские конвоиры относились к нам с сочувствием, жалели и старались оказывать всякия мелкие услуги, вроде покупки нам на станциях на наши деньги хлеба, продуктов, папирос. Мы усиленно писали письма и наши конвоиры опускали их в почтовые ящики на станциях, вопреки правилам.

Вот и казанский вокзал. Мне знаком, кажется, тут каждый камень. В тюрьму мы идем через весь город по малолюдным улицам.

Старинная казанская тюрьма со стрельчатыми окнами, тяжелыми сводами и массивными воротами, показалась мне настоящей гостиницей. Надзиратели — люди все добрые и покладистые, старались облегчить нам наше тяжелое положение. Эта метаморфоза тюремная меня очень удивляла, хотя вскоре все объяснилось: в Казанской губернии не было «Войковского набора», не было еще расстрелов и все жило по инерции старой зарядкой. Только спустя год и здесь полилась кровь ничуть не меньше, чем в других местах. Я, главарь крестьянского восстания 1919 года должен был ожидать самой суровой участи. Однако, мои опасения не оправдались.

В тюрьме с удивлением слушали мои рассказы о «Войковском наборе» и уверяли меня, что в Казани ничего подобного не происходит и подвалы ГПУ пусты. Впрочем, я в справедливости этого убедился сам: на другой день меня из казанской тюрьмы переправили в казанский подвал.

* * *

Следователь ГПУ молодой человек Стрельбицкий рылся в своем столе. Я сидел против него на стуле и молча ожидал дальнейшего. За длинный трехмесячный этап из Новороссийска до Казани у меня уже обдуманно все и все решено. Я по виду совершенно спокоен, ибо готов к самому худшему — смерти. Эта мысль о смерти сделалась привычной и давала мне твердость и спокойствие.

— Ну-с, товарищ Дубинкин.

— Я не Дубинкин. Моя настоящая фамилия — Смородин.

— Так, так, — ехидно улыбается Стрельбицкий, — это мы уже знаем.

Он вынул из ящика своего стола толстое дело, мое дело. Восемь лет ожидало оно меня в архивах ГПУ. Порывшись еще в бумажном ворохе, Стрельбицкий извлек мои фотографии и подал мне.

— Узнаете?

Я равнодушно посмотрел на карточки.

— Вы, конечно, будете оправдываться и вины своей не признаете?

— Вы, гражданин следователь, кажется, собираетесь вести следствие?

— Разумеется.

— Ну, уж нет. На основании манифеста об амнистии подлежу немедленному освобождению.

Стрельбицкий переглянулся с чекистом, сидящим за другим столом в той же комнате и сказал:

— В этом манифесте сказано о дополнительных инструкциях. Вот на основании этих секретных инструкций ваше дело прекращению не подлежит.

— Это как вам угодно, гражданин следователь, но я вам показаний никаких давать не буду.

Стрельбицкий вопросительно смотрел на второго чекиста, очевидно, его начальника.

— Пусть напишет об отказе давать показания, — говорит тот.

Мне дали формальный бланк опроса подследственных и свидетелей и я подробно изложив свои мотивы об отказе давать показания, расписался и возвратил документ Стрельбицкому. Следователь позвонил и передал меня вошедшему конвоиру.

Очувтившись в совершенном одиночестве в довольно большой камере подвала, я затосковал. Мое спокойствие меня оставило и тяжесть легла на сердце.

Отказавшись от показаний, я тем самым, приносил себя в жертву, Здесь не следственное учреждение и не юристы это следствие ведут. Я во власти чекистов, действующих по принципу «коммунистической целесообразности». Всякий протест рассматривается ими уже сам по себе как преступление, а мой отказ от показаний мог рассматриваться еще и как желание избавиться от ответственности моих сподвижников по крестьянскому восстанию, живущих теперь легально. Я видел толпы обреченных чекистами на каторжные работы совершенно невинных людей, исключая, конечно, уголовников и совершенно ясно представлял себе, какова будет моя участь «активного контрреволюционера», восстававшего против советской власти с оружием в руках, руководившего, до своего ранения, крестьянским восстанием.

Долго ходил по камере, пока изнеможенный тяжелыми думами не легь на нары совершенно разбитый и обессиленный. Я ни о чем не думал, во всем теле стоял нудный зуд. Хоть бы залиться слезами по детски, но нет слез на моем лице и не прекращается душевная боль.

Ночью я успокаиваюсь и начинаю дремать. Дремота переходит в сон, а после сна проходит и острое ощущение утренних переживаний. Привыкнуть можно ко всему.

Потекли дни подвального сиденья: сегодня как вчера, вчера — как сегодня. Я вижу только охрану — красноармейцев. Они начали ко мне привыкать и некоторые дружелюбно со мною разговаривали, если вблизи не было начальства. Иногда появлялись в моей камере заключенные, но через некоторое время их отправляли или в тюрьму, или на этап и я вновь оставался один в пустой камере.

Однажды, уже под вечер, дверь моей камеры открылась и как-то боком вошел молодой человек, имевший, судя по одежде, ультра буржуазный вид. Дверь за ним закрылась и молодой человек, опасливо поглядев на меня, сел на кончик скамьи.

— У вас тут тепло, — нерешительно сказал он.

— Да, у нас тепло. Разве вы не намерены здесь долго оставаться? — спросил я его.

— Конечно, нет. Это какая-то ошибка. Я думаю меня часа через два выпустят.

— Это вам чекист сказал? — спросил снова я.

— Да, тот, что производил обыск.

— Ну, так вы эти два часа выкиньте из головы. Раздевайтесь и будьте как дома.

— Но я не сделал никакого преступления.

— Сюда садят не столько сделавших уже преступление, но главным образом могущих его сделать. Так сказать — профилактика государственного организма.

Молодой человек недоверчиво на меня посмотрел и, конечно, остался при своем мнении.

К вечеру второго дня молодой человек не мог придти в себя от изумления: в камеру нашу набили человек сорок таких же как он, «красных купцов». Это было началом наступления на городскую буржуазию. С неё требовали валюту, отбирали товары. Среди заключенных очень много было коже — заводчиков. Меня, однако, вскоре перевели в казанскую тюрьму. Дело мое считалось законченным и я должен ожидать в тюрьме приговор.

8. ПУТЕВКА В СОЛОВКИ

В тюремной камерелюдно и шумно. Все нары заняты сплошь и часть заключенных расположилась под нарами. Я подхожу к камерному старосте — человеку средних лет.

— Где бы поместиться?

Староста дружелюбно меня оглядывает и тут же решает:

— Вот туда, рядом с телеграфными столбами. Да что вы удивляетесь? Вот рядом с двумя телеграфистами.

Телеграфисты приняли меня дружелюбно. Пока я знакомился с камерой, принесли кипяток и мои новые соседи начали меня угощать чаем.

— У нас в казанской тюрьме как в гостинице. Вот подождите, вечером в кино пойдем, — сказал молодой телеграфист.

Я с любопытством рассматривал камеру и удивлялся мягким тюремным порядкам.

— Вот уже и билеты в кино продают, — сообщил один из телеграфистов.

Разбитной курносый паренек, помахивая зажатыми в руке цветными бумажками, предлагал:

— Кто желает в кино — покупайте билеты. Да вы не беспокойтесь, — убеждал он меня, — билет купите, это вам и пропуск в тюремный клуб.

Я купил билет.

Мои соседи по нарам — трое бывших жандармов тоже ожидали приговора о ссылке в концлагерь.

— Может быть вместе угодим, — говорил мне один.

— Ничего, — утешает второй — и там люди живут.

Вечером нам, имеющим билеты в кино, открыли камеру и мы вышли на тюремный двор. Мимо угрюмых каменных корпусов проходим почти к самой задней стене тюрьмы в угловое одноэтажное здание. Там ужелюдно и шумно. На скамейках пестрая арестантская публика. Женщины сидят отдельно и надзиратель ходит по среднему проходу, наблюдая за порядком.

Патриархальная жизнь казанской тюрьмы успокаивает и даже развлекает. Мы оживленно разговариваем, разглядываем публику.

Из средних рядов на меня пристально смотрит высокий худощавый человек в армейском обмундировании. Я всматриваюсь в него и мы сразу узнаем друг друга.

— Мыслицин! Ведь я вас видал два года назад на сибирской станции.

— Да и я вас тогда видел. Только сделал вид будто не заметил.

Я с волнением всматриваюсь в отмеченное уже временем лицо своего однополчанина — офицера, жму его руку.

— Что ж забросило вас туда? — спрашиваю я.

— Жизнь забросила. В семнадцатом году я прямо из полка перешел на службу в казанскую милицию. В восемнадцатом, конечно, отступил с белыми отрядами, образовавшими потом армию Колчака. После его крушения очутился окруженным красными. Пришлось скрыть свое офицерское звание и воспользоваться милицейскими казанскими документами. Поступил в транспортное ГПУ, то есть собственно был дежурным агентом. Год назад я был опознан одним типом и отправлен сюда в Казань. Наверное на Соловки поеду.

— Не приходилось встречать еще однополчан? — спросил я.

Мыслицин оживился.

— Пришлось. Не так давно пришлось. В Самаре. Там я и был арестован. Встреча произошла при погрузке нашего этапа в вагоны. Как-всегда, охрана оцепила место погрузки. А нужно вам сказать, было в нашем этапе очень много шпаны. Отпетый все народ. Попади они к нам в одно купе в вагонную клетку, обчистят до нитки. Ворованное передают через решетку друг другу и концов не найдешь. А мы трое, еще два инженера, нагружены вещами. Шпана это посматривает на наши чемоданы как на легкую добычу. Идем мы уже грузиться в вагон и горюем. Ограбят эти прохвосты. Проходим мимо начальства. Стоит командир конвойного полка — по нашивкам вижу. Гляжу я на него и себе не верю: барон Штрек — наш батальонный командир. Только постарел немного. Я это из рядов вышел и прямо к нему. Конвоир хотел было меня осадить, да видит разговариваю с командиром — прошел дальше. Я и говорю барону — пусть бы он сделал распоряжение поместить нас в вагоне отдельно от шпаны. Называю его, конечно, по имени и отчеству. А он смотрит на меня во все глаза и мямлит: я, говорит уже с пятнадцатого года Серебрянников. Потом сообразил какую чепуху несет, да и добавляет: я, говорит, вас уже караульному начальнику передал и ничего сделать не могу. Я это плюнул, в душе выругался и догнал своих. Ну, однако Штрек одумался и дал распоряжение нас поместить отдельно от шпаны. Вот какое дело. Поживает себе наш барон под вымышленной фамилией и командует полком. Да и разве он один?

Началась демонстрация кинофильма. Был он длинный и бестолковый, с добродетельными большевиками и гниющей буржуазией.

Обратно мы брели по своим камерам в ночном полусумраке. Хлопали железные двери, гудела говором расходящаяся толпа.

Через казанскую тюрьму шла часть сибирских этапов, направляясь на Соловки. Каждые две недели отправлялись из казанской тюрьмы две-три партии этих транзитных заключенных. Террор свирепствовал и там, на Дальнем Востоке. Здесь же в Казани еще была невозмутимая тишина. Из Дальневосточного края люди шли по четыре месяца, останавливаясь по переполненным тюрьмам всюду на пути. Добравшись до казанской тюрьмы, люди отдыхали и после ужаса промежуточных тюрем из районов, объятых террором, считали нашу тюрьму «курортом». Бывали случаи — начальник тюрьмы отпускал в город в сопровождении невооруженного надзирателя заключенных, отправляемых в Соловки. Увы, скоро и Казанская тюрьма стала не лучше других тюрем.

В мае месяце меня потребовали в ГПУ для объявления приговора. Радости моей не было границ: раз требуют для объявления приговора, значит расстрела нет.

Два конвоира с обнаженными шашками ведут меня по улицам города. Идем, как-всегда, по мостовой. Прохожие боятся смотреть в мою сторону, только некоторые, не поворачивая головы, скашивают все же глаза.

В комендатуре ГПУ меня подвели к окошечку, вроде кассового. Чекистка за окошечком взяла клочок бумажки, прочитала нечто мало вразумительное и предлагает мне расписаться.

— Дайте же я сам прочитаю.

— Нельзя, — говорит чекистка, подвигая мне бумажку для подписи.

Но раньше, чем она могла запротестовать, бумажка очутилась в моих руках. Чекистка поперхнулась своим протестом и молча ожидала.

На бумажке было написано:

Протокол заседания особого совещания коллегии ОГПУ от

11 мая 1928 года. № 000

С л у ш а л и: дело № 0000 по обвинению по ст. 58, II гражд. Смородина С. В., переданного на основании постановления Совнаркома от 18 апреля 1928 года.

П о с т а н о в и л и: подвергнуть высшей мере наказания — расстрелу с заменой десятью годами Соловецкого концлагеря.

Вот и весь приговор. Я расписался в прочтении и бумажку отдал обратно. У меня словно гора свалилась с плеч. Никого из соучастников моего преступления не потревожили, и я иду в концлагерь один.

В тюрьме меня поздравляли. Мыслицин сознался — ожидал для меня расстрел. По его мнению меня спас от расстрела отказ от показаний. Если бы я стал давать показания — получилось бы огромное дело и меня, как центральную фигуру всего дела, расстреляли бы в первую очередь.

Но теперь, пройдя через подвально-концлагерную мясорубку, я оцениваю «милосердие» палачей по иному. Мой отказ от показаний дела бы не остановил. Но поднимать кровавую расправу раньше назначенного времени ГПУ не хотело и по этому случаю должно было мое дело, так сказать, предать временному забвению.

Я вздохнул полной грудью и почувствовал прилив бодрости и энергии.

В этот вечер, уже успокоившись от первых впечатлений, я всем сердцем ощутил радость бытия, радость жить и чувствовать. Только здесь в юдоли страданий можно оценить по-настоящему благо жить. Будем же жить, будем надеяться! Я, обрешивший себя на смерть, теперь воскресал вновь.

Рядом со мной на нарах лежал телеграфист, тихо тренькал на балалайке и жиденьким тенорком пел:

На платформе огоньки,
На душе тревога.
Мчится поезд в Соловки —
Дальняя дорога.

Что ж, в Соловки, так в Соловки... И там солнце светит.

IV. «АДОСТРОЙ»

1. ИЗ КАЗАНИ В СОЛОВКИ

В конце мая 1928 года я вновь попал в могучее течение реки обреченных на каторжные работы в концлагерях. Из Казани наш этап направился в Москву. Даже Сибирь и Дальний Восток слали своих заключенных в Соловки через Бутырскую тюрьму и каждый день из обширных Бутырок отправлялся этап на Соловки или на Вышеру. Случалось — людской поток буквально заливал Бутырки и тогда целые экстренные поезда отправлялись прямо в Кемь (преддверие Соловков на берегу Белого моря), минуя Петербург. Наш этап шел через петербургскую Шпалерку (пересыльная тюрьма) обычным путем.

За Петербургом, далее на север, потянулись неуютные леса: темные конусы елей перемешались с красными стволами сосен, а внизу вместо ковра буйной лесной травы, мох и папоротник. До Онежского озера среди этих угрюмых лесов веселые кроны лиственных деревьев и кустарников скрывали болотистые места и бесконечные поля мха, поросшего пахучим багульником и осокой. За Онежским озером потянулись настоящие северные, бесконечные болота и равнины, усеянные валунами. Над этими молчаливыми пустынями в розоватом полусумраке белых ночей опрокинулось удивительное северное небо. Призрачный розоватый свет переходил на безоблачном небе в нежные голубоватые тона. При восходе или заходе солнца тона делались резкими. Такую синь неба можно встретить разве что на грубых лубочных картинах. И лучи солнца, вероятно, от влияния этой сини, красны как кровь, словно

... тонет царственный рубин.
В струях лазуревой эмали.

Убогость чахлых лесов и болот особенно оттеняет царственное величие неба. Не эти ли контрасты между землею и небом влекли сюда, на север, святых подвижников, основавших великую древнюю Соловецкую обитель?

В недолгие месяцы успевают здесь вырастать скудная северная трава, и леса успевают взять соки из оттаявшей не надолго земли. Мы проезжали эти места в самую лучшую пору года, когда все росло и зеленело.

Поезд мчится прямо на север, останавливаясь около глухих, малолюдных станций и из окон вагона, в переплете железных прутьев решеток, видны одни и те же унылые картины: хвойные мрачные леса, болота и обильно разбросанные всюду озера, поблескивающие своей темноватой водой.

На реке Волхове, лишь только поезд наш вырвался в прибрежную равнину из лесных массивов, неожиданно видим какое-то сооружение. По виду большая мукомольная мельница: бетонная плотина, отверстие нескольких водоприемников. Такие мельницы нередки в хлебородной Сибири. Но для чего эта мельница здесь, на глухом голодном севере, питающемся привозным хлебом?

Как оказалось впоследствии, я не узнал одного из «замечательнейших» сооружений, восхваляемого в течение двух лет всей советской печатью, как детище социалистической стройки — Волховскую гидроэлектростанцию или «Волховстрой», какие строятся в — «стране гниющего капитализма» — Америке десятками.

Уже за Петрозаводском неожиданно наступила дождливая погода, синее небо исчезло, облака надвинулись низко почти к вершинам лесов, болота закурились туманами. На остановках наши конвоиры, входя в вагон из под сетки дождя, стряхивали капли воды со

своих фуражек и, по-прежнему, молчали. Во время хода поезда по проходу между клетками шагал скучающий красноармеец, изредка перебрасываясь короткими фразами со своим компаньоном. Разговоры их я слышал, когда оба компаньона подходили к нашей крайней клетке и, остановившись в уголке у нашей решетки, закуривали. Разговоры не сложные: о погоде, о северной жалкой природе. Молодой красноармеец вспоминает свою недавно покинутую родину Кавказ.

— Откуда будешь? — спрашивает компаньон молодого.

— С Черноморья. Из деревни Бжид.

Я насторожился. Это хорошо знакомая мне деревня. Ночью я выждал, когда молодой красноармеец зашагал у нашей клетки в одиночестве и тихонько его окликнул. Он подошел.

— Вы из Бжида?

Красноармеец удивленно на меня смотрит.

— Не узнаете? Я землемер, работал у вас в деревне прошлым летом.

Красноармеец узнал меня, заулыбался. Я воспользовался случаем и попросил его опустить в почтовый ящик письмо. Он его взял и быстро спрятал в карман.

В ясную погоду я выбрасывал сквозь решетку в открытые окна вагона открытки, адресованные близким, они оканчивались просьбой к неизвестному нашедшему бросить их в почтовый ящик. Как оказалось, впоследствии все мои открытки дошли по адресу. В дождь я писем не бросал и помощь красноармейца была приятной неожиданностью.

Во время разговора к нам пришел еще один красноармеец и мы повели тихий разговор, проклиная советскую власть и советские порядки.

— Разве мы не видим кого возим? — говорил красноармеец. — Вот петлю себе на шею надели. Ведь у нас в Ленинграде четыре полка заняты конвойной службой. И большею частью конвоируют заключенных.

Мы, русские люди, зажатые в тиски темными силами, вели этот разговор до самой смены молодого красноармейца и несмотря на отделяющую меня решетку, я был им близок и мы вместе выражали твердое убеждение в недолговечности власти коммунистического интернационала, угнетающей нашу Родину.

* * *

По счастливой случайности в нашей вагонной клетке не было шпаны и мы могли быть спокойными за наш арестантский скарб.

Петербургский инженер Александр Иванович Сизов, забравшись на верхний ярус, «на верхнюю полку», смотрел потихоньку от стражи в маленькое оконце и сообщал о виденном нам.

— Какая то станция. Довольно людная.

— Это, вероятно, Кемь, — сказал дальневосточник Кабукин.

— Да, именно, Кемь. Вот и надпись.

В вагонном коридоре затопали солдатские сапоги.

— Лицом к решетке, — командуют нам конвоиры.

— Кажется подъезжаем, — говорит молчаливый инженер Мосильон.

— Ага и вас пробирать начало, — шутит Сизов. Третий инженер химик Петр Алексеевич Зорин, помещавшийся внизу нашей клетки, начал собирать свои вещи.

— Рано еще. Только зря загромоздите помещение, — ворчит недовольный Кабукин.

Однако, вскоре началась общая суматоха. Разложенные и рассованные под скамьями и наверху вещи оказались в одной, очень громоздкой куче и в клетке стало еще теснее. На верхней полке Александр Иванович, да красноармеец Свистунов, лежали себе по-прежнему и посмеивались над нашей нервностью.

Поезд стал. Под крики и ругань конвоиров мы выбираемся из вагонов. Волна за волной, толпа за толпой валят из вагонов люди, нагруженные вещами. Только шпана выходит налегке: у этого народца вещей не бывает. Два монаха вывели из вагона третьего, слепого девяностолетнего старика. Не мало калек, людей болезненного вида, с печатью хронических недугов.

Партию окружили конвоиры. В воздухе висела крепкая ругань. Последними с поезда сошли женщины, числом до пятидесяти. Их поставили в хвост нашей партии. Казалось суматошливой разгрузке конца не будет.

Тронулись. Полчаса ходьбы и наш этап, пятьсот, шестьсот человек, у группы дощатых барачков, обнесенных проволочными ограждениями. При барачках небольшой, усеянный валунами двор.

Из барака вышел рослый человек в военном красноармейском обмундировании и с места обдал нас потоком грязной брани. Это был ротный командир карантинной роты Курилко. Человек крикливый с жестоким нервным тиком лица.

— Чего вы их сюда привели? — орал он на конвоиров, гримасничая, будто от острой боли, — промуштровывать их, да хорошенько.

Нас погнали дальше — к самому морю на довольно широкий досчатый мол. Конвоиры-красноармейцы сдали нас Курилке с его командой. Начался опять, как неизбежный ритуал, нудный личный обыск. Осматривали вещи, ощупывали самих, одежду. Но вот обыск кончен, вещи сложены в кучу.

— Стройся по четверо в ряд.

Из командной группы выступил низенький, но коренастый крепыш. Резким голосом, кипящая непонятно злобою, принялся он обучать нашу пеструю ораву воинскому строю, пересыпая свою команду потоком ругани шпанского образца.

Измученные долгою дорогой, нудным обыском, ошеломленные грубостью новых охранников, щелкающих затворами винтовок, грозящимися убить, мы молча повинемся команде. Дико было видеть, как священники и епископы в рясах, престарелые монахи, почтенные люди науки повертывались в строю сотни раз направо, налево, топали на месте ногами и маршировали под команду горлана-изувера, не устававшего притом же ругаться над именем Божиим. Заставили нас кричать в ответ на командирское приветствие сотни раз «здра», — «да так, чтобы на Соловках было слышно». Наконец, после трех, четырех часов муштры, нас с вещами опять воротили к баракам, за проволочную ограду. Натискали нас в барак до тесноты: такой не случалось терпеть ни в тюрьмах, ни в подвалах. Но едва успели разместиться, новая команда выгнала нас вон — заполнять анкеты на каждого вновь прибывшего заключенного.

В нашем этапе оказалось двадцать пять имяславцев. Они мужественно отвечали свое «Бог знает» на все вопросы и несмотря на угрозы и издевательства оставались тверды и непоколебимы. Их поставили на крупные валуны на дворе карантина и заставили стоять почти целые сутки. И они стояли суровые, неподвижные. Шел дождь. На них не осталось нитки сухой. Холодный ветер с моря изнобил их, — дрожат, зуб на зуб не попадает. Ничего: стоят сумрачные, молчаливые, — не хотят открыть слугам антихриста своих святых имен, не согласны «работать антихристу».

Впрочем, нам остальным было не легче. Тотчас по заполнении анкет нас погнали прямо на пристань, и, под неумолчные крики старшего рабочего, — по здешнему выразительному термину, — «гавкала», начали мы бесконечную работу по погрузке бревен, сложенных тут же невдалеке в штабели.

Работали все, — и здоровые, и больные, и молодые, и старые, — без остановки до полного изнеможения сил. Хотя бы пятиминутный отдых. Напрасно «гавкало» кричит не переставая, обессилившие руки еле держат бревна. Но еще напряжение, еще, — и опять пошел тащить груз к вагону.

Нестерпимая, зудящая, гнетущая боль во всем теле. Ноги словно налиты свинцом. Перед глазами то черные круги, то скачут искры. В одурелой голове ни единой мысли. Двигаюсь как автомат, потеряв представление времени и места. Напрасно пытаюсь сообразить: сколько уже часов в работе? Что сейчас — день или ночь? Солнца то ведь нет, а белую кемскую ночь отличи-ка от дня.

Только однажды, зайдя за вагон, мне удалось приостановиться. Прислонился к вагону, перевел дух и ощутил себя, разбитого, подавленного. Мне казалось: ночь уже прошла и заутрело, — за тучами как будто блеснул мимолетно солнечный луч. А, может быть, мне мерещится? Повисшие руки ныли, ноги отказывались служить. Начинаю сознавать окружающее, в голове появляются мысли. Вижу измученных священников вместе с нами несущих этот крест. Вижу как шатаются от усталости мои дорожные спутники, товарищи по несчастью. Еще минута, другая, и я вновь — щепка в потоке этого ужасного движения, снова автомат, и опять в сознании только боль, усталость и ко всему безразличие.

К полдню, проработав всю ночь и все утро, мы вернулись за проволоку. Во дворе по-прежнему стояли на камнях неподвижные имяславцы.

На обед и отдых нам дали два часа. От усталости мы едва ели и не успели перебраться хотя бы несколькими словами. Чуть поели, повалились и заснули. Нас грубо разбудили, построили и повели на Кемский пересыльный пункт (Кемь перпункт).

Он помещался недалеко от карантина. Все заключенные, прибывающие в Кемь сначала попадают в карантинную роту, а затем направляются частью в Соловки, частью на Кемперпункт, который на распределяет доставленных по лагерным командировкам и лесоразработкам. Бараки Кемперпункта похожи и солдатские казармы и образуют целые улицы. Всю территорию пункта окружает забор, охраняемый часовыми.

Усталых, полусонных нас поставили на новую работу: чистить какую то площадь. Это сравнительно с давешним было куда легче, если бы не глушили нас потоки брани и непрерывный крик надзирателя. А в самый разгар работы конвоир собрал нас и повел обратно в карантинный пункт. Едва мы вышли из перпункта, как конвойный с угрозами и ругательствами, приказал нам бежать. Сам бежал сбоку, поминутно щелкая затвором и орал:

— Не отставать! Убью! — уснащая угрозы отвратительными ругательствами.

Рядом со мною бежали спутники по арестантскому вагону, тверской инженер Мосильон, дальневосточник Кабукин, инженер — технолог Александр Иванович Сизов и Петр Алексеевич Зорин... Мосильон измученный уже не сознавал, что с ним творится. Мы тащили его под руки, справа я, слева Кабукин.

— Пустите меня, — захрипел вдруг Мосильон, — не надо держать: я хочу умереть.

Не успел я слова сказать, как Кабукин выпустил руку Мосильона, и он повис мешком на моей руке. Произошло замешательство. Упало еще несколько человек. Конвоир должен был остановить партию, на чем свет стоит ругая отсталых. Я с укором взглянул на Кабукина. Он пожал плечами, как бы говоря:

— Если человек сам хочет умереть, что же ему мешать? Пусть умирает.

Зачем и кому нужен был этот бессмысленный и беспощадный бег, я и по сей час не знаю. [\[4\]](#)

Добрели до проволоки карантинной роты. Глядим, едва глазам верим: имяславцы стоят на своих местах.

Из барака вышел ротный Курилко, злорадно оглядел нас полумертвых, едва стоящих на ногах и стал вызывать по списку. Отсчитали нас полтора человека и, спешно погрузив на пароход, повезли на Соловки. Мало кому из ста пятидесяти суждено было ступить на материк.

Остались там в мерзлой островной земле и все до единого стойкие упрямы имяславцы.

2. ЗАПЛЕЧНОЕ ЦАРСТВО ГУЛАГА

Главное управление лагерями, раскинувшееся по гиблым местам и пустыням нашего отечества, лежавших при «проклятом царском режиме» без использования, образовалось не сразу, хотя и возникло из небытия в весьма короткий срок. Современное царство ГУЛАГА, управляемое товарищем Берманом, возникшее из Соловецкого концлагеря, насчитывает миллионов пять шесть заключенных, так сказать «подданных» и значительно больше «вассалов», лишенных счастья попасть в лагеря и кончающих свои горемычные дни в спецпоселках и ссылке. Между тем в 1927-28 годах СЛОН (Соловецкие лагеря особого назначения) насчитывал только десятки тысяч заключенных. В его состав входили Соловецкие и Вышерский лагеря.

В строительстве мясорубки, истребляющей людей, коммунистические строители показали себя непревзойденными гениями... Если постройка социалистического рая шла черепаashим шагом, при грозных кликах строителей, обещавших этим черепаashим шагом «догнать и перегнать» буржуазную Америку, то стройка ада («Адострой») каковым и является лагерь, и вся так называемая карательная политика социалистического правосудия, шла, так сказать, гигантскими шагами и нет ей в истории примера.

Что же в сущности представляет из себя современный советский концлагерь или «тюрьма без решеток» в коммунистической терминологии.

Да, действительно, решеток в этой каторжной тюрьме нет. Если бы и захотела социалистическая власть посадить всех каторжан за решетку и заковать в цепи — определенно не хватило бы железа. Поэтому и обходятся без решеток. Лагерь не тюрьма, но место принудительных работ: на постройках, промыслах, лесоразработках, шахтах, заводах.

Судьба подсоветских граждан, попавших в лапы ГПУ в качестве контрреволюционеров или каэров, более или менее шаблонна. Прежде всего, раз попав в лагерь, заключенный уже никогда не вернется в место своего прежнего жительства и никогда не освободится от попечения ГПУ. Это есть главное правило чекистской системы. Оно, собственно, и понятно: в подвалах и лагерях можно видеть советскую власть без маски и всякий, побывавший в лагере, уже твердо знает, что из себя эта власть представляет. Изъятие гражданина в подвально-концлагерную систему производится обычно в порядке массовых арестов. В этих арестах принимают деятельное участие и местные власти, стараясь избавиться от беспокойных или просто не ихнего духа людей. И вот вернуть этих изъятых из гражданского оборота граждан социалистического отечества обратно — значит сделать вызов опоре власти на местах — активу.

После каторжного концлагеря каэр идет непременно в ссылку. Судьба ссыльного такова.

1. По приезде на место ссылки — явка в местное ГПУ. Там скажут сколько раз в месяц вы должны регулярно и точно являться на регистрацию в это почтенно заплечное учреждение.

2. Никаких пайков и пособий сосланному не дается, равно и не оказывается помощи в приискании работы. Ищи и обрящешь, а не обрящешь — можешь погибать с голоду — для ГПУ меньше хлопот. Это вам не «проклятый царский режим» плативший теперешним разрушителям России, бывшим когда-то в ссылке кормовые деньги. В частности, Калинин, бывший в ссылке в Повенце, получал кормовых денег двенадцать рублей в месяц, тогда как прожиточный крестьянский минимум в те времена был пять — шесть рублей.

3. По всякому пустяковому поводу или без всякого повода, ссыльный может получить новый срок, попадает вновь в подвал и начинает концлагерно-подвальный цикл сначала.

4. Если имеется у ссыльного «блат» (покровительство, протекция), можно надеяться по окончании срока ссылки на прекращение хождения на регистрацию и можно жить в дозволенных местах. Но с особого учета в ГПУ каэр никогда не снимается.

Каэр — специалист в дополнение к этим четырем мытарствам имеет еще два.

5. Еще во время пребывания в лагере он может быть продан (безо всяких кавычек) одной из государственных хозяйственно-экономических организаций. Происходит это схематически так: организация, нуждаясь в специалисте, обращается в ГУЛАГ с просьбой продать нужного ей специалиста (фамилия при этом в торге не фигурирует — нужен специалист и все). ГУЛАГ назначает за пользование специалистом месячную, обычно весьма высокую, плату и из этой платы выдает проданному одну четверть... Проданный поселяется на вольной квартире, находясь под постоянным гласным наблюдением приставленного к нему для этой цели чекиста. Чекист во всякое время приходит к проданному, может делать у него обыск. Проданный не имеет права вести переписку и иметь общение с вольными. Вообще проданный продолжает оставаться лагерником, хотя и живет на вольной квартире вне лагеря.

6. По окончании срока заключения такой проданный может перейти в разряд ссыльных со всеми вытекающими отсюда последствиями, но может быть и сослан куда угодно. Лучше всего чувствует себя специалист, оставшийся после окончания лагерного срока на том же лагерном предприятии, где отбывал срок. Он заключает с ГУЛАГом договор и считается вольнонаемным служащим ГПУ. Таких «вольнонаемных служащих» чекисты считают своими людьми. Положение беспартийного специалиста пугает такого каэра до известной степени от участия в постоянно происходящих партийных склоках, всегда кончающихся чьим-нибудь поражением и падением в низы жизни.

3. СОЛОВЕЦКИЙ КОНЦЛАГЕРЬ

По мистическим верованиям и сказаниям, нечистая сила нигде не селится так охотно и не забирает такую сильную власть, как в запущенных без богослужения церквях, в развалинах древних монастырей, в разрушенных часовнях. Как бы в оправдание поверья, большевики заняли под фундамент своего заплечного «адостры» святыне Соловецкие острова на Белом море (в шестидесяти километрах от города Кеми) и утвердились в храмах, часовнях и службах оскверненной ими обители святых угодников Зосимы и Савватия. На шестом столетии своего существования великая святыня русского народа отошла под каторжный концлагерь.

Соловецкий архипелаг состоит из островов: Главного Соловецкого, двух Муксомских, Анзера и Заяцких. Остров Конд на юге Белого моря к Соловецкой группе не принадлежит.

Площадь Главного Соловецкого острова двадцать пять тысяч гектаров (длина около двадцати километров, ширина около двенадцати). Он сплошь болотный с множеством (до шестисот) озер и озерков. По болотам сенокосы, на немногочисленных возвышенностях огороды и пашни. Из озер обширнее других Святое, тотчас у восточной стены Кремля или Крепости (бывший монастырь). Оно питает монастырский водопровод, когда-то оводняло ограждающие обитель широкие и глубокие защитные рвы. Впрочем, ныне эти рвы порядочно осыпались и поросли бурьяном и крапивой.

Крепость «Кремль» расположена у бухты Благополучия. Высокие монастырские стены сложены из громадных валунов, скрепленных известью. Верхний ярус стены кирпичный: в нем ход с бойницами. Длина стен пятьсот девять сажен, ширина от трех до четырех. В изломах стены высокие башни, снабженные старинными пушками.

Тотчас к югу от Кремля прекрасный сухой док, электростанция и лесопилка. Вокруг кремлевских стен разбросаны кучками и одиночно бывшие монастырские гостиницы, дома для рабочих, скотный двор, конюшни, механические мастерские, гончарный и кожевенный заводы, бани. По острову, изрезанному во всех направлениях удобными дорогами, много часовен, отдельных скитов. Ныне в них всюду или живут заключенные, или склады лагерной хозчасти.

Второй по величине остров, Большой Муксомский соединен с Главным островом каменной дамбой. Здесь, в бывшем главном скиту, «сельхоз» — сельскохозяйственная ферма. Малый Муксомский остров по площади, действительно, совсем мал, всего несколько гектаров. На нем, отделенном от южного берега Большого узким проливцем, ютится в небольшой часовне становище рыбаков.

Четвертый остров Анзер, то есть, Гусьостров, прозванный так за свое гусеподобное очертание, отделен от Главного проливом в несколько сот метров. На нем — «Голгофа» — знаменитый скит Никона, впоследствии патриарха. Это ссылочное место Соловецкой каторги, куда она сплавляет своих инвалидов и «леопардов» — самый низший разряд уголовной шпаны, обреченных на гибель отверженцев даже преступного мира.

Ведь уголовно-преступный мир и на Соловках, как и в каторжных тюрьмах былого режима, да, кажется, и всех режимов во всех странах, имеет свои неписанные, но, строго исполняемые законы, свою иерархию, свои обычаи и даже свой «хороший тон».

Наверху уголовной иерархии стоят бандиты, герои «мокрого дела», не раз обагрившие руки в крови, «при борьбе с капиталом», как любят похваляться иные из них. Это уважаемые аристократы преступной среды. Каждый уголовник считает за честь быть в компании со столь заслуженными людьми, а они далеко не со всяким водятся, очень разборчивы в выборе приятелей.

За бандитами следуют жулики-профессионалы разных оттенков и специальностей. Это как бы средний класс, своеобразная «буржуазия» преступления, что ли. Они обычно семейные и жульничество было для них постоянным добычным промыслом. Они с презрением смотрят на низший преступный класс — многочисленную «шпану» и даже всячески ее угнетают. А шпана платит им за это, как ни странно, приязнью и готовностью всегда помочь и услужить.

Шпана — самый многочисленный уголовный класс. Тут мелкие жулики, воры, работающие не вооруженными и «без наводки» — люди минутной удачи, «скачка». Среди них нет даже «ширмачей», работающих под прикрытием какого-нибудь «ширма», вроде, например, чемодана, портфеля. Эти бессемейные живут минутой, «заработки свои (фарт) спускают в карты по притонам (шалманам). Карточная игра чрезвычайно распространена между ними, нет ни одного шпаненка, не зараженного этой страстью. Самый низший сорт шпаны — «леопарды» — проигрывают все, включительно до одежды. Их нередко можно встретить и по тюрьмам и на Соловках — в костюме Адама со своеобразным прикрытием наготы — единственной веревочкой с привесом жестянки от консервов.

В тюрьмах и лагерях шпана продолжает заниматься тем же, чем и на свободе: воровством и жульничеством, обирая заключенных, не принадлежащих к уголовному миру (фраеров). По шпанским законам все люди разделяются на «своих» и «фраеров». В отношении «фраера» разрешается все. В Соловках «фраер» держи ухо востро: ежеминутно рискует лишиться последнего своего имущества. «Свой» может спать спокойно: у него и спичка не пропадет. Даже в клетках арестантских вагонов шпана ухитряется обворовывать фраеров и украденные вещи пропадали бесследно, будучи передаваемы из рук в руки шпане соседних клеток.

Отправляемые на о. Анзер «леопарды» оттуда уже не возвращались. Их садили на голодный паек и к весне осенние пришельцы заполняли своими обезображенными цынгою трупами вырытые с осени братские могилы на кладбище у скита Голгофа. Весною, как только земля порыхлеет, а тепло станет грозить замороженным трупам оттаянием и разложением, а живым заразою, «издержки революции» зарывались, рядом же вырывались новые обширные ямы для следующей осенней волны «леопардов» и инвалидов.

На Заяцких островах, к юго-западу от Главного, тоже имелись скиты. Там был штрафной женский изолятор. А вся «женская рота» (около восьмисот женщин) помещалась на Главном острове, за Кремлем, в особом бараке (женбарак).

Наибольшая вместимость всех соловецких помещений как показал страшный тифозный год — двадцать пять тысяч человек. Попадают на Соловки по преимуществу смертники, получившие замену смертной казни десятью годами концлагеря, просто десятилетники, шпионы — независимо от срока, особенно опасные уголовники, священники, епископы. Все остальные заключенные из прибывших в Кемскую карантинную роту поступают в Кемперпункт и направляются по сети лагерей и командировок...

Какие жизненные дороги не скрещивались в безотрадной соловецкой юдоли! Члены советского правительства, военачальники высоких рангов, чекисты всяких калибров, партийцы разных положений, люди науки с громкими именами, епископы, священники, монахи, сектанты. И рядом, юноши и девушки, едва вышедшие из отроческих лет, женщины всех слоев общества, иностранцы чуть ли не всех наций.

Современный концлагерь внешне очень сильно отличается от своего прототипа — Соловецкого концлагеря, каким я его застал в 1928 году. Толпы современных каторжан все в казенном обмундировании — серых или защитного цвета арестантских бушлатах (полупальто), защитного цвета штанах, черных шапках или защитного цвета фуражках.

Все это, конечно, грязно, истрепано, вонюче, ибо люди спят не раздеваясь. Все коротко острижены, более или менее обриты. В этой нарочитой серости тонут и интеллигенция, и крестьяне и рабочие, и духовенство. Старо Соловецкая каторга выглядела по иному. В арестантских бушлатах щеголяли по преимуществу уголовники, а также лишённые имущества и не имеющие поддержки со стороны. Все остальные носили свою «вольную» одежду: священники и епископы неизменно были в рясах, офицеры донашивали свои плащи и пальто иногда со следами когда-то пришитого погона, крестьяне в своих крепких самотканых одеждах.

Соловецкий концлагерь — всецело — продукт большевицкого творчества. Ничто внешнее не мешало здесь «строителям новой жизни» применить к делу принципы марксизма-ленинизма-сталинизма, чтобы перерабатывать вредных общественных «паразитов» в полезные величины, достойные социалистического строя, и затем осуществить таковой.

Однако, вместо столь благотворительной культурной лаборатории, на Соловках выросла каторга, — худшая из каторг, отмеченная на всех путях своей краткой истории позорным клеймом коммунистического бессилия строить «новую жизнь».

История советской каторги резко разграничивается на три периода.

Первый, 1922-26 годы: угнетение и истребление заключенных, умышленно оставляемых на произвол чекистов в качестве «навоза для удобрения социалистических полей».

Второй, 1926-30 годы: «френкелизация» Соловецких лагерей, по примеру её, распространение обширной лагерной сети по всей территории СССР.

Третий, с 1930 и дальше: «каторжный социализм».

Я прибыл на Соловки в июне 1928 года и первый период лагерного строительства нашел только в рассказах очевидцев и в смешении с периодом «френкелизации». Вот что о первом периоде рассказывали мне скаут мастер Шипчинский и полковник Петрашко.

Первый концлагерь был учрежден чекистами на материке, в Пертоминском монастыре километрах в сорока от Архангельска. Сюда были отправлены в ссылку уцелевшие участники Кронштадтского восстания 1921 года, числом семь тысяч. Истреблению этих людей не было представлено каких-либо ограничений. Осталось в памяти каторжан, что первый пертоминский начальник лагеря, со скуки, забавлялся стрельбой с монастырской колокольни по живым заключенным. В 1925 году население Пертоминского лагеря было переведено в Соловки. Из семи тысяч кронштадтцев я застал в 1928 году только девять человек.

В 1925 году заключенный Соловецкого концлагеря еврей Френкель, в скором последствии чекистский вельможа, украшенный орденом Ленина, представил по начальству проект утилизации труда заключенных для коммерческих целей. Проект московским Кремлем был принят и одобрен как некое откровение, и уже в следующем году Френкелю была поручена реорганизация советской каторги по его системе. В первый же год «френкелизации» соловецкая каторга доставила ГПУ пять миллионов золотых рублей чистой прибыли.

Строители «адоостроя» обрадовались. С 1929 года по всему пространству СССР начали возникать новые лагеря, организуемые на началах «френкелизма». Самое слово лагерь именно тогда изменило свое значение. Прежде им называли место заключения отбывающих каторжные сроки, укрепленное и огражденное. Теперь понятием «лагерь» стали определять всю площадь, предназначенную к обслуживанию трудом каторжан: промыслы, шахты, заводы, стройки и т. д. Площади в большинстве громадные, а потому не укрепляемые и не ограждаемые. Охрана заключенных была также реорганизована на новых началах.

До 1928 года охрану на Соловках ведала воинская часть. Охранник был полным хозяином всего лагерного населения. В его воле было нудить заключенных работаю, сколько ему угодно. Часто работы обращались в истязания прямо таки не описуемые. Люди на руках истязателей-чекистов гибли как мухи. Прерогативой охранника являлось право на убийство заключенного, сославшись на любой пустяковый и при том всегда ложный повод. Например, попытка к побегу, разговор с охранником (таковой строго воспрещался, ибо мог служить сигналом к массовому нападению на охранника). О всяком убийстве составляется краткий акт соответственного содержания, подписываемый убийцею и его

ближайшим начальником. Этот оправдательный документ нужен был только для исключения убитого из лагерных списков. По соловецким обычаям убийца имел право снять с трупа и присвоить себе любую вещь.

Поэтому, если у охранника загорались корыстные глаза на что либо в жалком имуществе заключенного, то последнего можно было уже считать пропавшим человеком, намеченным «в расход» в первую очередь. Не в редкость бывали случаи убийства за хорошие сапоги. Вообще охрана старого лагеря несла функции не охранные, но по преимуществу палаческие и хозяйственные. Всякие работы проводились через охрану. Охранник не столько охранял порученную ему партию заключенных, сколько старался сделать работу наиболее мучительной, а иногда бессмысленной. Образцом такой бессмысленной работы можно считать выдумку палача Вейса (Секирный изолятор), заставлявшего заключенных носить ведрами воду из одной проруби Савватьевского озера в другую.

В 1930 году это положение резко изменилось. Слухи о зверствах в Соловецком концлагере проникли в заграничную печать. Надо было их опровергнуть. Чекисты решили прибегнуть к своему обычному, испытанному и излюбленному способу защиты: сочинить провокацией показательный процесс и в зверствах обвинить не систему и не чекистов, а мелкую лагерную сошку, пребывающую на вторых ролях в лагерном аппарате и состоящую из заключенных.

Весной 1930 года в район Соловецких лагерей прибыла, якобы тайно, так называемая «комиссия Ворошилова», довольно многочисленная, но состоящая почти сплошь из чекистов. Она сразу приступила к массовому опросу заключенных о зверствах, чинимых администрацией.

Убеждение в возможной эволюции власти в сторону отказа от проведения в жизнь «социализма в одной стране» всегда жило в массах. И вот теперь каторжные массы «пролетариата» вообразили будто в самом деле ломается каторжный режим и политика ГПУ. Большинство заключенных приняло «Ворошиловскую комиссию» за чистую монету, выдали, конечно, с большой готовностью всех палачей и ожидали новых дней, мечтая об освобождении из лагеря и возвращении «в семью трудящихся» по чекистским посулам. Увы! «Ворошиловская комиссия» оказалась таким же трюком, как и известное «письмо Сталина» о «головокружении от успехов».

Однако, собранные чекистами «комиссии Ворошилова» сведения заставили ГПУ бросить всякую мысль о показательных процессах: слишком чудовищны были зверства и мало значущи статисты-палачи пешки. Все же было изготовлено дело, если не для наружного, то для внутреннего употребления. Представленное Сталину, оно подвинуло его на ревизию работы ГПУ, осуществленную «Комиссией Серго Орджоникидзе». На Соловках же еще во время самого следствия произвели чистку адмперсонала, раскассировали кое-каких лагерных палачей, нескольких даже расстреляли. В Кеми свирепого ротного командира Курилко, в Соловках Чернявского, Селецкого и даже помощника Френкеля, Мисуревича. Сам Френкель на время «избиения младенцев», был отчислен в консультанты хозяйственного отдела ГУЛАГа. Начальник Соловецкого отделения Зарин сослан в лагерь на десять лет исполнять ту же свою должность начальника лагеря, но уже в качестве заключенного. Много ни в чем неповинных людей из нечекистского мира пострадали во время «Ворошиловской комедии». Так, женщину-врача Антипину обвинили ни больше ни меньше, как... в распространении на Соловках тифозной эпидемии. Болезнь в предшествующую ревизии зиму, свирепствовала ужасно: унесла в тифозные могилы семь с половиною тысяч заключенных. Как водится лагерная

администрация многие из своих преступлений прикрыла эпидемией: значительное число жертв, погибших в бесправных и безвинных расстрелах писалось в лагерных приказах умершими от тифа.

После разгрома лагерной администрации режим лагерей начал постепенно изменяться. Наступала пора «каторжного социализма» с организацией все новых и новых лагерей.

Увы, верившие в эволюцию власти, наблюдая расширение сети лагерей и постоянно увеличивающийся приток заключенных, вскоре увидели свою ошибку. Произошла не эволюция власти, а приспособление ГПУ к новым задачам заплочной работы.

Охрана в реформированном лагере стала играть совершенно иную роль, ничуть не похожую на старо соловецкую охрану. Задачей современной охраны является только конвоирование в нужных случаях заключенных. Функции принуждения от охраны отпали и перешли тоже в реформированном виде другим органам. Охрана современного лагеря называется «самоохраной», ибо набирается из заключенных. Разделяется она на «вохр» — внутренняя охрана и «опергруппу» или внешняя охрана. Охранить современный лагерь было бы задачей очень трудной, если бы не расположение лагерей в малонаселенных местах. Вне лагеря — на переходах, мостах, тропинках в довольно широкой полосе вокруг лагеря «опергруппы» организуют систему засад, образуя как бы невидимые стены лагеря.

Уже в 1931 году лица каторги было не узнать. Голод, непосильный рабочий урок цепко держат в лагерях каждого. Хлеб насущный выдается в зависимости от выработки урока. Теперь не нужна и охрана и мало значат сексоты (секретные сотрудники — шпионы). Каждый изо всей мочи отстаивает право на хлеб. Не до побегов таким брошенным в звериную борьбу людям. Убийства чекистами на старой каторге — ничто по сравнению с гибелью масс заключенных от хронического недоедания, от хронического голода и непосильного труда, стимулируемого погоней за куском хлеба.

Однако, после реформы лагерей осталось одно из лагерных учреждений таким, каким было до реформы. Таким оно осталось и до наших дней, изменив только название.

В каждом лагере действует своя особая организация, хотя подчиненная начальнику лагеря, но фактически руководимая центром (ГПУ), с которым она состоит в общении. Это ИСО (инспекционно-следственный отдел). Его задача — сыск, постоянное наблюдение за заключенными и борьба с криминалом. От него зависят и им производятся расстрелы заключенных по всяким поводам, а также по преступлениям, сделанным в лагере. Секретные агенты (сексоты) ИСО пронизывают всю толщу заключенных. Они вербуются из тех же каторжан путем особой системы провокации и запугивания. Лагерная администрация также пронизана сетью сексотов и ничто из её деяний не остается тайной для центра.

В 1928 году центром лагерного творчества являлся «Соловецкий лагерь особого назначения ОГПУ» или в сокращении «слон». Управление как Соловецким лагерем, так и его филиалами находилось в Соловках и в сокращении называлось «у с л о н».

Лагерь имеет воинское устройство и делится на батальоны, роты, взводы с соответствующими командирами. Во главе всего — старостат, управляемый лагерным старостой. Эта начальственная лестница назначалась из заключенных, преимущественно из отбывающих штрафные сроки чекистов, милиционеров и других лиц, близких ГПУ.

Соловецкий лагерь делился на пятнадцать рот, населенных по лагерному «классовому принципу».

Первая рота. Заключенные из верхов лагерной администрации: старостат, завы, помощники завов разными соловецкими предприятиями.

Вторая рота. Специалисты на ответственных должностях, лица свободных профессий, используемые по прямому назначению.

Третья рота. Чекисты высокой марки, служащие ИСО.

Четвертая рота. Музыканты соловецкого оркестра.

Пятая рота. Пожарники соловецкой пожарной дружины.

Шестая сторожевая рота. Населена почти исключительно духовенством, численностью около тысячи.

Седьмая рота. Медицинский персонал (частью помещается еще и в десятой роте)

Восьмая рота. Отпетая шпана, «леопарды».

Девятая рота. Рядовые чекисты.

Десятая рота. Канцелярские работники и некоторые спецы.

Одиннадцатая рота отрицательного элемента — карцер.

Двенадцатая рабочая рота. Рабочие на физических «общих» работах.

Тринадцатая карантинная рота. Сюда попадают все прибывающие на Соловки. Двенадцатая и тринадцатая рота являются «дном» лагеря.

Четырнадцатая запретная рота. Запретники — заключенные, находящиеся под особым наблюдением, работающие только в стенах кремля.

Пятнадцатая рота. Мастеровые.

Шестнадцатой ротой соловецкие шутники называют кладбище.

Кроме этих пятнадцати кремлевских рот есть еще несколько рот, расположенных за кремлем в его непосредственной близости. Отдельные лагеря в более отдаленных частях лагеря имеют свои роты. Всего на архипелаге насчитывалось девять отделений Соловецкого лагеря.

Каждой соловецкой роте был присвоен особый классовый режим. Так, первая, вторая, третья, девятая роты имели вид приличных гостиниц: в светлых кельях жили всего по два, по три человека, спали на прекрасных постелях, питались в особой столовой, имели право

свободного хождения по всему острову, не утруждались поверками. Напротив, двенадцатая рабочая рота помещалась в келарне Преображенского собора, на трех этажных общих нарах, питалась из общего котла отвратительной пищей, хлебом из вонючей трески. Заключенный двенадцатой роты мог свободно выходить только в уборную, не получал на руки пропуска, работал «без часов», то есть пока велют, до полного изнеможения сил, и лишен был права обращаться с разговором к начальству, какого бы то ни было ранга. Точно такой же режим, если еще не хуже был и в тринадцатой карантинной роте.

Между двумя такими крайностями, в остальных ротах заключенные получали большие или меньшие льготы в зависимости от умения обзавестись «блатом», т. е. приобрести расположение и покровительство какого-либо начальника. «Блат» в Соловках самая великая, спасительная сила; без «блата» существование там невозможно. Всякое начальство в Соловках, хотя бы и из заключенных, облечено деспотическими полномочиями. При желании оно может стереть заключенного в порошок.

Угодив в рабочую роту, человек падает на дно лагерной жизни, обращается в бесправную рабочую скотину: работай до истощения и нет тебе отдыха. Только счастливцев со «сведением» — свидетельством о специальном рабочем назначении, в кармане может пойти в соловецкий театр, в библиотеку, даже к приятелю в другую роту. Мечтой каждого свежего соловчанина было, прежде всего, выбраться из ада карантинной или рабочей роты, а верхом счастья считалось попасть на работы или на житье «за кремль» то есть в одну из трех рот, расположенных за кремлем. В сводную роту сельскохозяйственных рабочих, живших на сельскохозяйственной ферме или сокращенно сельхозе и по его отделениям. В роту электриков и роту железнодорожников, они помещались в бараках на юго-восток от кремля и образовывали «рабочий городок».

Таков был внешний облик старосоловецкой каторги. её эволюция в сторону превращения концлагеря из места заключения «в царство ГУЛАГ'а», с переименованием заключенного в «лагерника», тесно связана с крутым поворотом власти в сторону немедленного, «построения социализма в одной стране».

Места ссылки и каторги являлись пульсом страны: как только начинались социалистические реформы, вроде, например, коллективизации, неизменно и фатально начинало расти население ГУЛАГ'а. Если вспомнить формулу — «сто процентный социализм — стопроцентный голод, пятидесяти процентный социализм — полуголод» и применить ее к деятельности ГУЛАГ'а, получим новую формулу — «чем полнее социализм, тем больше гибнет народа» или чем дальше в лес, тем больше дров.

В настоящее время число заключенных в концлагерях никак не меньше пяти миллионов. Вот список главнейших лагерей:

1. Соловецкий концлагерь. Торфоразработки, кирпичный завод, слесарно-механические мастерские, швейная фабрика, столярно-механические мастерские, сельхозфермы, лесозаготовки, рыбные промыслы, звероводное хозяйство (лисицы, песцы, ссболя, олени, ондатра, кролики).
2. Беломоро-Балтийский комбинат. Лесозаготовки, химзаводы, сельхозфермы, дорожное строительство, звероводное хозяйство (в Повенце).
3. Нива-строй. Водосиловая установка.

4. Свирьский концлагерь. Лесозаготовки, водосиловая установка.
5. Карельский лагерь. Лесозаготовки Карелолеса (Петрозаводск).
6. Северный лагерь. Лесозаготовки (Архангельский край).
7. Волховский лагерь. Алюминиевые заводы.
8. Ухта-Печерский лагерь. Постройка Ухтинского канала и дорог, лесозаготовки. Считается штрафным лагерем с суровым режимом.
9. Хибинский лагерь. Дорожное строительство, горное дело, фосфоритные копи.
10. Мурманский лагерь. Портовые сооружения, рыболовство, звероводство.
11. Новоземельский лагерь. Пушное звероводство, рыболовство, сельхозфермы.
12. Вайгачский лагерь. Звероводное хозяйство, охотничий и рыболовный промысла.
13. Кемьский лагерь. Лесозаготовки, рыбные промыслы, сельхозфермы.
14. Дмитлаг (м о с к а н а л). Постройка канала Волга-Москва.
15. Сорновский лагерь. Постройка гавани.
16. Котласский лагерь. Прокладка железной дороги.
17. Вышерский лагерь. Химический комбинат (лесозаготовки, химические заводы, щепное дело).
18. Кунгурский лагерь. Шахты и металлургия.
19. Северо-кавказский лагерь. Овощные заготовки, сельхозфермы.
20. Астраханский лагерь. Рыбозаготовки.
21. Карагандинский лагерь. Скотоводство (одного крупного рогатого скота свыше двухсот тысяч голов). Работает на материале, отобранном при раскулачивании кочевых киргиз (казаков).
22. Каркаралинский лагерь. Зерновое (поливное) хозяйство и животноводство.
23. Кузнецкий лагерь. Шахты.
24. Чарджуйский лагерь. Хлопок и текстильный завод.
25. Ташкентский лагерь. Хлопок и текстильный завод.
26. Сибирский лагерь. Угольные копи и разработка руды.
27. Ленский лагерь. Добыча золота (Бодайбо).

28. Игорский лагерь. Постройка гавани и лесозаготовки.
29. Нарымский лагерь. Лесозаготовки.
30. Шилка — лагерь. (Бывшая каторжная тюрьма) Шахты и постройка дорог.
31. Сретенский лагерь. Шахты и заводы.
32. Сахалинский лагерь. Рыбные ловли и промыслы.
33. Байкало — Амурский лагерь, с управлением в городе Свободном. Постройка грандиозной железнодорожной сети (БАМ).
34. Юргинский лагерь. Животноводство и сельхозфермы.
35. Риддерский лагерь. Шахты, добыча полиморфных руд.

Сюда не вошли еще лагеря крайнего севера Сибири (Звероводство, пушной промысел, постройка дорог, добыча золота) и мало известные лагеря, работающие на стратегические сооружения, занятые постройкой укреплений и т. п. Самый значительный из лагерей Байкало-Амурский или БАМ. Его охват на тысячи верст, а численность в нем «бамармейцев» миллионная.

Таковы итоги социалистического «адоостроя».

V. СОЛОВЕЦКОЕ ДНО

1. ОСТРОВ СЛЕЗ

Мы наконец, прибыли на «Остров слез», не имея пока о нем никакого понятия, даже не зная, что он называется «островом слез», но твердо надеясь в душе на лучшее.

После нудной процедуры приема и обыска, как это делается по всем тюрьмам, после мытья в бане номер три, мы, наконец, были водворены в тринадцатую карантинную роту.

Шагая из бани под сводами перекрытий древней Соловецкой обители, мы ничего не могли разобрать в этом каменном хаосе средневековой крепости, сложенной из громадных валунов. Только уже поднимаясь по широкой каменной лестнице я понял: мы попали, как о том свидетельствует полужакрашенная надпись у входа, в огромный Преображенский собор. Однако, внутри ни одной иконы. Проходим возвышение над полом, по-видимому солею, и попадаем в комнату с нарами и окном во двор обители.

Наша камера вместила семьдесят человек. Лежим на нарах, молчим. Жутью веет от мертвого молчания семидесяти человек, оглушенных приемом в Кеми, переездом в парадном трюме, набитом людьми до отказа, подавленных обстановкой соловецкого дна. Вероятно перед каждым встал вопрос о собственной гибели. Передо мной, по крайней мере он встал во всей своей неизбежности: вынести зверские истязания, подобные кемским, я чувствовал себя не в состоянии. Сами чекисты не скрывали от нас нашего вероятного будущего — остаться здесь навек в болотных трясилах. Снова и снова вспомнил я тысячи возможностей скрыться от ГПУ, мною не использованных, но от этих воспоминаний еще тоскливее на душе.

Дневальный у двери прозевал неожиданное появление ротного командира и вместо команды «внимание», провизжал высоким фальцетом:

— Встать! Смирно!

Все вскочили и замерли. Ротный Чернявский (из заключенных), ни на кого не глядя, пробежал по проходу между нарами мимо нас, неподвижных и остановился у окна.

— Сейчас пойдете на общую поверку, — начал он глухим, надтреснутым голосом. — Помните: здесь Соловки и вы сюда приехали не на дачу. Стоять тихо и на перекличке отвечать по правилам. Когда придет дежурный стрелок, отвечать на приветствия дружно. Иначе придется вам кое с чем познакомиться. После поверки пойдете на ночную работу.

— Но мы и прошлую ночь не спали, — осмелился возразить инженер Зорин. Чернявский даже позеленел от злости. Остановившись на мгновение, пораженный дерзостью, он подступил к Зорину и зашипел:

— Не прикажите ли поставить вам здесь отдельную кроватку? Я из вас повыгоню сон, будьте уверены! Вы воображаете — пожаловали сюда на курорт? Жестоко ошибаетесь! Ваша жизнь кончена! Понимаете? Кончена!

Он уже бегал взад и вперед вдоль камеры со сжатыми кулаками и орал:

— Это вас в тюрьмах распустили. Возражать?! беспорядок?! Я из вас выбью тюремные замашки! Запомните раз навсегда: вы не имеете права разговаривать с надзором и охраной. Никаких вопросов. Никаких разговоров. Поняли? Запомните себе: вам нет возврата — вы на Соловках!

Чернявский выбежал.

Несколько минут спустя вошел один из его помощников, выстроил нас и вывел на поверку в самый собор.

В роте было около трех тысяч человек. Только нашим этапом прибыло полтораста. Вместе с нами прибыли имяславцы и «муссаватисты» из Баку. Те и другие отказались выходить на поверку. Их потащили силой. Муссаватисты отбивались.

— Оставьте нас, — кричали они, — это наш принцип. Мы не подчиняемся насилию.

Остальная масса заключенных молча смотрела на борьбу. Имяславцы не отбивались, но на перекличке молчали. В конце концов от них отступились, и началась поверка.

Два с лишним часа — построение, счет, перекличка.

Наконец, все готово. Вот и сигнальный гудок с электростанции. Входит дежурный красноармеец, принимает рапорт ротного, подходит к строю:

— Здравствуй, тринадцатая.

— Здра, — гудит в ответ.

Дежурный берет у ротного рапорт и уходит.

Мы уже не вернулись больше в камеру. Наш этап всю ночь работал по уборке Кремля: перетаскивали всякий железный хлам и бревна на другое место, мели и чистили мощенную камнем внутренность крепости. А на завтра и послезавтра опять перетаскивали бревна и всякий хлам на прежнее место. Это одна из самых возмутительных и раздражающих особенностей соловецкой каторжной системы: если нет настоящей работы, все равно, не оставлять руки праздными, занимать людей хоть водотолчением в ступе, — лишь бы не «баловать отдыхом».

Только к утру, всего за два, за три часа до утренней поверки, добрались мы к своим нарам. Я как повалился, так и заснул сном, более похожим на обморок.

* * *

Утренняя поверка заканчивалась разводом на работы. Заключенные разбивались на группы и под командой старшего, отправлялись работать. Некоторые получали одиночные задания. В таком случае им выдавался на руки особый документ — «сведение»: рабочий листок, служивший также и пропуском. Получить на руки «сведение» почиталось и действительно было большим соловецким счастьем. Но об этом после.

У северных кремлевских ворот наша группа остановилась. Непрерывный ток людей изливался из Кремля и несколько меньший шел обратно в Кремль. Наш конвоир предъявил стрелку привратнику документы и мы вышли всею командою «за Кремль».

Направо от нас расстилалось Святое озеро, налево шла улица построек. Проложенные по ней железнодорожные рельсы шли далее по пространству между Кремлем и Святым озером. Небольшой паровозик «кукушка», шипя и гремя, тащил несколько платформ лесного груза к закремлевской электрической станции или лесопилке. С улицы мы свернули к лесу за Святое озеро. По левую руку был луг, перерезанный дорогой. По ней шла группа женщин с граблями и лопатами на плечах. Удаляясь от Кремля к лесу, женщины запели:

Напрасно ты, казак, стремишься,
Напрасно мучаешь коня;
Тебе казачка изменила,
Она другому отдана.

Их звонкие голоса разносились по яркому лугу. Мне, измученному бессонными ночами и непосильным трудом, эта внезапная далекая песня казалась невероятною: не сплю-ли я на ходу? Не брежу-ли в кошмарном полусне?

Командированы мы были на торфоразработки. Труд нас ожидал непомерно тяжкий. Торфяная машина действовала непрерывно и мы вынуждены были, успевая за нею, работать и работать без конца. Только на время передвижки вагонеточных рельсов на новое поле сушки выпадал короткий вольный промежуток. Тогда мы бросались на землю и лежали, раскинув натруженные руки, без мыслей в голове смотрели в яркую синь ясного неба.

Вечером нас опять выгнали на «ударник по уборке Кремля», а днем опять на тяжелую работу на кирпичном заводе. Нам пришлось возить кирпич-сырец из сушилен в печь. Тяжелые тачки плохо слушались наших неумелых рук; то и дело срывались с доски и перевертывались. Петр Алексеевич Зорин свалился вместе с тачкою в канаву и лишился чувств. Его отправили в лазарет, а мы продолжали свою тягостную работу.

Только две ночи в неделю мы спали по шести часов и почитали это за счастье.

Здесь я впервые на собственной шкуре испытал и окончательно понял смысл слов «интернационала»: «кто был ничем, тот станет всем». Вот именно теперь это «бывшее ничем» стало хозяином здешней жизни и явило свой настоящий лик.

2. ПЕРВЫЕ ШАГИ

Вскоре по прибытии на Соловки нас перевели из камеры в Преображенском соборе в «пятый взвод». Он помещался в стариннейшей церкви Четырех Святителей Соловецких к югу от собора. В собор мы теперь ходили только на поверку и на развод.

Наше новое местожительство — двухсветная церковь. На уровне крыш, прилегавших к ней зданий, настлали в ней потолок и, таким образом, устроили второй этаж. В него-то нас и поместили. Вместо нар были поставлены топчаны. Со всех четырех стен смотрели на нас изображения (во весь рост) святых соловецких угодников: Зосимы, Савватия, Германа и Елеазара. Входить в наше необыкновенное помещение надо было подымаясь по лестнице, а потом через темный чердак. Выход же был как раз насупротив исторических могил: последнего кошевого атамана Запорожской Сечи Калнышевского, Авраамия Палицына и Кудеяра. ^[5]

На новом месте мы все воспрянули духом. Теперь мы спали почти каждую ночь и, значит, могли немного передохнуть от непосильного труда. А спустя некоторое время, большинству из нас, удалось обзавестись «сведением», то есть отдельным документом на работу в одиночном порядке, а это в соловецких условиях почти то же, что на воде беспаспортному получить паспорт. Я по «сведению» уходил в «сельхоз», то есть на сельскохозяйственную ферму, на сенокос, на огородные, полевые работы.

Утро. Поверка кончена. Развод.

Ротный писарь, держа в руках большую пачку «сведений», выкликает фамилии и раздает рабочие листки вызываемым из строя. Ротный Чернявский курит папиросу, исподлобья поглядывая на роту. В строю перешептывание, мало по малу переходящее в гудение.

— Разговоры! — рявкает Чернявский. — Стоять смирно! Гудение смолкает, как по мановению волшебного жезла.

Слышен только четкий голос писаря:

— Смородин.

— Семен Васильич, — отвечаю, выходя из строя за «сведением».

Вот она, в моих руках, магическая бумажка. Прохожу вдоль всего строя, мимо громадной толпы, ждущей отвода на принудительные работы под командой, — спешу догнать таких же, как я, счастливец-одиночек, идущих «за Кремль». Сзади голос писаря продолжает:

— Веткин.

— Константин Петрович, — отвечает приятный тенор.

— Матушкин.

— Петр Тарасыч, — звучит твердый и ясный баритон.

Это мои компаньоны по работе в «сельхозе» — оба правдиста, встреченные мною в Бутырках. Мы в новой камере облюбовали себе уголок, угнездились втроем. Останавливаясь, поджидаю их, прячась от глаз Чернявского, и — втроем — спускаемся на южную сторону собора. Огибая его фасад идем по вымощенному камнем двору мимо чахлого монастырского садика с черемухой и рябиной. Шаги наши отдаются где-то в глухих монастырских сводах. Тишина, нарушаемая только резкими криками соловецких чаек. Их воспрещено пугать под страхом сурового наказания, и они живут в Кремле все лето, как в былое время, при монахах.

Мы спешим поскорее выбраться из Кремля, — к Северным воротам. «Сведения» у каждого в правой руке, развернуты на должном месте. Вот и ворота. Встаем в непрерывно изливающуюся из Кремля струю людей, показываем пропуска. Из-под сумрачного свода ворот сразу попадаем на солнце. Глаз с удовольствием останавливается на блестящей глади Святого озера. Я залюбовался и даже приостановился, хотя это и запрещено. Продолжаем идти тихими шагами, не оглядываясь, — пользуемся возможностью говорить без опаски.

Впрочем, вот здесь можно остановиться на законном основании — у списка прибывших посылок. Прилежно вычитываем список, но не находим своих фамилий. Рядом со списком приклеена роковая «желтая бумажка»- оповещение о расстреле трех бандитов, бежавших было вглубь острова, и морского офицера Рисова.

— Мы все таки хоть надежду имеем получить посылку и письма, — говорю я — вот имяславцы, наши спутники, те уже ничего со стороны и ждать не могут, не имея имен.

— Это настоящие люди, — задумчиво сказал Матушкин, — знают на что и против кого идут. Открыто клеймят коммунистов антихристовыми рабами и Божьими врагами и — на смерть, так не смерть.

Нас догнал «дальневосточник» Кабукин — тоже из «сельхоза». Спрашиваю.

— Вас что-то не видно на сенокосе. В другом месте втыкаете ^[6]?

Кабукин самодовольно улыбнулся.

— Мне повезло. Блат заимел. Случайно старший бухгалтер УСЛОН'а оказался однополчанином. Устроил меня счетоводом в сельхоз. Обещают перевести из Кремля в сводную роту.

— Ого! Вот так повезло! Поздравляем. Не забудьте в счастье и о нас, скромных косарях соловецких лугов.

В полдень в сельхозе давалось полчаса на обед, а затем надо было «втыкать» до позднего вечера. Но обстановка здесь была совсем иная, чем на торфе или кирпичном заводе: не сравнить. Десятники только наблюдали за нами, но не орали.

Возвращались мы в свой пятый взвод, конечно, измученными. Противна была грязная, вонючая тринадцатая рота. Но все же, хоть свои топчаны вместо общих нар и угол, где можно поговорить вполголоса.

Спрашиваю Матушкина.

— Как сегодня работа пришлась — вдоль или поперек?

Он улыбается своей тихой, едва заметной улыбкой.

— Ничего. Каждый бы день такая. Веткин принес чайник кипятку. Принялись за чаепитие.

— Интересного человека встретил я сегодня, — рассказывает Матушкин, — не понять кто он такой: то ли чекист, то ли совсем напротив. Подходит это к нам какой-то незнакомый, рослый такой. Поздоровался — и в разговор. Расспрашивает кто, да откуда, да по какому делу. Потом махнул рукой. Здесь, говорит, все дела одинаковы. Вот только говорит — тяжело в этой комедии участвовать в качестве рабочего. Барина то, говорит, играть очень легко, а вот рабочего трудновато. Потом ни с того ни с сего начал рассказывать, что лагерные порядки эти скоро кончатся, что в правительстве ожидаются большие перемены. Якобы Рыкова по шапке вместе с целой компанией «творцов новой жизни». Якобы лагеря из ГПУ перейдут в народный комиссариат юстиции. И еще много сногшибательного рассказал этот дядя. Потом я узнал стороной, что фамилия его Кожевников. Он племянник Калинина и командовал одним из фронтов, да проштрафился. И, должно быть, здорово, потому что пришит крепко — десять лет имеет.

— Действительно крепко, — смеется Веткин, — то-то у него мозги стали проясняться. По человечески заговорил.

3. СОЛОВЕЦКИЕ БУДНИ

Карантинный срок истек и каждый стремился всеми способами перебраться на постоянную работу подальше от Чернявского и его тринадцатой роты. Собственно нас должны бы были перевести всех в двенадцатую рабочую роту, но там не было места и мы продолжали наше житье в сверхкомплектном «пятом взводе».

Здесь впервые нам пришлось столкнуться с главным неписанным соловецким законом — законом блата. Нигде нет такой поразительной разницы между человеком одиноким, предоставленным самому себе и всяким лагерным ветрам и бурям, и человеком, имеющим покровительство (блат) хотя бы у самого маленького начальства. Попавший на дно лагерной жизни буквально раздавливался человеконенавистнической системой. Всякий маленький начальник мог стереть его в порошок: только стоит ему сказать стрелкоохраннику пару слов — и любой из серой толпы мог быть убит, отправлен на Секирную или посажен «на жердочку». Но достаточно заручиться покровительством (блатом) даже у самого маленького начальника, как жизнь обладателя такого блата сразу менялась как по мановению волшебного жезла. Иметь блат у начальства — значит получить возможность благоденствовать даже и в лагере. Ни способности к работе, ни таланты, но блат двигал людей по лагерной иерархической лестнице. Но горе потерявшему блат. Он с самых

верхов летел на самое дно. Если же пользующийся высоким блатом знал еще кое-какие секреты лагерной верхушки, его ждал «тихий расстрел» где-нибудь на работе в лесу.

Слово «блат» в лагерях в большом ходу. Выражения «получить по благу», «устроиться по благу», и глагол «блатовать» (добывать блат) можно услышать всюду, начиная с лагерного олимпа. Мы пока блатом не обзавелись, а потому продолжали «втыкать» на общих работах.

Я, Матушкин и Веткин работали в сельхозе то на сенокосе в качестве косарей, то на огородах в качестве полольщиков, совместно с женщинами. Работа по сравнению с торфом и кирпичным была легкая. Роль десятника исполнял толстовец Александр Иванович Демин, впоследствии наш общий друг. Дело свое он, конечно, вел добросовестно, но ругаться не умел. Иногда женщины над ним подшучивали, особенно, если у почтенного толстовца начиналась дискуссия с одним из филонов ^[7].

— А ты пошли его, дядя Саша, подальше, — советует ему какая-нибудь хипесница ^[8], прибавив площадную брань.

Гнусная ругань в устах женщины нас новичков коробит. Александр Иванович, конечно, отмалчивается и все идет, как шло.

— Какая польза в ругани? — говорит он во время пятиминутной передышки (на его страх и риск) прямо на грядках. — Ругань ведь это просто исход накопившейся злобы. И, конечно, злоба может породить тоже злобу.

— А всетаки хорошо, когда эту злобу выплунешь навольный свет хорошей руганью, — смеется Найденов, — наш новый компаньон неопределенного положения.

Александр Иванович пожимает плечами.

— Есть любители. Вот даже и Лев Николаевич, в бытность свою где-то на юге, решил заменить ругательство бессмысленным и безобидным словом «едондер шиш». Так знаете, что из этого получилось? Какой-нибудь ругатель, излив потоки брани самой скверной, заканчивал ее вот этим самым «едондер шиш». А про Льва Николаевича в тех краях осталось воспоминание — вот, говорят, был ругатель... Так даже новые слова ругательные изобрел.

Возвращаясь вечером с Найденовым в Кремль, я спросил:

— Почему вы не выбираетесь из двенадцатой рабочей роты?

— Смысла пока не вижу. Там у меня блат есть небольшой — ротный писарь однополчанин.

Значит, офицер, — подумал я.

— Ну, и собственно, подальше от всякого начальства — оно и получше. Я вот записался плотником. Думаю это при моем здоровье будет комбинация не плохая. Десятники в «стройотделе» не такие уж сволочи, а начальство прорабы — тоже по преимуществу или инженеры, или офицеры.

Вечером в нашей закуте в пятом взводе Веткин о Найденове сказал:

— Парень надежный. Наши ребята его знают. Впоследствии еще не раз мне пришлось сталкиваться с Найденовым уже в роли плотника, а затем даже и бетонщика. Откуда офицеру знать эти ремесла? Но я думаю, таким людям, как Найденов, если понадобится изучить акушерское дело в ускоренном порядке — они будут не плохими акушерами.

— Это не то, что наш Шманевский, — сказал Матушкин, разумея своего одноэтапника.

— А что со Шманевским? — спросил я.

— Уже взводный командир. И такой сволочью оказался.

Однако, хотя Шманевский был вообще въедлив и придирчив, но к нам относился хорошо.

— Слушайте, Шманевский, — сказал я ему во время случайной встречи, — как бы нам подольше задержать у себя «сведения», не сдавать их тотчас по приходедневальному? Хотя бы получить возможность в ларек сходить.

— Ладно. Будете передавать прямо мне. А я там все устрою.

Это уже был еще один шаг к исходу со дна лагерной жизни. В первый же вечер мы пошли в кремлевский ларек самолично.

У входа в ларек священник-сторож. Здесь приходится смотреть зорко, ибо в публике воры высшей квалификации. Нигде не написано «держите карманы» однако, все их держат.

Источником средств для всякого заключенного является только или семья, или близкие и друзья на воле, присылающие деньги. Вырванные с корнем, то есть заключаемые всей семьей, лишены возможности получать помощь со стороны и, конечно, обречены на голодание и всякия лишения.

Вместо присылаемых заключенным по почте денег им выдаются на руки особые денежные квитанции. Владелец такой квитанции, пришедши в ларек, должен сначала обратиться к регистратору для пометки на квитанции каких-то товаров и на какую сумму желаете вы получить. Затем от регистратора нужно идти в счетное отделение. Там открывают счет владельца квитанции, записывают отпускаемые товары и тогда уже можно идти к приказчику, предъявить талон от счетоводной части и получить продукты и товары.

Это хождение за товарами вызывало неизбежные хвосты. Занимаем очередными.

За регистраторским столом женщина за тридцать, типа провинциальной учительницы, приветливая, ровная. Она относится к нам как к родным: сообщает что есть в ларьке нового из товаров, что практично и дешево купить из пищи. Я удивляюсь, как за целый день каторжного труда эта усталая женщина не теряла ни своего ровного настроения, ни своей милой доброты.

Становимся в очередь за товарами. Взгляд мой падает на надпись на мраморном камне в стене. Надпись длинная, содержит описание горя родителей по безвременно умершей дочери, похороненной тут с разрешения Святейшего Синода. И вот в этой часовне-усыпальнице теперь каторжный ларек. Насмешка судьбы над людьми, ищущими в земном вечное. Ловкие «старорежимные» приказчики быстро и без всякой грубости отпускают нам товар.

По дороге из ларька возле самой пекарни, помещающейся в южной части Преображенского собора мы встретили полковника-агронома Петрашко из сельхоза, принимавшего в нас большое участие.

— А я вас ищу, — обратился он ко мне. — Похлопотал относительно вашего перевода из карантинной роты в десятую роту. Будете жить с канцелярскими и иными специалистами среднего и малого калибра... Вот вам записка. Идите в старостат оформлять. А вас, — обратился он к Матушкину, — вытаскивает кто-то по линии старостата.

Петрашко вопросительно посмотрел на Матушкина, но тот только кивнул головой.

На другой день, измученные и усталые, возвращались мы обратно в вонючую и грязную тринадцатую роту. Я уже начал терять надежду на перевод со дна лагерной жизни в её средние этажи — десятую роту. Однако, после поверки нас с Матушкиным вызвали, приказали собрать вещи и отправили под конвоем одного из взводных в десятую роту. Вскоре Веткин устроился в столярную мастерскую сельхоза и перебрался на жительство «за Кремль», в сельхоз.

Жуткое лагерное дно позади. Я не только вздохнул с облегчением, но всем своим существом ощутил, из какого окаянного места удалось избавиться. А ведь жизнь в тринадцатой теперь, в наше время, была куда легче, чем прежде. Что же там творилось до 1928 года?

4. ДЕСЯТАЯ РОТА

В небольшой светлой келье нас помещалось пять человек: я, Матушкин, бывший вице-губернатор агроном Никитин, профессор Санин и инженер-архитектор Лев Васильевич Капустин. Наши компаньоны были старыми сидельцами и, будучи оттерты своими конкурентами — карьеристами с верхов лагерного аппарата, довольствовались пребыванием в десятой роте, вместо второй.

Здесь житье быто совсем не плохое. Поверки существовали номинально и продолжались не более пяти минут. Большинство живущих в роте предпочитали задержаться на работе и приходили в роту часам к десяти, а утром уходили до поверки.

Я с Матушкиным после тринадцатой роты благоденствовали. Мы могли теперь ходить по всему Кремлю, посещать театр, библиотеку.

В библиотеке работал мой однокамерник по Бутыркам комсомолец из Франции. Я поспешил воспользоваться первой представившейся возможностью и направился в Соловецкую библиотеку. Комсомолец мне очень обрадовался. Я с удовольствием смотрел на улыбающегося высокого шуплого парня, пожимая его руку. Сей франко-русский комсомолец — сын журналиста-эмигранта царского времени. Во Франции он вел пропаганду в войсках и на этом деле «засыпался». Ему оставалось только скрыться в гостеприимных пределах СССР. Говорил он без всякого акцента — очевидно, в семье говорили по-русски. На этапе на расспросы об эмиграции (белой) презрительно оттопыривал нижнюю губу и говорил, что он к ней касательства не имел. Так называемый «идейный коммунизм» еще не совсем смылся с его затрепанной по тюрьмам личности. После всяких «присяг» и общих работ комсомолец начинал приходиться в себя, с лица его исчезло выражение затравленного зайца. Я поздравил его с избавлением.

— Что помогло вам сюда устроиться? — спросил я.

— Знание иностранных языков. Здесь библиотека интернациональная.

Он начал знакомить меня с библиотекой. Сюда поступали все книги, отобранные у заключенных во время обыска и при освобождении из лагеря. Можно представить себе эту пестроту. Тут же при библиотеке — читальня, обильно снабженная советскими газетами и журналами. Здесь можно было встретить читателей в серых бушлатах, имеющих блат и, следовательно, возможность пользоваться читальней. Что касается «масс», то эти самые массы и понятия не имеют о существовании читальни.

В том же здании помещается соловецкий театр, обслуживаемый артистами (заключенными) с известными именами. Ставилась, конечно, агитационная макулатура. Но и эта макулатура исполнялась мастерски. Истинный талант мог цвести даже на таком плохом субстрате, как советская агитка. Впрочем как в библиотеку, так и в театр могли попадать единицы. Пролетариат хода сюда не имел. Его участь — гнить в рабочих ротах на общих работах, заполнять трупами болота на лесозаготовках и всяких фараоновых сооружениях. Чекисты всяких оттенков, небольшая часть специалистов, смогших выбраться с общих работ, отдельные, имеющие блат, удачники, надзор и охрана — вот кто заполнял театр, пользовался библиотекой, баней номер первый и другими лагерными благами. Коммунистический принцип — работа каждому по способности, а блага — каждому по потребности на этом участке коммунистического социального творчества, очевидно, был погран капиталистическими основами этой новой, построенной исключительно коммунистической элитой-чекистами — жизни.

* * *

Вечером часов в девять все обитатели нашей кельи в десятой роте были в полном сборе. Начинался общий разговор. Мы, новички, были интересны старым сидельцам, как некие вестники с воли, мы же стремились поскорей войти в курс лагерной жизни. Над нашими наивными вопросами старые соловчане только посмеивались.

— Мечты о свидании с близкими выкиньте из головы, — говорил Никитин, — нужно забраться на вершину административной лестницы и только тогда, при наличии к тому же блата, можно начать хлопотать о личном свидании с женой.

— Вы говорите «личном», а разве есть еще и не личное, — недоумеваю я.

Старые соловчане смеются.

Есть еще и не личное, — поясняет Никитин. — Это свидание «на общем основании». Ваша жена, конечно, после хлопот, трудно описуемых, допускается на Соловки и живет в «доме свиданий». Вам это свидание разрешается по часу или по два в день в присутствии надзирательницы. Заметьте: это только в том случае, если вы наверху административной лестницы.

— И нельзя исходатайствовать замену общего на личное? — спросил я.

— Отчего же, ходатайствовать можно, — говорит Капустин. — Знаете, как в поговорке:

Напишите заявление,
Приложите марки:
Это вам поможет,
Как мертвому припарки.

— Вот, знаете, Семен Васильевич, как улетят из Кремля чайки, да прилетит на их место из лесу на зимовку воронье, да замерзнет море и будет почта приходить раз в месяц — и писем не будете получать, не только думать о свидании, — закончил Капустин.

Почтенный Лев Васильевич сидел с 1924 года и имел поэтому полное право на авторитетность в вопросах лагерного быта. Но, увы, — порассказал он нам много неутешительного. Но так уж устроен человек: вера в лучшее его не покидает. Впрочем, и сам Лев Васильевич являл собою образец неунывающего и в огне не горящего русака. В 1933 году, после девяти лет каторжных работ, он еще продолжал, будучи освобожден из лагеря, зарабатывать себе свой хлеб в ссылке и даже ухитрялся помогать другим, несмотря на свои семьдесят семь лет.

— Советую вам, — сказал профессор Санин, — как можно скорей выбираться из Кремля. За Кремлем и жизнь совсем другая. Здешняя кремлевская жизнь удивительно однообразна и противна.

Профессор сам жил первоначально в буржуазной третьей роте, где жил самый блатной народ в лагере — чекисты высокой марки. Однако, оттуда профессора переправили непосредственно в четырнадцатую «запретную» роту. Профессор в присутствии сексота выразил неосторожно одобрение поступку бежавших из лагеря морских офицеров. Этого было совершенно достаточно, чтобы очутиться в четырнадцатой роте. Спасла профессора от погружения на дно его незаменимость в работе. Здесь он ведал погодой, то есть метеорологическими станциями. Его можно было видеть иногда — у математических приборов — где-нибудь при дороге, пускающим шары — зонды в нижние слои атмосферы. Вот поэтому профессор вскоре перебрался из запрета в скромную десятую роту. На Соловки профессор попал из-за своей неосторожности. В компании веселых молодых людей на вечеринке подписался на подписном листе пожертвований в пользу какой-то юношеской организации. Сборщиком оказался провокатор. Санин за поддержку контр революционной организации получил десять лет Соловков. Однако, несмотря на такое несчастье, профессор остался прежним. Удары судьбы не приучили профессора к осторожности. Вот теперь он, лежа на своей постели рассказывал нам новичкам соловецкую лагерную «древнюю историю» о расстрелах монахов, пожаре монастыря при чекистах и многих чекистских художествах. Один из хорошо знавших профессора студентов, так его охарактеризовал:

— Это — святая душа на костылях. Во время революции он скрывал белых от красных, при захвате власти белыми — наоборот — красных скрывал от белых. Разумеется ни о какой личной выгоде здесь нет и речи. А вот так человек устроен.

Матушкин интересовался по преимуществу лагерными административными порядками и чувствовалось: за его невинными вопросами сидела крепкая целеустремленность и настороженное внимание. Я лично сразу размяк в десятой роте — то ли от радости, что выполз со дна, то ли от воскресших надежд на избавление. Другое дело Матушкин. Он остался таким же. На ужас он смотрел без ужаса и не возмущался возмутительным. Теперь, наблюдая его, я чувствовал как в этом цельном человеке есть какой-то поддерживающий его стержень, дающий ему опору в трудностях жизни.

Пока мои компаньоны занялись разговорами о порядках в старостате и способах учета работы по Френкелю, я вышел в длинный коридор роты, намереваясь направиться к дневальному для сдачи сведения. Наша келья находилась как раз в конце коридора. Впрочем он здесь не кончался и был разгорожен дощатой стенкой от помещений, идущих далее. За этой перегородкою начиналось помещение для монахов — инструкторов. Им оставлено несколько келий и они живут здесь небольшой монашеской семьей, числясь служащими ГПУ. В их распоряжении была оставлена одна кладбищенская церковь. Только в 1931 году монахи инструкторы были вывезены на материк, и церковь на кладбище — последняя, оставшаяся неоскверненной, была закрыта.

За загородкой слышался громкий разговор. Кто-то недовольным голосом жаловался:

— Отец Никодим, а отец Никодим, Варсонофий у меня опять воду вылил. Да что же это такое?

Откуда-то послышался примиряющий голос и все замолкло. Все, даже этот разговор за перегородкой производит на меня, оглушенного карантином и дном, особое, радостное впечатление от ощущения суррогата свободы.

Я иду вдоль коридора и у самого столика дневального перед лестницей (кельи наши были во втором этаже) встретился с типичным украинцем. Я на него пылливо поглядел. Знакомое лицо... украинец всплеснул руками.

— Да вже-ж это ж вы, Семен Васильч?

Он тряс мне руку и поздравлял от всей души с удачей, с выигрышем жизни.

Я сразу вспомнил Ростовскую тюрьму и вот лицо этого украинца — Пинчука, смотревшего сквозь решетку окна во двор на наш отходящий этап. Он с особой грустью смотрел на меня. Мы шли с ним вместе этапом из самого Новороссийска. Он шел в Соловки, я в Казань на следствие. И вот в Ростове нас разделили: меня повезли дальше, а его оставили.

— Я тогда был уверен, — говорит Пинчук, — что вас расстреляют и мне было жаль вас бесконечно.

После первых взаимных вопросов, Пинчук пригласил меня в свою келью. Остаток вечера я провел в компании счетоводов Соловецкой железной дороги — публики по преимуществу не унывающей и уже знающей и лагерь и лагерные порядки.

— Все дело в сноровке, — говорит Пинчук на мои расспросы, — не нужно сразу напирать и выбираться из той закуты, куда тебя забросило. А так по трошку оно и лучше.

Это был один из ценных советов, хотя он мне, из-за некоторых свойств моего характера, почти и не пригодился. Но кто следовал ему — безусловно преуспевал. При всяких быстрых выдвиганиях можно было попасть на сквозняк и очутиться на дне, начиная всю волынку исхода со дна сначала.

* * *

Новая жизнь постепенно затянула раны, полученные на дне, все казавшееся раньше недостижимым, как вот, например, хождение даже за Кремлем без конвоя, стало привычным. Меня уже перестала трогать процедура ухода из роты и я принимал все эти блага и льготы как должное.

В одно летнее утро, идя по дороге в сельхоз, я столкнулся лицом к лицу с Сергеем Васильевичем Жуковым. Он нес в мешке за плечами какой-то груз.

— Вот, оказывается, где скрещиваются все жизненные дороги, — сказал я, пожимая руку Сергея Васильевича.

— Вы на общих работах? Давно ли здесь? — спрашивал он меня.

— Пока числюсь землемером, но работаю на общих работах, а живу в десятой. Утешаюсь тем, что бывает ведь положение и хуже.

Сергей Васильевич грустно кивнул головой. Мы медленно пошли по дороге в сельхоз, ведя тихий разговор. Жуков устроился почвоведом в Соловецком обществе краеведения, или сокращенно, в СОК'Е. Пока он занимался сбором образцов соловецких почв, носил их в СОК в котомке и кроме того помогал в заведывании Соловецким музеем заведующему СОК'ом Виноградову.

СОК — обычный коммунистический блефф, процветающий под эгидой вот этого самого ловкача Виноградова. В распоряжении СОК'а биологический кабинет, химическая лаборатория.

Профессура (по утилитарным отраслям знаний), попадая в СОК, здесь использовалась для всякого рода показных работ. Энтомолог старался открывать виды насекомых, неизвестных на Соловках «при проклятом царском режиме», ботаник от него не отставал в изыскании того же в растительном мире, историк корпел над громадным историческим материалом с целью составления отдельных монографий о заключенных в темницах соловецких при том же «проклятом царском режиме». Если чекисты начинали какое либо неизвестное им дело — СОК должен был для постановки и изучения этого дела выделить своего специалиста.

Обитатели СОК'а жили довольно сносно. Сергей Васильевич попал в СОК не сразу. Из Новороссийска мы вышли одним этапом. Из Бутырок Сергей Васильевич попал прямо на Соловки, а меня повезли в Казань. В анкете при приеме этапа Сергей Васильевич записался почвоведом и наборщиком — линотипистом. Специальность наборщика и привела его на остров, ибо здесь имелась типография, и- спасла от Парандова и Теплой Речки.

— В типографии меня недоверчиво приняли, — рассказывает Сергей Васильевич, — мои компаньоны, обзрев мою физиономию, очки и ультра фраеровский вид, решили, что я очковтиратель и только делаю вид, будто занимаюсь типографской работой. Я работаю, а они ходят около, поглядывают. Один посмотрит — «туфта» — говорит и другой тоже. Но, однако, я сейчас же доказал, что я не «туфта».

— Позвольте, что же это такое за «туфта»?

Сергей Васильевич смеется.

— «Зарядить туфту» это значит втереть очки, но не словом, а делом. Понимаете? Втереть очки словом, ведь это значит просто соврать. И это все же будет не туфта, а именно только вранье. А вот с самым серьезным видом работающего изо всей мочи что-то сделать, но сделать не по настоящему, а так только, чтобы оно держалось как-то — вот что значит «зарядить туфту».

— Это вроде социалистического строительства?

— Пожалуй, что и так.

— Ну, вот, — продолжал Сергей Васильевич, — попал я там в компанию художника-фальшивомонетчика, да двух комсомольцев-монархистов из Иркутска.

Я воззрился на Сергея Васильевича с недоверием. Тот продолжал:

— Мало вероятно — но факт! Настоящие, стопроцентные монархисты эти комсомольцы. По делу ихнему очень много раз стреляли молодежи. Остатки «недорезанные» разослали по разным гиблым местам в ссылку и на Соловецкую каторгу.

— Как они могли уцелеть? — удивляюсь я, — это же самое страшное преступление — из комсомола в христомол.

Сергей Васильевич улыбается.

— Крайности живут в русском человеке. Духовной пищи взыскует душа. А ведь из классовой борьбы этой «духовной пищи» не выжмешь. Вот и идут в христомол. Я думаю, если бы при этом строе была возможна свобода печати и свобода мнений, в комсомол отсеялась бы публика исключительно крепколобая и бездушная. Смотрю я на своих компаньонов из комсомола — талантливые парнишки. А ведь погибли тоже такие, а может быть и лучше. Разница между ними только в положении родителей. У этих отцы партийные тузы и, конечно, кое-как своих чад отстояли, а тех отстаивать было некому.

5. СЕЛЬХОЗ И СЕЛЬХОЗЦЫ

Соловецкий лагерь принял от монахов полнокровное приполярное сельское хозяйство: молочный рогатый скот, лошадей, птиц, сенокосы, огороды, теплицы, парники, процветавшее под управлением людей, накопивших за долгую монастырскую многовековую работу весьма солидный опыт в ведении этого специфического хозяйства. Как мог справиться с ним чекист даже при наличии у него кадров агрономов, не имевших опыта в ведении хозяйства на крайнем севере? Хозяйство было бы угроблено сразу, если бы попало в чекистские руки. УСЛОН решил иначе — принял на службу к себе десятка полтора монахов, ведавших и раньше в монастыре разными отраслями хозяйства. Инструкторы эти руководили работами и дали возможность лагерю освоить хозяйство. Затем монахов (в 1931 году) просто вывезли с острова и разрешили им убраться на все четыре стороны.

Из монастырского хозяйства образовались лагерные сельскохозяйственные фермы-сельхозы в Савватьевском скиту, на Анзере, на Муксольме и главный сельхоз при Кремле. Лавровский — бывший партиец, отбывший заключение (два года) на Соловках, ведал всеми сельхозами. Это уже был человек стоящий близко к коммунистической верхушке и

на заключенных смотрел как на «рабсилу». Я несколько раз пытался обращаться (не лично, конечно,) к Лавровскому с целью выбраться из Кремля в сельхоз, но Лавровский продолжал держать меня на общих работах. Конечно, это было не так и плохо: по документам я значился землемером и на этом основании жил в десятой роте. Лавровский же выжимал из меня соки за оказанный блат по переселению со dna.

Однако, скоро положение мое изменилось. На горизонте появился некий землемер Гришин — человек имеющий несомненный блат у начальства. Он сразу по прибытии на остров водворился в сельхозе, поселился в комнате с ветеринарным врачом Протопоповым и начал проектировать работы по осушке острова, начиная с обширного Куликова болота. С Гришиным мы, как землемеры, встретились дружески.

— Подождите немного, — сказал он мне, — вот организую мелиоративное бюро и тогда вас вытяну из Кремля. Сразу здесь ничего не делается. Нужен осторожный подход.

Встреча эта меня окрылила. Я уже мечтал о своем переходе в сводную закремлевскую роту и работе без конвоя. Однако, Матушкин меня опередил: через несколько дней после моего разговора с Гришиным, он уже был в сельхозе ни более ни менее как старшим десятником. С рабочими он дела не имел, ведая, главным образом, рабочей учетной «писаниной», предоставляя остальное младшим десятникам. Мне, конечно, сразу стало легче, ибо Матушкин сумел составить мне «синюю куру», и я заряжал туфту на новом месте. Впрочем вскоре Матушкин перешел на другую, менее ответственную должность.

Наш одноэтапник Кабукин уже успел пустить в сельхозе корни и изображал теперь при встречах с нами бывалого человека. Манера прихвастнуть у него имелась: занимая должность младшего счетовода, он, в разговоре с нами, именовал себя не иначе, как помбухом. Кабукин помещался вместе с четырьмя компаньонами в отдельной комнате и чувствовал себя совсем неплохо.

Однажды я зашел к нему в комнату. Был обеденный перерыв и все обитатели оказались в сборе. Трое из них: Кабукин, Веденяпин и Петров — офицеры — колчаковцы и четвертый кооператор Васильев. Встретили меня дружелюбно, Кабукин даже предложил чаю.

— Поступайте вот к нам счетоводом, — обратился ко мне Кабукин, — теперь большие требования на счетных работников. Вчера из-за недостатка их у нас взяли в управленческую бухгалтерию счетовода. Надолго вас мобилизовали, — обратился он к Петрову.

— Пожалуй завтра вернусь. У нашего главбуха кончается срок сидки и ему хочется поскорей закончить годовой баланс, чтобы не создать себе задержку.

— Как это годовой баланс? — недоумеваю я, — ведь он делается в январе.

Кооператор Васильев смеется.

— Теперь все наоборот. Хозяйственный год начинается с первого октября, а календарный с первого января. Очередная путаница.

— Интересные цифры получились за 1927 год, — продолжает Петров, — лесозаготовки по системе Френкеля дают чистой прибыли пять миллионов золотых рублей. В связи с этим идут разговоры о разворачивании лагерей.

— Они развертываются и без этих разговоров, самотеком, так сказать, — заметил я, — куда же деть бесконечные этапы заключенных?

Мы немножко увлеклись разговором. На нас заворчал Веденяпин, напомнив о наличии стен, иногда имеющих уши. Кабукин также заволновался и прямо мне сказал:

— Знаете, ведь по лагерным правилам посещение общежитий посторонними заключенными воспрещено. Как бы не нарваться на взводного. Идите вы лучше на двор.

Я поспешно закончил чаепитие и постарался поскорее уйти. На дворе у самых сельхозских ворот мне встретился Сергей Васильевич.

— Скоро, по-видимому, переберусь в сельхоз, — заметил я.

Сергей Васильевич молча пожал мою руку.

— Поздравляю в таком случае. Приходите сегодня ко мне в СОК. Белые ночи еще не кончились. Я остаюсь как раз теперь в музее один и мы можем его осмотреть. Не упускайте случая.

Я расспросил как пройти в музей и мы расстались.

6. СВЯТОЙ МУЗЕЙ

По темным переходам внутри толстой — от трех до четырех сажен — крепостной монастырской стены, мы долго пробирались куда-то наверх. Наконец, впереди забрезжил свет и вскоре мы вступили в большую продолговатую комнату, шириною во всю крепостную стену. Окна её выходили только в одну сторону — на монастырский двор. Тут и был Соловецкий музей, созданный руками заключенных — научных сотрудников.

В первой комнате не было ничего заслуживающего внимания: экспонаты, иллюстрирующие местную природу, изделия заключенных, работающих по соловецким производствам — все как полагается для маленького провинциального музея. Довольно быстро пройдя эту комнату, мы остановились перед стеклянными дверями направо. Сергей Васильевич снял фуражку и перекрестился:

— Вот здесь самое интересное.

Вошли в комнату, буквально заваленную предметами религиозного культа: крестами, иконами, изваяниями, цепями-веригами. Свет проникал из соседней комнаты направо и откуда-то с лестницы. В соседнюю комнату вела довольно широкая дверь.

— Это настоятельская церковь, — пояснил Сергей Васильевич, — а дверь — бывшие царские врата.

По обе стороны двери стояли массивные раки угодников соловецких, преподобных Зосимы и Савватия, они были покрыты толстым зеркальным стеклом. Внутри рак — по несколько горстей праха с белыми крупинками костей.

— Это и есть мощи преподобных угодников — спросил я.

— По-видимому, да, — сказал Жуков.

— А нет ли еще где-нибудь спрятанных святынь?

— Весьма возможно, что и есть. В монастырской стене и в громадах соборов — столько разных тайников. Вот в Преображенском соборе есть тайник для темничных сидельцев. Ведь Соловецкая монастырская крепость искони служила тюрьмой для важных преступников против веры и царя. Узников приводили в собор по тайным ходам, и они присутствовали при богослужении, будучи невидимыми для молящихся. На Пасху и другие великие праздники с установленными крестными ходами, духовенство обслуживало так же и тайники. Известно, что при этом в некоторых местах шествие, согласно принятым в монастыре издревле обычаям, приостанавливалось для молебствия. Возможно, что этими молитвенными остановками отмечались места скрытых святынь, а вместе с ними, вероятно, и ценностей. Лагерное начальство учредило особую комиссию для обнаружения этих тайников, но дело не так-то легко и просто. До сих пор не удалось открыть ни одного тайника.

— А может быть их и вовсе нет?

— Вряд ли. Слишком много преданий о них, слишком сложный лабиринт представляют собою монастырские ходы. Зачем-нибудь да строили же люди такую каменную путаницу в четыре сажени ширины.

Мы прошли в алтарь. Здесь были собраны древнейшие иконы. Слева от входа икона Богородицы с двумя Младенцами: в сердце и на руках ^[9]. К сердцу восходила таинственная лестница от спящего внизу, на земле с камнем под головою, патриарха Иакова. Икона окружена изображениями библейских эпизодов, живописно толкующих её символику, подбором событий из Ветхого и Нового Заветов. Справа, от входа — другая икона Богородицы, восседающей на троне, окруженном морем.

А вот еще и третья малая икона, — обратил мое внимание Сергей Васильевич на образ сравнительно нового письма. Здесь два благообразных мужа держали убрус с изображением Богородицы.

Один из этих старцев никто иной, как последний кошевой атаман Запорожской Сечи, Калнышевский. Он умер в Соловках ста восемнадцати лет. Когда ему исполнилось восемьдесят — император его помиловал и разрешил ему вернуться на родину. Но Калнышевский не пожелал расстаться с обителью и здесь скончал свои дни.

Все стены алтаря были завешаны иконами разных величин. На престоле были сложены складни с крестами. На жертвеннике громадные книги длиной около метра и немного меньше в ширину. Мы заглянули в некоторые. Четкие крупные буквы в них кажутся напечатанными, на самом же деле это писано от руки. С большим сожалением я оставил эти книги: в этих книжных записях вся подлинная история монастыря и монашеских подвигов за пять веков существования обители.

Направо от жертвенника в особом стеклянном ковчеге — белый череп преподобного Германа.

Мы вновь вернулись в первую комнату. В углу, справа от входа стоял большой белый крест, вышиною не менее сажени.

— Вот, — указал Семен Васильевич, — одна из замечательных святынь Анзерского скита. Это крест патриарха Никона, со ста пятнадцатью святынями. В числе их имеются даже частицы Креста Господня.

Действительно, весь крест испещрен врезанными в него частицами святынь, под прозрачным слюдяным покровом. При каждой частице надписание — какой святыне она принадлежит.

Среди изваяний замечательно распятие странного вида, — по необычности лика Распятого, с чертами совершенно монгольского типа. Истории этой загадочной скульптуры, как и других изваяний музея, Жуков, к сожалению, не знал. Может быть это работа неведомого скульптора-инородца, который изобразил Христа по собственному образу и подобию, подобно тому, как негры в Америке изображают Его чернокожим.

Груда старинных бил и клепал, предшествовавших в первобытной обители колоколам, валялись в одной куче с тяжелыми железными веригами, которые схимники носили под одеждою, истязуя свою плоть. А вот исторический камень: это его святитель Филипп митрополит клал под голову вместо подушки.

Мы поднялись по лестнице, откуда шел свет в первую комнату и очутились в небольшом покойчике с обширным столом, заваленным книгами и древними рукописями. Многие документы имели пятисотлетнюю давность. Тут были и княжеские грамоты и царские указы и ведомости о заключенных в монастырских тюрьмах. На каждого из них была грамота — предписание, как надлежит содержать узника. В одной такой бумаге мы прочли:

А питаться ему, Ивашке, хлебом слезным.

— Что это за слезный хлеб, — не понял я.

— Черствый, сухой. Они получали только черствый хлеб и воду. Только на Пасху и Рождество такие заключенные получали свежий хлеб и, по монастырским преданиям, радовались этому как дети.

Не осталось у нас времени читать и рассматривать древние документы. С большим сожалением покинул я Соловецкий музей.

Шагали мы по Кремлевской каменной мостовой, мимо древних часовен. И думал я:

— А ведь, собственно говоря, здесь каждый камень есть уже музейная ценность. Потому что пять веков обливался он слезами страждущих и обремененных, приносивших сюда свои горести.

— Здесь на монастырском кладбище, — заговорил Жуков, словно бы в ответ моим мыслям, — есть одно интересное надгробие на могиле скончавшегося в монастыре богомольца, приезжего откуда-то издалека. Надпись длинная, но заканчивается так:

Вы все стремитесь домой, занятые своими земными суетами, а вот я уже и дома...

Я понял Жукова, как он понял и меня. И оба мы замолчали.

VI. ВРЕДИТЕЛИ

1. ПОЯВЛЕНИЕ В СОЛОВКАХ

В довольно большой квадратной комнате одного из сельхозских барачков мы работали в сумрачный осенний день. В правом углу епископ Вениамин Вятский щелкал на счетах, сводя какие-то выкладки, изредка отрываясь от работы, разговаривал с нами.

Я, вдвоем с землемером Дмитриевым — сподвижником Бориса Савинкова, занимался геодезическими вычислениями. Агроном (полковник) Петрашко курил толстую махорочную папиросу и, посмеиваясь глазами, рассказывал то про свои последние тюремные скитания. Десятник Матушкин давно уже собирался уходить, но, остановившись у двери, продолжал беседу с толстовцем Александром Ивановичем Деминым. Демин повествует с эпическим спокойствием:

— Сижу я, знаете, девятый месяц в подвале и вдруг слышу — вызывают меня на свидание. Это в подвале — то! Иду и никак не могу сообразить — что сей сон значит. Относились ко мне скверно. В одиночке темной месяца два просидел. Чуть зрения не лишился. А тут, видите-ли, на свиданье.

— Кто же к вам приехал? — интересуется епископ.

— Жена. Плачет, знаете-ли. И говорит мало вразумительно. Насилу я понял в чем дело. Пропустили ее для подачи заявления о разрешении свидания к моему следователю. Входит она к нему и узнает в нем своего хорошего знакомого. Жена его её подруга задушевная. Тот удивился. Неужели, говорит, Демин ваш муж? Ах, говорит, вот если бы неделей раньше приехали — освободил бы я его совсем. А теперь придется ему идти на Соловки. Дело в Москву на утверждение услао и утверждено оно будет непременно. Так вот и пришлось мне ехать сюда на десять лет.

— Ну, а что бы сказал по этому поводу Лев Николаевич? — спросил Дмитриев.

Демин нахмурился.

— Что-ж... Он бы осудил, конечно, такой произвол, как и всякое зло.

Входная дверь заскрипела и вошедший столяр Веткин, обращаясь к Матушкину, сказал:

— Посмотрите-ка в окно, какими этапами начали слать нашего брата.

Мы бросились к окну. Большая толпа в виде ленты вилась между домами на пристани и Северными воротами Кремля.

— Около тысячи будет народу, — пояснил синеглазый Веткин. — Разгрузили «Глеба Бокия», «Неву», баржу «Клару». И все из Донбаса. Шахтинские вредители.

Так вот оно что. По газетам мы знали о громком процессе «вредителей» в угольной промышленности Донбаса, недавно закончившемся. Перед судом тогда прошло только шестьдесят обвиняемых. О них трубили по всему миру, рекламируя бдительность ГПУ и напряженность стройки «новой жизни». Однако, так называемому общественному вниманию был показан только совершенно ничтожный кусочек громадного внутреннего процесса. После суда над шахтинскими вредителями по директивным заданиям ГПУ начались «вредительские наборы». Эти ударные вредительские процессы начинались и кончались в подвалах и оставались совершенно неизвестными вне подвальных стен.

Только один этап на Соловки состоял из тысячи человек, по преимуществу инженеров и техников. Сколько же разослано в ссылку, в другие лагеря, сколько расстреляно.

— Почтенный народ, — сказал Петрашко, рассматривая эту людскую реку. — Однако, кажется, уже и до «попутчиков» добрались. Надо будет рассмотреть это поближе.

Петрашко распростился с нами и весело зашагал к Кремлю. Из окна я следил за его фигурой, пока он не завернул за угол лазарета. Он был мне глубоко симпатичен как человек и как друг в несчастье.хлопотам Петрашко я был обязан теперешним моим положением: меня сняли с общих работ и дали работу по специальности.

Вошел священник высокого роста в черной рясе. Облобызал благословляющую руку владыки и приветливо поздоровался с нами.

— Вы, батюшка, из Кремля? Что нового в ваших краях? — спросил Дмитриев.

— Ничего особенного, — ответил священник. — Слухи ходят, будто хотят нарядить нас священников в арестантскую одежду.

— Это у них не долго, — сказал я. — Только при их расчетливости, едва-ли они пойдут на непроизводительный расход пошить одежду.

— Что им бояться расходов? — возразил священник. — Теперь труд заключенных дает барыши.

— Надо признаться, у них нет ничего святого, — сказал владыка. — От них можно ожидать каких угодно мерзостей и злодеяний. Я до сих пор не могу забыть своей сидки в подвале. Дело мое вела чекистка. Вы не можете себе представить, как она надо мною издевалась. её разговор был потоком грязных ругательств, до того гнусных, до того низких, будто изрыгало их какое-нибудь отвратительное животное. Ну, что бы вы могли сказать женщине, разражающейся перед вами площадной бранью. У ГПУ есть черта — унижить, обесчестить, залить грязью все святое. Уж будьте уверены: если они захотят, то не пожалеют средств на арестантское платье для нас, духовных.

* * *

По истечении нормального карантинного срока, то есть через две недели, в нашей десятой роте появились инженеры-шахтинцы. Их невозможно было поместить в кельях и длинные ротные коридоры оказались заселенными сплошь вновь прибывшими, из числа имеющих блат, крупными специалистами. Инженеры соловецкого лагерного аппарата хотели помочь своим братьям и стремились их устроить хотя бы на какую-нибудь не физическую работу. Однако, чекисты, пошедшие сначала на исполнение такого способа использования специалистов, категорически воспротивились этому и распорядились держать шахтинцев на общих работах не две недели, а четыре месяца. Впрочем переселившиеся в десятую роту инженеры хотя и ходили на общие работы, но жить остались в том же коридоре.

Наша десятая рота стала походить на огромный вагон, забитый публикой до отказа. Первые моменты суеты и бестолковой толкотни прошли, поезд идет, пассажиры все как-то устроились, и вот — начинается дорожная жизнь.

Как и всегда, в таких случаях, публика располагается группами. Мы, старые соловчане, с любопытством рассматривали вновь прибывших, — вели с разными группами беседы.

Для всех этих сотен инженеров характерно одно: они совершенно ошеломлены случившимся и, говоря о своем деле, обычно недоуменно пожимают плечами:

— Дела нет в сущности никакого. Для какой именно цели понадобилась эта, отнюдь не веселая комедия неизвестно, — говорили обычно они.

О размерах шахтинского дела они имели только приблизительное представление. По их сведениям арестованы были десятки тысяч. Угольная промышленность совершенно опустошена. Вместо «вредителей» на производстве стали молодые инженеры коммунистической школы. «Вредители», конечно, хорошо знали и молодых инженеров и их пригодность к работе и ничуть не сомневались в глубоком и скором развале угольной промышленности в Донбасе.

— Все дело не в том, что нас снимали с работы, — говорит уже пожилой инженер, — но шпиономания за вредительством затопила весь аппарат промышленности и сделала невозможной работу технического надзора. Никто не захочет брать на себя ответственности даже за пустяк, чтобы не стать вредителем, предпочитая предоставить все самотеку. А ведь не управляемая работа сама себя будет губить, вот что.

Разсказывая о предъявленных обвинениях во вредительстве, инженер заметил:

— Каждый советский инженер и любой специалист может быть обвинен во вредительстве. И от этого обвинения ему не оправдаться. Судите сами: всей индустрией и вообще экономической жизнью руководит коммунистическая партия. Это она дает директивы, энергично вмешивается в работу. Директивы, конечно, даются для неукоснительного исполнения без всяких рассуждений. Работа всякого низового аппарата, будь то учреждение, фабрика, завод, регулируются только этими партийными директивами. Всякое отклонение от них есть вредительство. Но все дело в том, что директивы партии по-своему существу все являются более или менее вредительскими, ибо даются они не специалистами, а «творцами новой жизни», не желающими знать, что машины имеют определенную производительность и наилучше работают при определенном нормальном режиме их использования. Так вот, все эти дополнительные нагрузки портят машины, расстраивают производство. Не выполнил директивы — вредитель, выполнил точно — тоже, ибо, если машина от варварского использования пришла в негодность — виноват, конечно, инженер. Да, мы вредители, это верно, поскольку являемся соучастниками в работе общегосударственной, несомненно вредительской, системы.

Инженеры, конечно, были правы. Вся история постепенного разрушения угольной промышленности являла собою яркую иллюстрацию вредительской деятельности строителей социализма. Героические потуги их на фронте угольной промышленности, в конце концов закончились «стахановской катастрофой». Если бы не реки людей, бегущих от колхозного и неколхозного голода, соглашающихся работать в шахтах при каких угодно условиях, угольная промышленность должна бы была просто перестать давать продукцию, могущую удовлетворить на половину худосочную советскую индустрию.

2. НЕСЛОМЛЕННЫЕ

Давно уже кончились белые ночи и на соловецком небе заблистали северные сияния. В эти ясные ночи мороз сковал зеркала многочисленных озер и по их хрустальной, темноватой поверхности ветер гнал опавшие листья и гудел в сумрачных лесах. Солнце стало редким гостем — начались пасмурные, тоскливые дни.

Я, с котомкой за плечами и с пропуском в кармане, шагаю один, без конвоя, по дороге, ведущей на север к Варваринской часовне, стоящей как раз на берегу Глубокой губы внутреннего Соловецкого моря. Там, где дорога, идущая от сельхоза и Кремля исчезает в лесу, у лесистого пригорка, стоит новый домик с мезонином в шведском стиле. Рядом, ближе к дороге, небольшая теплица и далее сарай. Около построек — огород, площадью около двух гектаров. На дальнем углу огорода — будка и столб с метеорологическими приборами. Над полевыми воротами, ведущими в огород, большая доска с надписью: «Соловецкая сортоиспытательная станция».

Я останавливаюсь у ворот в нерешительности. До Варваринской часовни мне нужно пройти еще шесть километров по лесу и успеть вернуться до поверки. На станции работают Петрашко и толстовец Александр Иванович Демин. Мне хочется зайти, но я опасаясь истратить много времени и уже совсем собрался отправляться дальше, как из-за теплицы вышел молодой, прилично одетый, научный сотрудник СОК'а оккультист Чеховской, попавший на Соловки за свой оккультизм. За ним шел задумавшийся профессор Санин. Оба приветливо со мною поздоровались.

— Заходите к нам. У нас обеденный перерыв, — приглашает Санин.

— Но вы, однако, идете на работу, — заметил я.

— Пустяки. Нам придется пустить только несколько шаров — зондов.

Метеорологи начали заниматься своими приборами, я прошел в домик.

Петрашко и Демин сидели за столом в небольшой комнате.

— Ага, вот и свежий соловчанин пришел. Выгружайте-ка ваши новости, — весело говорит Петрашко, подвигая мне стул.

— Свежесть моя сомнительна, — возражаю я, — скоро два года, как я свел знакомство с подвалами ГПУ.

Ну, все же это не шесть лет прежнего режима — сказал Петрашко. — Мы хватили, как говорится, горячего до слез. Теперь изменилось все — и узнать ничего нельзя. Вот не угодно-ли: путешествуете теперь без конвоя. А ведь до Френкеля об этом и думать было нечего.

Петрашко на минуту задумался и затем продолжал, обращаясь к Александру Ивановичу:

— Вот мы с вами рассуждали об эволюции большевиков. На лицо как будто все признаки. В прежнее время — в двадцать пятом, шестом годах, порядок лагерный был, конечно, не тот, что теперь. Все ходили на работу командами и обязательно под конвоем. Даже в уборную. А сколько бывало случаев убийств заключенных охраною. Убивали так просто,

как собаку или кошку паршивую. А теперь, как видите, под конвоем водят мало. Как будто эволюция на лицо.

— Как же можно в этом сомневаться? — сказал Александр Иванович.

— Всякое зло в конце концов губит себя само.

— Да, вот именно — «в конце концов». А этого «конца концов» придется ожидать неопределенное время. Я вам скажу: эволюции тут нет ни на копейку. Здесь просто напросто изменен только способ истребления заключенных. Способ эксплуатации арестантского труда, как известно, предложил Френкель, московские заправилы — Глеб Бокий, Берман и еще прочая заплечная братия, проект одобрили и теперь Френкель творец новой жизни. Вот мы с вами ходим без конвоя. Но здесь в лагере по-прежнему все происходит феерично и неожиданно. Сегодня же может прийти стрелок и свести вас в двенадцатую или тринадцатую роту — на дно лагерной жизни. Стрелка ведь не спросишь — зачем, да почему? И знать не будешь за что погибнешь.

— Что ж им дает новый способ эксплуатации труда? — спросил я.

— Деньги, дешевый лес, например. Заграничные акулы с удовольствием покупают этот поистине кровавый, но зато дешевый лес. Лесные операции ГПУ очень понравились. В этом году проектируется открыть двадцать восемь новых лагерей с использованием труда по способу Френкеля. Видите, как начали в лагеря подбрасывать народ: Одних шахтинцев целую тысячу ахнули зараз. И ведь это все инженеры, да техники по преимуществу. ГПУ развертывает свои предприятия и ему нужны технические силы. А там, на их место, они своих советских инженеров поставят. Что и говорить — все изменяется. Даже вот красноармейская часть, нас охраняющая, уезжает отсюда на материк. Охрана будет сформирована из заключенных. Конечно, она вербует по преимуществу из чекистов и служащих милиции. Нам то ведь все равно: хрен редьки не слаще. Мне кажется, в общем, изменение порядков наше положение не улучшает, а ухудшает. Много людей будет гибнуть от непосильного труда, добывая Френкелю барыши. Знаете, лесорубы при пилке баланов иногда приговаривают в такт хода пилы — тебе и мне и Френкелю.

— Пусть все идет как идет, — сказал Александр Иванович. — Трудно во всем происходящем сейчас разобраться. Что именно руководит властью? Меня, например, до крайности удивил арест и заключение в Соловки московских спиритуалистов. Наш Чеховской сидит за спиритуализм. Спиритуалистов обвинили в странном преступлении, якобы они оказывали влияние на представителей центральной власти спиритуалистическими средствами. В устах людей, исповедующих диалектический материализм, это звучит совсем нелепо.

Метеорологи вернулись.

— Ну, как, пустили свои пузыри? — шутит Петрашко.

— Пустили, — улыбается Чеховской.

Я заторопился. В разговорах незаметно прошел целый час.

— Кланяйтесь варваринцам, — сказал Петрашко на прощанье.

Опять я иду по лесной дороге мимо замерзших зеркал озер. Навстречу мне попадает команда рабочих под конвоем. Я ухожу с дороги и жду пока команда не пройдет. Усталые и изможденные люди шагают как автоматы. Вероятно, они работали на землянных работах по проведению железной дороги на новые Филимоновские торфоразработки.

Грубый конвоир окидывает меня презрительным взглядом и я чувствую, как у меня заныло сердце и побелели губы. Команда прошла, я поникнув головой, иду дальше с тоскою на сердце. Откуда эта тоска безысходная, откуда эта тяжесть на сердце? Я старался убедить себя в отсутствии всякой опасности. Да разве дело в опасности для моей только жизни? Мне, измотанному по тюрьмам и этапам, после подвальных ужасов смерть стала ничуть не страшной. Но этот ужас перед слепой силой, эта тоска, заливали душу помимо моей воли.

Дорога делает излучину и я вижу сквозь группу деревьев у камней кусочки моря. Вот оно плещется у прибрежных камней холодное и неприветливое. Я останавливаюсь на берегу, всматриваюсь в туманную даль и безнадежная тоска еще сильнее сжимает сердце.

Еще несколько поворотов дороги и из-за гущи елей выглянула Варваринская часовня. Дорога пролегает у самой часовни. С другой стороны дороги песчаный берег и деревянная пристань для лодок.

Через небольшие сени прохожу внутрь часовни. Обширная часовня с большими иконами на стенах и средних колоннах, занята под жилье работниками Соловецкого лесничества. Я знал только некоторых из них и теперь знакомлюсь с остальными. За небольшим столом три землемера заняты изготовлением планов, каких-то диаграмм и чертежей. Соловецкий лесничий — старый князь Чегодаев что-то вычисляет, поместившись за своим маленьким столиком вместе со своим помощником. В сторонке у плиты стоит высокий белорус и варит обед. Плиты почти не видно за средней колонной. На широкой колонне большая икона великомученицы Варвары, около стоит кровать и на ней сидит высокий, плотный, еще не старый, ширококостный человек, с длинными, как у священника, волосами, окладистой русой бородой и такими же усами. Одет он в полушубок, — по-видимому, только что пришел. Его спокойное лицо совсем не носило печати угнетения, — общей печати нашей соловецкой жизни, а его медленные, уверенные движения дополняли впечатление какой-то, живущей в нем, скрытой силы.

Это был лесник Соловецкого лесничества, архиепископ Илларион Троицкий. Он внимательно на меня посмотрел и приветливо поздоровался. Помощник лесничего Николай Иванович Борецкий дал мне деловые справки, за которыми я был прислан, и через полчаса я, закончив свою миссию, уже собрался в неблизкий обратный путь.

— Да куда вы торопитесь? — сказал князь Чегодаев. — У нас обед готов, пообедайте с нами.

За обедом разговор перешел на изменение лагерной политики. Борецкий приветствовал это изменение с большим удовлетворением.

Еще два года назад людей губили как мух. Никто не знал — будет ли он завтра жив. Да, что говорить. Припомните кронштадтцев. Их пригнали в Пертоминский лагерь семь тысяч. А теперь осталось их девять душ. Где эти семь тысяч? Всех угробили.

— Правились мне, — сказал владыка, — грузины-меньшевики. Они ни за что не хотели смириться и добились своего: их вывезли с острова и заключили в изолятор, заменили лагерный режим легким тюремным. Помните их песенку:

Вперед на баррикады,
Чекистам нет пощады!..
Это не кронштадтцы,
Дружный был народ.

— Попали бы они к Селецкому на лесные работы, — возразил Борецкий, — угробил бы он и меньшевиков-грузин. Вы не поверите, — обратился он ко мне, — люди гибли даже не от работы, а просто от холода. Загонят их в лес, да суток пять и не пускают в барак. Пищу привозят, охрану меняют, а заключенные безотдышно на морозе — терпи, либо мри. Урока для работы тогда не было никакого, а просто истребляли людей — так выводили в расход за ненадобностью. Теперь уже не то: появляется некоторое подобие порядка.

— Не было у них порядка и не будет, — решительно опроверг владыка, — все у них основано на очковтирательстве, на туфте. Не из жалости они перестают свои зверства делать.

3. ВЛАДЫКА ИЛЛАРИОН

Замело снежными сугробами корявые болота, замерзшие озера и мрачные соловецкие леса. Заковало льдами и море у берегов. Дальше от берега море не замерзает совсем, там вечно идет «сало» и всю зиму ледоход. Команда из отважных рыбаков-заключенных раз в месяц пробирается через это месиво в Кемь и обратно — привозят на Соловки и отвозят почту. Раз в месяц приходят письма. Идут они в цензуру на просмотр и распечатанными вручаются адресату.

Однажды в середине ноября меня вызвали через ротного в учетно-распределительную часть — УРЧ. Мало понятно — почему именно начальник УРЧ'а Малянтович хочет видеть мою физиономию. Впрочем, мое недоумение вскоре разъяснилось: я считался еще «свежим соловчанином» и мне предстояла первая работа вдали от Кремля. Вероятно, нужно было Малянтовичу убедиться при обозрении моей личности могу ли я — «Сморозин, он же Дубинкин» быть командированным без конвоя.

Я шел встревоженный вызовом и уже мне рисовалось, как меня «вынимут» из десятой роты и водворят на дно в двенадцатую. Однако, страхи мои оказались напрасными. Зав УРЧ'а Малянтович только вскользь посмотрел на меня и небрежно обронил:

— Командировать из Кремля на Филимоновские торфоразработки для изысканий, без конвоя.

У меня сразу отлегло от сердца. Без конвоя! Эго вглубь острова! Я готов был подпрыгнуть от восторга.

Пока мне готовили документ, я разговаривал в сторонке с топографом Ризабелли, пришедшим сюда с деловым поручением из лесничества.

— Предполагаются со стороны лагерной администрации репрессии по отношению аристократов и активных контр революционеров.

— Откуда подуло этим ветром? — спросил я. Ризабелли пожал плечами.

— Тут такое место: откуда не подует, всегда для нас сквозняк. Впрочем, и так слава Богу — живы остаемся.

Я получил документ и, идя с Ризабелли, узнал от него некоторые подробности относительно ожидаемых репрессий. Это близко меня касалось, ибо у меня была статья пятьдесят восемь два, трактующая, как раз об этой самой активной контр революции.

Ященко, один из помощников начальника лагеря, заместивший палача Вейса, поднял вопрос о неправильном с марксистской точки зрения применении репрессий к некоторым группам заключенных. В лагере собственно было две главных группы — контр революционеры (каэры) — народ в те времена исключительно культурный, а потому и занимавший в лагерном аппарате привилегированное положение, занимаясь трудом по преимуществу умственным, — и уголовники, народ некультурный, занятый исключительно физическим трудом. По Марксу уголовники эти, как по преимуществу пролетариат, являлись элементом «социально близким» коммунистам и именно они должны были занимать в лагерном аппарате места каэров.

Все это было, конечно, не верно, ибо очень много культурных людей были на физической работе, неграмотный же человек в труде не физическом заменить грамотного никак не мог. Однако, вопль Ященко в какой-то мере соответствовал способам освещения событий по Марксу и, поднятый вопрос был поставлен «на повестку дня». Как-всегда в таких случаях бывает, началась склочная компания на верхах, с кого-то в этой чекистской грызне полетела шерсть, кто-то кого-то съел, но для лагеря от склочной кампании осталось маленькое наследство: Москва потребовала восстановить попорченный марксистский принцип — изъять грамотных людей из лагерного аппарата, бросить их на физические работы, на место же их водворить неграмотный и полуграмотный уголовный пролетариат.

Такая марксистская кампания поднималась и до этого и после этого не раз и неизменно заканчивалась позорным фиаско марксистов: неграмотные и малограмотные таковыми же оставались, управленческое дело запутывалось и лагерным заправилам оставалось только одно: без особого шума и огласки водворять изъятых грамотных людей и специалистов на их прежние места, а выдвиженцев двигать в рабочие роты.

Опять я шагаю по той же дороге, идущей мимо Варваринской часовни на Филимоновский скит — новые торфоразработки. Идти еще двенадцать километров в «глубокую провинцию». За плечами у меня мешок, а в кармане пропуск. Вещи я пока оставил у своего друга правдиста Матушкина. Мне поручено в течение месяца произвести съемки Филимоновского болота и определить запас торфа.

Дорога то вьется по снежным полям, то исчезает в засыпанном снегом лесу. Порою встречаются мосты, перекинутые через быстрые, незамерзающие ручьи. Наконец, около самого Филимоновского болота дорога подходит к часовне, обращенной теперь в кухню и идет далее к постройкам Филимоновского скита, густо заселенных заключенными.

Вхожу в главный дом и направляюсь к дежурному стрелку. Он лениво смотрит на мой документ и, сделав на нем отметку о прибытии, возвращает его обратно. Поднимаюсь на второй этаж. Зав командировкой грузин Чубинидзе встретил меня приветливо, устроил жить в комнате десятников, хотя я и не состоял десятником.

— Завтра получите рабочих и можете приступать к работе.

Я обрадовался теплой комнате и с удовольствием растянулся на сеннике. Мне казалось — я прибыл совсем в иной, не лагерный мир.

Даже вот это право растянуться на постели в теплой комнате показалось чуть не сказкой. К вечеру пришли десятники усталые, промерзшие. Я пил с ними чай, с трудом боролся со сном и не помню, как комнатное тепло и истома во всем теле убаюкали меня на ночь.

* * *

Мне как-то даже неловко идти на работу в качестве старшего над такими же, как и я, каторжанами. Я отлично помню тринадцатую роту. Там самый маленький из старших мог стереть нас в порошок. Теперь на место этого некоего, могущего стирать в порошок, стал я сам.

Мои рабочие — все, как один, воры — рецидивисты — против ожидания работали дружно и хотя я был стопроцентный фраер — даже не подумали меня надуть. Ларчик шпанского послушания, впрочем, открывался весьма просто: они сидели недавно «на жердочке» и теперь, вырвавшись оттуда, были рады работе на свободе. Нужно заметить — «жердочка» один из невинных на вид, но на самом деле — жестокий способ наказания. До совершенства он доведен на Секирной. Но об этом потом. Каждый сидящий «на жердочке», во первых, работал до изнеможения, во вторых, придя с работы, усаживался на скамью в форме египетской мумии и должен был сидеть совершенно неподвижно под наблюдением специального (на всю группу) охранника. Малейшее движение, поворот головы, даже шевеление пальцем — влечет за собою еще большие репрессии. Сидящий «на жердочке» от этой неподвижности доходит до состояния полного отчаяния. Бывает — у изведавших уже многое заключенных, катятся по лицу бессильные слезы.

К вечеру мы все промерзли. Я с удовольствием думал о теплой комнате и постели. Как раз поднялась метель, и я имел основание прекратить работу раньше времени.

Подняв воротники своих бушлатов (полупальто) и наклонив головы вперед, мы пробирались к нашему бараку сквозь вьюгу. Уже у самого барака вижу знакомую плотную фигуру в шапке и романовском полушубке — владыка Илларион.

— Куда это вы в такую погоду, владыка?

— Сюда, домой. Я живу в том же бараке, что и вы, внизу, в «околодке» у фельдшера. Заходите как-нибудь вечерком. Вы, кажется, французским языком занимаетесь? Кое чем могу быть вам полезен.

Я поблагодарил приветливого владыку и вечером уже был у него.

* * *

«Околодок» (амбулатория) помещался в довольно просторной комнате. У двери — дощатая стойка — отгородка для ожидающих больных. За стойкой, в противоположном углу, устроил себе, заставясь полками и шкапами с медикаментами, конурку фельдшер (или по-советски — лекпом). Постель владыки, покрытая стареньким, стеганным на вате одеялом, помещалась на левой стороне комнаты, у самой стойки. В изголовье небольшой столик, заваленный книгами, и, к нему, некрашенный табурет.

Владыка, усадив меня на табуретке, начал расспрашивать о моем прошлом, о моем деле, вообще о жизни на свободе.

— Что ж, — сказал я, — для нас жизнь на свободе была вроде сидения между двух стульев. Правда, там мы жили не под охраною, зато нам всегда грозили Соловки. А теперь, как Соловки мы себе достали, то худшего уже нечего ждать, кроме смерти. А смерти — на свободе-ли, в Соловках ли, все равно не избежишь.

Владыка улыбнулся, достал книгу на французском языке и дал мне:

— Читайте.

Книга была духовного содержания. Меня удивил автор её.

— Член Общества Иисуса. Что это за Общество?

Владыка улыбается.

— Не догадываетесь? Иезуиты — вот вам и Общество Иисуса.

Владыка занимался со мною весь вечер.

Потом я часто заходил к нему. Однажды во время нашей беседы в комнату вошел стрелко-охранник. Полагалось подать команду — «встать, смирно» и стоять неподвижно. Однако, ничего подобного не произошло. Стрелок дружелюбно подошел к нам.

— Где вы, владыка, ловили рыбу? Наши вчера ловили и ничего не поймали.

— Нужно знать места. Это даже и рассказать трудно. Вместе надо как-нибудь сходить.

Стрелок еще некоторое время разговаривал с владыкой. Я же не мог придти в себя от изумления. Как только закрылась дверь за стрелком — я к владыке:

— В первый раз вижу такого стрелка. Он даже владыкой вас называет.

— Меня все и всегда здесь так называют.

Как-то раз я пришел в околодок в отсутствие владыки и стал рассматривать книги, лежавшие на столе. Все — издания союза безбожников, ученые сочинения по биологии. Морозовское «Откровение в грозе и буре». Тут же довольно объемистый том — диссертация Иллариона Троицкого «Дары Святого Духа». Я успел прочитать первые страницы. От них веяло особым, всегда ему присущим обаянием.

— Вы удивляетесь, найдя у меня книги безбожников? — говорил с улыбкою владыка. — Нужно знать оружие своих врагов. Они, наши враги, тем ведь именно и величаются, что их творения не встречают, якобы, научной критики. А между тем, все их творения на один образец. Посмотрите на Морозова. Двадцать пять лет сидел в Шлиссельбурге. Кажется имел человек время на изучение религиозных вопросов, раз, в самом деле интересуется ими. А, между тем, с какою легкою отвагою он за это дело принялся.

Владыка раскрыл книгу Морозова и с горечью прочитал мне несколько выдержек, сопровождая их такими уничтожающими репликами, что мне стало стыдно за себя: как это я, читая подобные «заумные книги», принимал в них все за чистую монету? [1101](#)

Я с радостью созерцал спокойную, величавую фигуру иерарха, уважаемого даже врагами. Уже шестой год шел, как владыка Илларион был лишен свободы и брошен в одну общую кучу с подонками общества. И все-же он по-прежнему — стойкий борец за веру: никакие лишения не могли его поколебать. Враги и гонители Христовой веры — его враги. Без компромиссов и уступок. Удивительной бодростью веяло от него, и в душе, после бесед с ним, водворялись мир и тишина.

4. ВРЕДИТЕЛЬ ВОЛОШАНОВСКИЙ

Тысячный этап шахтинцев продержали на общих работах вместо четырех месяцев, как первоначально намеревались, два месяца. После этого срока «вредители» начали появляться за Кремлем и постепенно устраивались на постоянные работы.

Организованное при сельхозе мелиоративное бюро вначале зимы оказалось без возглавителя. Создатель его — землемер Гришин — получил по весьма солидному благу теплое место и исчез с соловецкого горизонта. Его место занял некий межевой инженер, отправленный за пьянство на лесозаготовки к Селецкому. В конце концов, в мельбюро попали на работу несколько шахтинцев и возглавил его горный инженер Волошановский — среднего роста плотный человек с большим носом. Он после тюремных мытарств ретиво принялся за работу. Мы, землемеры, должны были ехать зимою на Исаковский скит и зимою произвести на обширной системе озер геодезические работы.

Мне пришлось, между прочим, работать на Савватьевском озере под знаменитой Секирной горой. На горе этой, в большом соборе, помещался страшный Секирный изолятор. Там же у этого изолятора производилась большая часть расстрелов заключенных по приговорам ИСО. Здесь, в лагере в уменьшенном виде воспроизводилась жизнь на воле. В лагере было свое ГПУ — это ИСО, своя Лубянка — это Секирный изолятор. Попавший в Соловки мог получить за преступления в лагере новое «дело», получить по этому делу новый срок или расстрел на Секирной горе. Мы, иронизируя по этому поводу, делили СССР на «большие Соловки» и «Соловки» малые — наше теперешнее местопребывание.

Зима стояла снежная и холодная. Мы помещались в дощатом сарае, наскоро приспособленном для жилья. В нашей небольшой комнате с одним окном и плитой, едва помещалось шесть топчанов.

Волошановский, два московских инженера, я и землемер Жемчужин жили в этой холодной комнате, а рабочие помещались внизу в сарае. Часть рабочих высылал нам ежедневно Секирный изолятор.

Наша работа и наше положение считалось одними из самых бластных. Во-первых, нас командировали прямо из Кремля в Исаковский скит без конвоя, во-вторых, поместили на жительство не в роту или с лесорубами палача Селецкого, а отдельно. В нашем распоряжении была команда рабочих и мы изображали из себя десятников, хотя, конечно, отнюдь не пользовались «правами и преимуществами» этой непочтенной корпорации. Над нами не стоял охранник с винтовкой и, следовательно, даже если бы мы были трусы, преследуемые подвальными ужасами, даже и тогда у нас не было бы никакого основания угнетать своих рабочих непосильным трудом.

Не знаю были ли даны нашему главе Волошановскому отдельные инструкции или подвальный испуг у него еще не выветрился, но он нам категорически запретил быть в приятельских отношениях с рабочими, опасаясь падения дисциплины. Этот чудак видел в серой лагерной массе только «рабсилу», но никак не угнетенных людей. Он не хотел ничего этого знать, хотя среди рабочих могли встретиться люди, стоявшие некогда на иерархической служилой лестнице и выше Волошановского. Не так давно инженер Волошановский добросовестно и изо всех сил работал на предприятии, блюдя интересы власти. Это не застраховало его от обвинения во вредительстве и от концлагеря. Он получил и то и другое и, однако, остался все таким же тупым фанатиком работы.

Я уже чувствовал себя «старым соловчанином» и хотя принял распоряжение Волошановского к сведению, но с рабочими оставался в приятельских отношениях. Среди моих рабочих встречались типы совершенно исключительные, как вот два приятеля Сурков и Степанов.

Так и текла наша жизнь: нудная, хотя и не тяжелая работа, холод, целый день ходьба на лыжах по озерам. По вечерам мы собирались все в своей конуре и проводили часик-другой в дружеской беседе. А рядом жило своей напряженной жизнью соловецкое дно. Лесорубы Селецкого, похожие скорей на тени. Нестерпимые условия работ доводили людей до отчаяния. Потерявший всякую веру в избавление шел на последнее средство — отрубал себе руку или ранил сильно в другие места. Такие «саморубы» оставались без медицинской помощи и как правило погибали. Сам Селецкий с лицом типичной «соловецкой белизны» высокий и нескладный поражал своею нервностью. Он как будто выплевывал слова, пересыпая фразы бессмысленными ругательствами по преимуществу кощунственного характера. Подобранные им десятники — настоящие палачи без жалости и других неудобных на Соловках чувств, служили своему патрону не за страх, а за совесть.

5. ПЕРВЫЕ ПАРАНДОВЦЫ

Иван Дмитриевич Сурков — промысловый охотник горного Алтая, низенький, крепкий, отличался, между прочим, веселым характером и в соловецкой суровой жизни не впадал в уныние. В утешение унывающим он говаривал:

— Ну, так что ж, что Соловки. И на Соловках солнце светит.

Правда, солнце светило очень мало и скупо, но все же светило. А в летняя бесконечные сутки светило и ночью. Теперь же в декабре 1928 года зима уже залегла плотным и толстым снеговым покровом и солнце совсем не показывалось. В командировке Исаково Иван Дмитриевич попал не в руки палача Селецкого, начальника лесозаготовок, а в группу рабочих для работ с нами, землемерами мелиоративного бюро. Группа была небольшая — человек двадцать и помещалась в большом, сложенном в древности монахами и трудниками этого Савватьевского скита, сарае из больших камней — валунов,

залитых в соединениях известью. Утром, когда вся команда еще спала на нарах, идущих вдоль стен сарая и железная печка, отопляющая сарай, затухала, иней покрывал эти камни. Обыкновенно первым просыпался от холода высокий худощавый Семенов — хуже всех одетый, и запаливал печку. Через несколько минут волна тепла уничтожала иней на камнях и Семенов, сидя на лавке около печки, клевал носом, а чаще заводил разговор с Сурковым, просыпавшимся первым. Он также садился к печке, закуривал и тихим голосом начинал рассказывать про Алтай, про свою охотничью жизнь в горах. На дневной работе команда разбивалась на группы, часть работали со мною, часть с землемером Жемчужинным или инженером Колосовым. Сурков и Семенов неизменно работали у меня в группе.

В эти декабрьские дни моя группа — девять рабочих, отправлялась на Северную губу за Савватьевским скитом- рубить лед и делать промеры глубин. Работа не тяжелая, но нудная, как для меня, так и для рабочих. Я с удовольствием бы бросил эту надоедливую канитель, но пружина лагерная заведена и остановлена быть не может. Я знаю, часа через два-три появится инженер, Волошановский, внимательно пересчитает прорубленные проруби, посмотрит на часы и, как будто чем-то недовольный, исчезнет опять, шаркая лыжами и неловко действуя палками. Он всю жизнь проработал в шахтах Донбаса и плохо был приспособлен к жизни на поверхности. Но ни пребывание в подвале, ни соловецкое житье не сделали его человечнее. Он попрежнему был только исправным винтиком большой машины, приводимой в движение единым началом, довлеющим над здешней соловецкой жизнью. И он сухо считал проруби, сухо говорил «о рабсиле», о работе. Все остальное для него не существовало или имело, так сказать, «привходящий характер».

— Надеюсь, к шести часам у вас будет прорублено столько то прорубей, — говорил он мне обычно, сдвинув брови и посматривая сухим, деловым взглядом.

Однажды нам все-таки повезло. Около берегов губы лед оказался тонким и мы быстро выполнили задание.

— Не развести ли костер? — предложил алтаец Сурков.

Мы отошли от берега в лесные заросли и часа три сидели у весело пылающего костра.

Сурков курил свою неизменную махорочную папиросу и, подбрасывая в костер сухия сучья, сказал.

— У нас в Алтайской тайге, конечно, не в пример лучше. Тут и дров настоящих нет... Нну... какой это лес.

Сурков презрительно посмотрел на чахлый соловецкий лес.

— В этом лесу зверю негде жить — вот что. Семенов, однако, не разделял этого презрения.

— А вот оно и хорошо, что леса здесь плохия. Ежели бы тут лес был настоящий — прямая нам погибель. Вот мы здесь ополонки эти во льду рубим. Так это что. можно сказать пустое дело. А вот мне довелось весь прошлый год работать на Парандове. Вот это работа.

Он вздохнул и замолчал.

— Как же вы сюда, на Соловецкий остров попали? — спросил я.

Семенов развел руками.

— Судьба... Пригнали нас на командировку человек двести, а живых... Ну, может быть, десять осталось. Вот какая работа.

Я стал расспрашивать о подробностях. Сурков сдвинул арестантскую свою шапку на затылок и сказал:

— Как попал, говорите? Да при побеге жив остался не убили. Вот и попал на Секирную. Отбухал там три месяца этим летом, да вот теперь из двенадцатой сюда и попал. Вы приходите к нам вечером, около железной печки расскажу. У нас стукачей нет, хорошо.

* * *

Вечером в сарае, освещаемом слабым светом керосиновой жестяной лампочки, шла обычная «рабочая жизнь». Каждый занят в эти немногие часы перед сном своим делом — один зашивает одежду или чинит обувь, другие стараются написать письмо или, роясь в своих скудных вещах, соображают — что бы такое из них выкроить: или продать часть или сменить на съестное.

Я сижу у печки, Сурков и Семенов только что покончили с чаем и заняли место на скамье как раз против меня.

— Хорошее это дело железная печка, — говорит Семенов, жмурясь на раскаленную почти до красна печку, — не будь этой самой печки — конец нашей жизни.

Сурков возражает:

— У нас на Алтае месяца по два охотники в тайге живут. И без печки обходятся... Нну, как свалишь, хоть скажем, сухой кедрач, да зажжешь.

Тут тебе никакая печь так не согреет. Да и здесь... Вот, скажем, попади я в лес — без всякой печки согреюсь.

Семенов недоверчиво на него посмотрел.

— А как же это ты согреешься у костра?

Прятели принялись рассуждать о кострах. Наконец, Семенов с сожалением сказал:

— Да, вот мы не умеем таких костров делать... И вот, пять человек бежали со мной с командировки на Парандове. Все погибли, потому не привыкший к лесной жизни народ.

Я заинтересовался побегом. Семенов, покуривая свою махорочную папиросу, рассказал грустную повесть о гибели товарищей от холода и чекистских пуль.

* * *

— В тюремном положении, известно, живешь как крот: везут или гонят этапом и сам не знаешь куда.

А у самого думка — не иначе, лучше будет. Так вот и нас из Кемперпункта сначала повезли немножко по железной дороге, а потом высадили и айда пешком. Народ в наш этап подобрали здоровый, больных ни единого. Нам и не вдомекъ — для чего такой подбор сделали... Ну, однако, после на месте все это выяснилось.

— Пришли это мы на сороковую версту Парандовского тракта. Дальше его, тракта этого, и нету. Дальше лес и болота. И по лесу только такая просечка — обозначает куда тракт этот идет. На командировке той землянки построены, в землянках, как водится, нары. И землянки, заметь, пустые, народу ни души. А видать — тут народ жил.

— И вот на другой день завелась эта чертова машина. Чуть свет уж все на ногах. Идем на работу партиями... На земляную работу. Из болота надо вынимать торфяную землю, рыть глубокия канавы. Каждому, конечно, урок — двенадцать кубометров. Это в болоте-то. Расчитано у них, видишь, на каждого человека в этапепо двенадцать кубометров. Ну, на командировке, конечно, не одни же землекопы, есть и повара и лекпом и там всякая прочая обслуга. Канавы они, конечно, не копают, а заняты своим делом: варкой пищи, стиркой и кому что положено. Так вот на них тоже по двенадцать кубометров положено на каждого и эти все ихния кубики на нас, канавщиков, начислены. И выходит их вместо двенадцати — четырнадцать, а может и того больше. Френкель так это все рассчитал.

— Что ж будешь делать? Одно только и есть — работай изо всей мочи. А тут, глядишь, и осеннее время — вот оно. Комаров на наше счастье уже нету. Ну, однако, работа иногда по колено, а иногда по пояс в воде. А обувь какая у кого есть. Было много разных интеллигентов. Кто в ботинках, кто в хороших сапогах, а болотных сапог ни у кого. Так интеллигенты те первыми в расход пошли. Что-ж, это ежели в воде целый день простоять — конечно, заболеешь. Освобожденье от лекпома получить ну, прямо, невозможно. У лекпома тоже норма — больше такого-то проценту освободить никак не смей. Вот, скажем, больных пятьдесят, а освободить по болезни от работ на сутки можно только двоих. Вот он двоих освободит, а сорок восемь идут опять в болото — урок выколачивать.

— Мерли, конечно, как мухи. Очень тяжел урок. Та кой урок — уж на что мы народ привычный, а и то не могли выполнять. И туфту зарядить никак нельзя. Как зарядил туфту, сейчас тебя после работы вместо барака в канаву, в воду ставят босого. Угощение, скажу, совсем плохое. Шпана без малого вся на канавах полегла. Народ это такой: без туфты не работники, а охрана там и десятники, ну, чисто звери.

— И вот тебе приходит зима. Осталось нас совсем мало. Ну, однако, новых подсыпают. Старые работники в трясину, в яму уходят, а новые на их место в землянки. Нас осталось из двух сотен, почитай, только восемь человек: два на кухне, да мы шестеро. Офицер с нами один был. Крепкий человек.

— Ну, однако, и нам конец будет. Уж и силы на исходе. Ходим на работу и все как следует, а чуем — скоро и нам в ту же трясину. И вот такая тоска меня взяла — на свет бы белый не смотрел. И чувствую — сделать ничего нельзя, податься некуда. Из землянки уходишь темно и вернешься темно. Только бы до нар добраться: лег и нет тебя на свете.

— Работал я в паре с одним татаринком. Мухамедов по фамилии. Парень был жилистый, крепкий. У него работа была полегче — он возил на тачке балласт, я накладывал. Так вот мы попали однажды в карьер вдвоем и перекинулись парой слов. И слова те какие: конец приходит.

— Бежим, говорит, Терентий. Тут, слышь, через восемь километров железная дорога проходит. Пойдем по ней.

— Меня как жаром обдало. И такое то у меня загорелось — бежать, да и только. Прямо ничего не могу сделать с собой — бежать, да и кончено. А как бежать, куда бежать — об этом и не думаю. Только бы с этого болота долой.

— Лежим мы старые на нарах все вместе. Я шепнул своему соседу, Мухамедов своему. И решили враз все в шестером рвануть. Куда кривая не вывезла.

— И вот, тебе, ночью выходим все из барака, будто на оправку, и айда.

Ночь эта темным темна. А нам на руку. Идем по дороге. Живо идем. Хорошо... Вжарили мы в те поры здорово. И как только заря заниматься стала — мы в лес. А нас, конечно, утром хватились и дали везде знать. Дорог ведь в том краю никаких. Не только дорог — тропинок нет. А в лесу сугроб. Только и ходу, что по железной дороге. Ну, конечно, охрана, как учуяла побег — сейчас вдогонку нам паровоз с платформой. А на той платформе — охранники с лыжами. Как учуяли мы это дело — и в лес. Эх, вот шли. По сугробам. Идем и идем. А куда — о том не думаем. Только бы дальше уйти от проклятого места. Конечно — у кого силы и сноровки побольше — передом идет. Мы с Мухамедовым посредине. Задние уже, должно, из сил выбиваются.

— И говорю я это Мухамедову — догонят нас по следу, а Мухамедов советует: свернем, дескать, в сторону. Ну, думаю: куда ты тут свернешь? Все едино след оставишь. А тут аккуратно нам идти через ручей. Ручей небольшой, но быстрый, а потому вода в нем и не мерзнет. Враз мы сообразили и по ручью без следов в сторону. Идем по нему, а он скоро за сугробы поворот сделал и мы из воды вышли. Ну, однако, остановились, сняли портянки, выжали их и айда дальше. Слава Богу, мороза, почитай, что и не было, денек такой серый стоял.

— И вот отошли мы так-то в сторону и слышим — сзади стрельба. Смотрим из-за кустов, а стрелки бегут, бегут за нами по следу на лыжах, как за зайцами. Пришпилились мы под елкой и ждем что будет. Рыщут везде. На наших глазах двух наших компаньонов убили. Подъезжают и рраз из винтовки. Сзади, слышим, тоже стрельба. Мы это сидим с Мухамедовым и ждем: вот, вот найдут и нас прикончат. Ну, однако, не нашли.

Настает ночь. Куда пойдешь в темноту такую в лесу? Никуда. Однако, отыскали мы кое-как наш старый след и идем обратно к железной дороге. Миновали трех убитых своих компаньонов пока не дошли до пути. Дошли до железной дороги и айда вдоль что силушки хватало. Идем и час и другой. Ну, однако, слышим сзади поезд нас догоняет. Как быть? Двинуть в лес — след увидят. Все равно — гибель. Тут Мухамедов говорит: будем падать в снег и лежать.

— Выбрали мы такое место удобное и упали в снег, распластавшись как распятые. Снег был мелкий и податливый. Лежим. Вот пыхтит паровоз. Тихо идет. Должно нас ищут. Мы лежим — что будет. Вот уж и близко совсем. Слышим — останавливается. Ну, пропали как мухи.

— Мухамедов не стерпел: вскочил и как шальнойпромеж рельсов бежит. Паровоз, конечно, за ним продернул. Слышу — стрельба. Ну, думаю, погиб Мухамедов. А сам тихонько выбираюсь и в лес.

— Попал должно я на теплое болото: снег не глубокий и я бегу, что есть мочи от дороги прочь. А куда бегу- и сам не знаю. И от усталости ничего и в башкенеу — как пустая. Одно себе — бегу и бегу.

— И сколько я путлял по лесу, прямо сказать, не припомнишь. Путлял бы и еще, да сил больше нет. Добежал я до старой развесистой елки, залез под гущину и лежу как мертвый.

— А уж заниматься заря начала. Всю ноченьку за нами охота была. Лежу я и вижу — бежит по следу на лыжах стрелок. Бежит и оглядывается. Елка эта моя стоит в конце длинной такой прогалины и мне видно, как идет стрелок по следу. Ну, думаю, конец приходит.

— Однако, словно во мне пружина какая развернулась: выскочил я из под елки с другой стороны и опять попал на поляну. Бегу что-только силушки есть и себя не чую. В башке только и есть: нажимай и беги.

— Увидел меня стрелок и что-то кричит. Я еще пуще от него, а он бежит за мной на лыжах. Тут это болото теплое, знать, кончилось и опять глубокий снег. Бегу я, вязну и уже догонять меня начал стрелок. Слышу — опять кричит. Остановился и я. Стой, — слышь, бить не буду. Да уж мне в те поры все едино: сил все равно никаких. Остановился я, да как сноп и рухнул на снег. И силушки нет и последний час — вот он.

— Ну, однако, подошел ко мне стрелок и прикладом так легонько тычет. — Вставай, говорит, пойдем.

— Встал это я. Смотрю на высокого этого стрелка и башка у меня словно пустая. Ведет он меня. Ну, думаю все едино конец: не иначе взад пулю влепит. Прошли мы так немного и вскорости тут на пути вышли. Должно я впопыхах вдоль пути бежал. Смотрю — навстречу едет другой стрелок. Что, говорит, на развод ведешь. Веди, даскать для отчета, чтобы графы пустой не было. Все же пойманный один в отчете будет значиться.

— Так вот я и жив остался. По весне переправили меня на Соловки, да на Секирную. Два месяца отбухал. А наша партия вся в трясине осталась. Да и не одна наша. Кто их считал?

* * *

Волошановский, заметил мое хорошее отношение к рабочим и предупредил:

— Я вас прошу рабочих не распускать. Это не порядок, — говорил он однажды утром, сидя на своем топчане.

— Вы хотите потребовать от меня, чтобы я был тюремщиком? Я вижу в рабочих таких же несчастных, как и я сам.

Волошановский возмутился.

— Почему вы всегда, говоря со мною, принимаете такой недопустимый тон? — В раздражении он наговорил мне много неприятностей, и наши отношения испортились.

Через несколько дней я начал работу на Черном озере. Это по ту сторону Савватьевского, позади Секирной горы. Поработали. Затем развели костер греться. Несколько рабочих, прорубая лед, промочили ноги и теперь сушили; сколько удавалось, портянки.

Трое рабочих были из Секирного изолятора. У всех у них на каждой части одежды был прикреплен билетик с номером.

Один из секирян, среднего роста, довольно крепкий, лет тридцати пяти, блондин держался немного в стороне от своих двух компаньонов. Он больше молчал, покуривая махорочную папироску. Фамилия у него была немецкая: Константин Людвигович Гзель.

— Полковник, дай табачку, — обратился к нему один из секирян.

— Вы полковник? — спросил я.

— Подполковник.

— Как это вас занесло на Секирную?

— Судьба, — усмехнулся Гзель в рыженькие усы.

— Какой у вас срок?

— Десять.

— Статья?

— Пятьдесят восьмая.

Константину Людвиговичу в Соловках совсем не повезло. По прибытии на остров он из карантинной роты угодил прямо в четырнадцатую запретную роту. Запретники работают всегда под конвоем и только в Кремле. Запретная рота обычно наполняется весной с открытием навигации. Распущенные оттуда на зиму поднадзорники водворяются на прежнее место и раз попавшему в запретную роту стоит большего труда потом от неё отделаться. Помещение в запрет может быть указано заключенному по приговору, который приводит его на Соловки, но часто является и карательною мерою, налагаемой местной лагерной администрацией на срок за проступки.

Константин Людвигович Гзель попал на Секирную даже не по оговору. В запретной роте он помещался между двух шпанят — «леопардов». Однажды их неожиданно обыскали и арестовали. Им было предъявлено обвинение в покушении на побег. Константин Людвигович был также привлечен по этому делу. Следователь-чекист рассудил просто: если два человека, лежащих на нарах рядом с третьим, сговариваются бежать, то третий не может не знать об этом. А раз он знал — его обязанность донести. За недонесение и дали Гзелю два месяца Секирного изолятора.

Константин Людвигович поник головой и, мрачно глядя в пламя костра, сказал:

— Много, знаете пришлось мне пережить и перенести, но все, что было — ничто в сравнении с Секирным изолятором. Им занят весь большой собор. В верхнем этаже самый суровый режим, в нижнем полегче. Из нижнего этажа даже отпускают на работу. Вот, и нас отпустили к вам. Собственно я уже досиживаю срок: второй месяц на исходе.

— Новичка, присужденного к изоляции, первым делом раздевают догола. Одежду связывают под личный номерок заключенного. Затем дают в качестве единственной одежды балахон, сшитый из мешка и в таком виде помещают в изолятор.

— Здесь вас, прежде всего, поражает мертвая тишина. Не полагается никаких разговоров. Все сидят на скамьях совершенно неподвижно, положив руки на колени. Насекомых тьма, но нельзя сделать движение, чтобы — не то что почесаться, но хоть стряхнуть гнуса.

Требуется полная неподвижность.

— За порядком смотрит дежурный чекист. Малейшее движение, хотя бы какой вздох посильнее, и виноватого ставят на ноги «у решетки», за более серьезные нарушения в карцер «под маяк». Маяк этот помещается под куполом собора, а под маяком есть такая холодная камера, вся в щелях. Пребывание в ней, — зимою, хотя бы в течении лишь нескольких часов, — полуголого человека в мешечном балахоне почти всегда ведет к воспалению легких. А затем, значит, скоротечная чахотка и в «шестнадцатую роту» на кладбище.

— Отхожого места в изоляторе нет. Для отправления естественных потребностей стоит в особом шкафу «параша». Что это за прелесть — легко можете вообразить.

— Нельзя вообразить, не испытав, гнусного ощущения вынужденной неподвижности. Это нечто непередаваемое. Что насекомые! Их уже перестаешь чувствовать. Весь организм превращается в какую то сплошную, жгучую, ноющую рану, которой нестерпимая боль пронизывает тебя всего. Эх, да разве можно все рассказать.

Гзель бросил свой окурок в костер. На лоб его набежали суровые морщины.

— Помнить будем добре, — сказал шпаненок, сушивший портянки.

И вдруг перед костром, как из под земли, появляется на лыжах Волошановский. Он отозвал меня в сторону, сделал мне выговор и недвусмысленно заявил мне о своем намерении от меня отделаться.

Это не была пустая угроза. Несколько дней спустя в наш сарай вошел стрелок-охранник.

— Смородин, — пробурчал он, когда мы встали «смирно».

— Семен Васильевич, — отвечал я по правилам.

— С вещами.

Я собрал вещи и к вечеру очутился в двенадцатой рабочей роте, опять на дне лагерной жизни.

6. СНОВА НА ДНЕ

Каменная громада Преображенского собора занята двумя ротами — южная половина тринадцатой карантинной и столярно-механическими мастерскими, северная — многолюдной двенадцатой рабочей ротой. Высокая каменная лестница ведет в обширную со сводчатыми высокими потолками. Вся келарня занята трех этажными нарами. На верхняя нары ведут лестницы-стремянки, на средние пара палок, изображающих ступеньки, прибитых к стойкам, удерживающим настил нар. Эти нары буквально залиты людскими потоками. Полагается каждому человеку место в восемьдесят-девятью сантиметрами ширины и люди лежат вплотную друг к другу. Во время обеда и перед проверкой нары делаются подобием живого муравейника.

Рота населена по преимуществу шпаной, жуликами, бандитами, рабочими и крестьянами. Здесь режим значительно слабее, нежели в тринадцатой роте: нет этой поражающей тишины и ночей без сна. Хотя и здесь спать нормально не дают, но порядок дня примерно нормирован.

С шести утра и до двенадцати рота пустела — все рабочие уходили на работы, ночные смены спали. Только дневальные бодрствовали у дверей. В обеденный перерыв рота превращалась в муравейник, резкий запах тухлой трески идет от кадок с арестантским супом, раздаваемым по котелкам дежурными из заключенных. Через полчаса обед кончается и люди уходят командами под конвоем своих десятников на работы до вечера.

Я попал первоначально в самое пекло этой жизни дна и поместился вместе с беспардонной шпаной. Однако, правдист Матушкин составил мне «блат» — попросил знакомого ему ротного двенадцатой роты перевести меня в помещение около ротной канцелярии.

Здесь не было нар. Все повешение занято деревянными топчанами. Окна нашей камеры упирались куда-то в стену, у самого же светлого окна ротный отгородил себе кабинку и от того у нас всегда днем полумрак.

Вечер. Усталые от дневной работы мы лежим на наших топчанах. Для всей камеры горит где-то наверху под высоким сводчатым потолком одна электрическая лампа и дневной полусумрак сменился полусумраком вечерним. Но мы привыкли.

Откуда-то из недр роты появляется Веткин. В руках у него котелок.

— Ну, что там лежать зря — вставайте. У вас ротная плита горячая и мы живо сварим кашу.

Я быстро вскакиваю, с радостью жму руку приятелю и засыпаю его вопросами о происходящем на белом свете, то есть вне нашего дна. Потом мы идем по проходу между нарами и выходим к ротной плите у входной двери.

Около топки сидит, очевидно, больной, ширококостный крестьянин и тусклыми глазами смотрит на огонь.

— Что, друг, задумался? — хлопнул его по плечу Веткин. — Это наш одноэтапник. Осенью вернулся с Парандова, — пояснил мне Веткин.

— Человек, должно, с двести было в нашем этапе, — сказал крестьянин, подняв свои усталые глаза на меня, а в Кемь вернулось только восемь и вот на поправку на остров нас и привезли. Весь Парандовский тракт на наших костях выстроен.

Он помешал в топке и продолжал:

— И какие люди были в партии — цены им нет. Полегли все в торфовых могилах. Двенадцать кубометров — урок. А где его сделать этот урок.

Не сделал урок — поставят на комары. Снимут все и голого на камень ставят. А комаров там — числа нет. Осенью в воду ставят. Эх, да что говорить: коли — до тюрьмы кто стал бы мне рассказывать — не поверил бы.

Я с грустью смотрел на этот богатырский скелет мужика, жалеющего не себя, а «безценных людей», погибших зря. Эту фразу я слышал от крестьян много раз.

— Ну, у нас на Ново-Сосновой не лучше, — заметил Веткин. — На комары там не ставят, а в мокрый карцер садят. Морозят до смерти. Да ведь не просто морозят, а с показом: вывезут мертвого мороженного перед строем — смотрите, мол, вот хотел бежать и получил кару. То же, мол, и вам будет. А куда ты с острова побежишь? Мерзлых мертвецов выбрасывают в кучу за отхожим местом. Как накопится человек двадцать, приедут санитары и в братскую могилу сбросят. Вот как расправляется Селецкий с ни в чем неповинными людьми.

Мы сварили кашу и тут же на подоконнике стали есть ее из котелка. Парандовец отвернулся, очевидно, глотая голодную слюну. Мне стало жаль его; предложил ему доесть остаток каши. Он как-то стыдливо взглянул на меня из-под насупленных бровей и медленно начал есть.

Созданный марксистами большевиками «безклассовый лагерь» являл картину вопиющих классовых противоречий.

Питание лагеря производилось таким порядком. Работающие на общих работах и рабочие лагерных предприятий пользовались котловым довольствием. Обед они получали с общей кухни. Хлеб выдавался ежедневно. В общем, пища была грубая и скудная. Утром полагался кипяток, в обед суп баланда и на второе — каша с растительным маслом. На ужин каша или картофель. Ни по количеству, ни по качеству, пища эта не могла не только насытить рабочего человека, но даже плохо помогала ему обманывать голод.

Работающие где-нибудь отдельной группой, не имеющие общего котла, получали «сухой паек», то есть натурою продукты продовольствия. Он выдавался раз в месяц. Наконец, третья категория, привилегированные каторжане, получали «денежный паек». Им выдавали денежную квитанцию на девять рублей двадцать три копейки в месяц. Владелец такой квитанции получал в «розмаге» или в ларьках все, что ему угодно, хотя бы даже пшеничный хлеб на свои девять, двадцать три. Только в 1931 году из розмага и ларьков исчезли все продукты и наступило голодное время.

Таким образом, уже в основном вопросе быта, в питании, режим социалистической каторги был фактически подчинен архикапиталистическому началу: даешь деньги. Чтобы не голодать, жестоко недоедавшая каторга должна была сама себя подкармливать, — прикупать; чтобы прикупать, — иметь деньги. И — от питания — так во всех отраслях быта. Деньги на Соловках — это все. Всякий, имеющий деньги, мог идти в розмаг или в один из ларьков и купить себе что хотел из еды и одежды. Деньги помогали избавиться не только от общих работ, но вообще от всяких работ. Блат и деньги делали жизнь их обладателя в лагере пребыванием на курорте.

У нас с Веткиным был некоторый бла́т и имелись кое-какие гроши. Мы могли существовать. У парандовца ни бла́та, ни денег. И он, как многие тысячи соловчан, голодал, уже болел цингой и шел прямой дорогой в шестнадцатую роту — место последнего упокоения.

7. МЕТЛА ЯЩЕНКИ

Я распростился с Веткиным и хотел было вернуться обратно, как входная дверь роты широко открылась и стала входить большая партия заключенных, нагруженных вещами. В передних рядах шел Петрашко, подмигивая мне и посмеиваясь.

Едва конвоир сдал партию и ушел, я с любопытством стал расспрашивать о странном происшествии.

— Дело обыкновенное, — сказал Петрашко, — УСЛОН сделал открытие: в лагерях пролетариат находится в угнетении, а контрреволюция, аристократы, военные и интеллигенция занимают в лагерном аппарате все места, предоставляя физический труд социально-близкому коммунистам элементу. Так вот нас поснимали с наших мест и теперь прячут на дно. Будем начинать сначала. У меня этих начал было уже много, — закончил он посмеиваясь.

Я начал всматриваться в толпу и многих узнал. Вот слепой на один глаз ученый секретарь Петербургского ботанического сада Дегтярев, скаут мастер Шепчинский, ходивший летом всегда с засученными рукавами и с непокрытой головой, толстовец Александр Иваноич Демин.

— И до толстовцев добираются, — удивляюсь я, пожимая руку Александра Ивановича.

Тот с досадой машет рукой:

— И не говорите. Крепко я надеялся на снисходительное отношение к нашим единомышленникам в Москве. До сих пор всего, связанного с именем Льва Николаевича, не касались.

— Как не касались? А ведь вот вас как раз и коснулись.

— Ну, я другое дело: я провинция. Но вот теперь и в Москве разгромили наши объединения. В Кеми уже целая большая партия толстовцев. Весною многие придут сюда на остров.

К нам подошел Петрашко.

— Забыл сказать, — обратился он ко мне, — в новых списках на посылки, привезенные еще с последними пароходами, значится ваша фамилия. Выдача сегодня с шести вечера.

Я едва мог дождаться установленного времени и, наконец, с запиской ротного в кармане, отправился в помещение, где выдаются посылки.

Дорогу мне пересекла партия священников человек в двести. Они шли на смену сторожевых постов обычным воинским строем. Одеты в рясы, с благообразными бородатыми лицами, эта марширующая по двору оскверненной обители команда, производила на меня при всякой встрече неизгладимое впечатление. Никто из спящих

кругом серых людей не обращал на них внимания. Я остановился и проводил их взглядом, пока партия не утонула под темными сводами монастырских каменных перекрытий. Это лучшие из лучших, это терпящие гонения за Христа — враги коммунизма и слуги Церкви Православной. В сторожевой роте их около тысячи. А сколько по другим лагерям, сколько просто в ссылке, по подвалам и по всякого рода застенкам! Места этих гонимых и мучимых занимали постепенно провокаторы живоцерковники. Но и до них, как и вообще до коммунистических попутчиков, тоже дошла очередь и им пришлось надеть арестантские бушлаты и здесь в юдоли страданий выявить не стойкость и веру, как вот эти, только что прошедшие их выявили, но изумительные образцы человеческой подлости.

Я вошел в довольно обширную комнату, занятую стоящими в очереди заключенными. В противоположном её конце два чекиста и молодая дама вскрывали и осматривали посылки. Письма, книги, если они были в посылках, отбирались и шли в цензуру. Остальное выдавалось на руки.

В комнате стояла тишина: разговаривать можно было только шепотом.

Присмотревшись, обнаружил недалеко от себя правдиста Матушкина.

— Вас не коснулась метла Ящетки? — шепчу я.

— Нет. Князь Оболенский — командир сводной роты, тоже на месте остается, — шепчет в ответ Матушкин.

— Хороший блат заимели?

— Блат иногда может поломаться. Есть кое что и покрепче блата, — загадочно сказал Матушкин.

Комната наполнялась все новыми и новыми заключенными. Мы вскоре добрались до прилавка, занятого чекистами, вскрывающими посылки. Чекистка баронесса Эльза — высокая, темноволосая молодая дама осматривала посылки очень поверхностно и обычно выдавала адресату все, что в посылке находилось, ограничиваясь только её вскрытием. Всякий естественно стремился получить посылку из её рук. Мне, однако, не повезло: чекист долго копался в присланной мне посылке. Я боялся, как бы ему не пришлось в голову расколоть орехи и снять шелуху с каштанов, оказавшихся, между прочим, в посылке. К счастью, обошлось без этого и я довольный возвратился к себе.

За мое отсутствие ротный успел сделать в нашей комнате перемещения части людей. Теперь рядом со мною помещались два православных священника и католический епископ, водворенных на лагерное дно как активные контрреволюционеры. Мы перекинулись несколькими дружелюбными фразами и тотчас после проверки поскорее легли спать. Нужно было запастись силами для грядущего трудового дня.

8. ВРИДЛО

В полусумраке раннего утра наша партия шла из Кремля к кирпичному заводу мимо снежной равнины Святого озера. Мы шли исполнять обязанности лошадей, а потому и называли нас «вридло», то есть временно исполняющий должность лошади. За каждой группой из пяти человек, впряженных в сани веревочными лямками, был урок одной лошади.

Сонный десятник указал нам груз для перевозки — кирпич, наш старший сделал распределения груза и мы, нагрузив сани добрым лошадиным грузом, двинулись по незнакомой мне дороге.

В нашей запряжке впереди всех шел урагвайский гражданин Вильям Брот. Прибыл он только осенью после годичной сидки в одиночке и был несказанно рад каторге.

— Ну, Вильям, поднажми, — кричит молодой Офросимов, извлеченный метлой Ящени из недр УРЧ'а.

Мы дружно тянем, и сани, поскрипывая, ползут по непроезженной дороге.

— Ну, и дорога, — ворчит поэт Ярославский, идущий справа.

— Это вам не вселенную штурмовать, — смеется Петрашко. — Тут корень из вас извлекают по всем правилам.

Автор сборника стихов под названием «Корень из я», штурмующий в этих стихах вселенную и вливающий сальварсан созвездиям — Ярославский, высокий и плотный человек, молчит, сопя от усилий.

На второй версте он взмолился:

— Подождем здесь немного. Ноги не идут...

— Что встали? — орет сзади старший. — Давай, давай Мы опять подхватили, и сани поползли вперед по мягкой, неукатанной дороге.

Скоро, однако, мы все выбились из сил. У меня звенело в ушах от натуги и перед глазами заходили черные круги.

Наконец, дорога направилась под гору. Я обратился к Петрашко:

— Куда эта идиотская дорога ведет?

— В пушхоз.

— Это что же такое?

Ферма, разводящая пушных зверей и кроликов. Меня это сообщение живо заинтересовало. Я был страстным любителем кролиководства и много в этой области работал, даже во времена своей скитальческой, полной приключений жизни.

— Даешь дальше, — орет старший.

Опять лямки натягиваются, скрипят полозья, и скоро от нас начинает идти пар, как от настоящих лошадей, а не просто «вридло».

Наконец, доезжаем до морского берега и переходим на лед залива. Глубокая губа минует возвышенности мелких островов, разбросанных по заливу. Везти стало полегче. На короткое время выглянуло солнце, и нестерпимая белизна снега стала утомлять зрение.

Мы въехали на остров, застроенный новыми домами, поднимаясь в горку по дороге, идущей от сарая, построенного на деревянной пристани. На берегу лежали опрокинутые на зиму лодки. У меня сжалось сердце. Мне сразу представилось, как в одной из этих лодок темной ночью я пробираюсь прочь от острова слез и крови... Эх, вот если бы сюда попасть!

Мы сложили кирпичи в указанном месте. Пока весь «обоз вридло» подтянулся, наконец, к острову, у нас, прибывших первыми, оказалось некоторое свободное время. Я воспользовался им для осмотра фермы и вместе с Петрашко направился к желтому забору с сеткой наверху, окаймлявшему питомник, занимавший большую часть острова. Тотчас за забором начинались помещения для пушных зверей. Они имели вид клеток, расположенных рядами, образующими аллеи. Размер каждой клетки, состоящей из деревянного каркаса, обтянутого проволочной сеткой, — восемь на двенадцать метров, высота — около трех метров. Внутри каждой клетки ящикообразное гнездо на ножках. В питомнике, как я узнал потом, разводились голубые песцы, черно-серебристые лисицы, соболя.

— Вот здесь бы поработать, — говорю я Петрашко.

— Все дело в блате, — ответил он. — Это временное чекистское сумасшествие, конечно, скоро пройдет. Воры и полуграмотный сброд нас на нашей работе в лагерном аппарате все равно не заменят. Постепенно опять вернемся «в семью трудящих».

К нам подошел высокий, худощавый человек с военной выправкой — по-видимому, один из служащих питомника.

— Вот обратитесь к Борису Михайловичу, — сказал Петрашко, пожимая руку пришедшему.

Полковник Борис Михайлович Михайловский узнав о моем влечении к кролиководству, сообщил:

— У нас с кролиководством обстоит довольно скверно. Климат или еще что-нибудь тому виною, но молодняк не живет, хотя мы его в отопливаемых помещениях держим.

— Попробуйте взять меня. Я думаю это дело у меня пошло бы.

— В самом деле, вы бы поговорили с директором пушхоза Туомайненом.

— Дело пожалуй не выполнимое, — сказал я с усмешкой, глядя на Михайловского.

Совет «поговорить» с одним из лагерных олимпийцев, мне «вридло», не имеющему права распоряжаться собой, зависящему всецело от «погонщика», звучал насмешкой. Михайловский это понял и сказал:

— Попробуйте, подайте заявление директору Туомайнену. Жаль, что вы в своей анкете не показали себя специалистом по кролиководству.

Конечно, если бы я знал соловецкие порядки раньше, так я бы не только кролиководом и алхимиком бы записался на всякий случай.

9. ПАСХА

Весною стало особенно тяжело возить грузы. Наши маршруты стали даже удлиняться, ибо прибавился день. Мы возили грузы и в Филимоново и в Савватьево, в пушхоз, на ближняя торфоразработки.

Снег стал рыхлым и во многих местах напитался водой, работа еще более стала тяжелой. Я уже привык к черным кругам и звездам перед глазами и тянул свою лямку равнодушно, как лошадь. Мускулы почти все время напряжены, в теле постоянная тяжесть, в голове ни единой мысли. И это особенно тяжело: не задумаешься, не отвлечешься от настоящего. И оттого время ползет медленно. Кажется — чем больше надо проявлять усилий, тем медленнее оно идет. В роту я возвращался усталый и разбитый. Трудно представить себе более приятное ощущение, чем отдых после очередного рейса на топчане. Каждый валится на свою постель во всем как был и остается неподвижным.

Иногда ко мне в роту заходили Матушкин или Веткин и проводили со мною часок — другой. Они приносили с собою лагерные новости и для меня были единственным связующим с внешним миром звеном.

А между тем, незаметно подходила пасха.

Мои соседи — священники работали в Кремле и также сильно уставали. Иногда мы, лежа на нарах, шепотом разговаривали друг с другом, делились своим горем и надеждами на избавление.

— Будет ли в этом году пасхальное Богослужение в кладбищенской церкви? — осведомился как-то я.

— По-видимому, будет, — ответил отец Иван. — Во всяком случае владыка Илларион уже хлопочет перед лагерным начальством о разрешении присутствовать на этом Богослужении заключенным иерархам. Питают надежду попасть в церковь и некоторые заключенные.

— Только нам на разрешение рассчитывать нечего, — заметил епископ, — у нас будет рабочий день.

Ко мне зашел, наконец, разыскавший меня после падения на дно Сергей Васильевич Жуков. Мы разговаривали о пушхозе. Жуков сообщил мне подробности возникновения пушхоза. Там работал научный сотрудник СОК'а, сам же глава пушхоза — директор Туомайнен бывает в СОК'Е и Жуков его хорошо знает.

— Не можете ли вы передать ему мое заявление. Питаю надежду устроиться там по кролиководству.

— Конечно, передам. Вот статья у вас тяжеловатая. Пожалуй, не отпустят на такое бластное место, как пушхоз.

Все же я написал заявление и Жуков обещал передать его Туомайнену на днях, при первой с ним встрече.

— А вы не собираетесь в пасхальную ночь присутствовать на Богослужении у монахов-инструкторов в кладбищенской церкви? — спросил я, прощаясь с Сергеем Васильевичем.

Жуков вздохнул и потупился.

— Риск, знаете, большой. Можно, вот как вы, на дне очутиться. А выбираться отсюда — надо большую сноровку иметь.

В пасхальную ночь мы лежали по обыкновению усталые и разбитые. В кладбищенской церкви святого Онуфрия тринадцать епископов во главе с местоблюстителем патриаршего Престола Петром Крутицким служили пасхальную утреню. Полтора десятка монахов и несколько счастливых из заключенных присутствовали на этом последнем торжественном Богослужении на Соловках. В следующем году доступ в церковь кому-либо из заключенных был строго воспрещен, а еще через год была закрыта последняя кладбищенская церковь и вывезен с острова последний монах.

Мои соседи — священники, за молитву во время утрени в боковой келье, где жил ротный писарь офицер, на другой день были схвачены и посажены в карцер (в одинадцатую роту). Вскоре после того был арестован и третий мой сосед — католический епископ и вместе с группой православных и католических иерархов (тридцать человек), был изолирован на острове Анзере. Весна 1929 года ознаменовалась началом гонения на духовенство, попавшее в лагерь. Духовенство вступало на тяжкий путь невиданных унижений и гибели от непосильного труда и голода.

Весною, по стаянии снега из двенадцатой роты начали рассылать людей на работы вне Кремля. Нужно было освободить помещения для новых этапов. Первыми были «изъятые из обращения» запретники. Как-то днем стали вызывать по списку десятка два заключенных.

— Куда это вы? — спрашиваю.

— В запрет. Весна наступает и нашему брату хода за Кремль нет.

10. МАКСИМ ГОРЬКИЙ

Однажды ночью нашу большую партию «вридли» подняли, заставили собрать вещи и повели куда-то в сумрак.

Мы долго шли по грязной и скользкой дороге, по болотам и по лесу, пока не вышли на поляну. Стало уже светать. В серых зданиях, выступивших из полусумрака, я узнал кирпичный завод. Нас привели в новый дощатый барак и положили на полу. Топчаны для нас еще не были сделаны. От лошадиной службы мы были, так сказать, отпущены в запас до будущих снегов. А пока нам предстояла одна из тяжелых работ, то «плинфоделие египетское», о котором так выразительно повествует библейская книга «Исход»:

— Сделали жизнь их горькой от тяжелой работы над глиной и кирпичами, к которой понуждали их с жестокостью.

Я был все же рад исходу из мрачного Кремля, рад весенним солнечным лучам и полярной весне.

Весна на Соловках наступает внезапно. Весенний день здесь круглые сутки и рост растений в течение суток не приостанавливается. Оттого лиственные деревья и кустарники распускаются как по мановению волшебного жезла. Заросли карликовой березы на фоне желтых моховых подушек нежно зеленеют свежими, только что развернувшимися листьями. Впрочем, все это мы видим только по дороге из барака на завод. Нам не до вешних чудес природы. Вот наши сутки.

Утром в шесть часов подъем, в половине седьмого — поверка, в семь без четверти развод.

Мы выходим к низенькому одноэтажному зданию, где живет зав кирпичным заводом — инженер из заключенных. Строимся. Перед строй выходит зав командировкой — стрелок-охранник. На приветствие этого человека, могущего совершенно безнаказанно убить любого из нас, как собаку, отвечаем обычным «здра». Если имеются какие либо приказы или постановления ИСО о расстрелах, стрелок их перед нами вычитывает; затем скажет несколько наставительных в компартийном духе фраз — и уходит. Его место занимает старший десятник. Он выкликает фамилии по наряду, составленному накануне. Вызванные выступают вперед. Как скоро набирается группа — десятник объявляет, куда ей идти и что делать. Работа без часов — на целый день. Дни в ней тянутся, как тяжелый сон. Все время заранее распределено на непрерывную работу. На отдых дается так ничтожно мало, словно нарочно для того, чтобы мы не успевали придти в себя и оглядеться.

Я иду на механическую выделку кирпича. Большая машина, похожая на утермарковскую печь, гонит длинную глиняную ленту на аппарат для резки кирпича. Уссурийский казак режет кирпич особым прибором, а я, надев на руки деревянные «хватки», быстро убираю отрезанные кирпичи в вагонетки. Без перерыва идет движимая мотором машина; нагруженные вагонетки укатываются прочь, на их место подкатываются пустые. Здесь не только задуматься, а на секунду-другую зазеваться нельзя: пропустишь момент уборки кирпича. Я обязан снять девять тысяч кирпичей. Иногда это берет десять часов, иногда двенадцать и больше. День и ночь идет машина на двух сменах.

Особенно тяжело бывало на ночной смене. Всю ночь проработав около гудящей машины, поутру, когда большинство заключенных отправляется еще только на работу, тихонько, едва жив, бреду к торфяному озерку подле нашего барака. Я взял привычку купаться в его темноватых водах.

Тело в них принимает красноватый оттенок. Берега у таких озер обрывисты — сразу идет глубина. Проплыв немного, смываю грязь и опять как будто жив. Освеженный иду в барак.

Путь мне мимо ларька, запертого в эти ранние часы, а потому охраняемого. Сторож, крестьянин-баптист из Черноморья, — сидит, тихо напевает свои духовные песни. Завидев меня, вступает в беседу-проповедь: затеял обратить меня на «путь истины», ибо по внешним признакам я представляюсь ему подходящим для секты — не пью, не курю, не ругаюсь, не ем мяса. В споры с ним я, конечно, не вступал, и мы дружелюбно расставались до следующей встречи следующим утром после ночной смены.

Из компаньонов моих по бараку, подполковник Гзель Константин Людвигович, работал на вагонетках. Он благополучно вышел из Секирного изолятора, проработал немного в качестве «вريدло» и теперь перешел на кирпичный завод. Наши постели были рядом. Невдалеке помещались Иван Александрович Офросимов и рядом с ним кавалерист и яркий лошадиник Осоргин. Иногда к ним приходил плотный, немного выше среднего роста, моряк с длинными рыжими усами и серыми глазами. Он обычно садился на топчан Офросимова и они говорили по-французски.

— Кто это, Иван Александрович?

— Моряк. Адмирал. Из Кремля.

— Что нового в Кремле?

— На Соловки ждут Максима Горького.

Горький... Певец «Буревестника», вот этот самый Горький, носитель «общественных идеалов» — едет сюда, в юдоль отчаяния! Мы радостно встретили это известие, радостно сообщали друг другу о своих воскресших надеждах на избавление. Певец «Буревестника», конечно, заклеит палачей и скажет свое веское слово за нас, угнетаемых и истребляемых палачами. Горький не кто-нибудь, он босяк, его не проведешь на туфте, он все увидит, все обличит.

И вот — дождались.

* * *

Максим Горький появился у нас в самый разгар работы. Я в этот день занят был на откосе кирпича. Приостановился у сушильных навесов. Вижу: у дома зава, где бывает утренний развод, группа военных (чекистов), среди них высокая фигура:

— Максим Горький.

Группа подошла к дому и остановилась у «стенной газеты». Ее сфабриковал с нашей помощью, присланный из Кремля агент «культурно-воспитательной части» — «воспитатель». Соль этого номера стенной газеты заключалась в карикатуре юмористического отдела, иллюстрированного даровитым художником из заключенных. Рисунок изображал: бежит в больших попыхах «парашник» ¹¹¹ а на него спокойно смотрит зритель «заклученный». Подпись:

П а р а ш н и к. Горький приехал.

З р и т е л ь. На сколько лет и по какой статье?

Горький почитал газету и шутливо похлопал по плечу стоявшего рядом с ним чекиста.

Группа направилась к нам. Во главе шел один из злейших палачей русского народа, Глеб Бокий, постоянный инспектор Соловецкого лагеря, член коллегии ГПУ, отправивший на тот свет бесконечное количество русских людей. Там же в группе были: начальник лагеря Ногтев, его помощник Мартинелли и еще несколько второстепенных чекистов. Группу замыкали молодой Максим Пешков (сын М. Горького) с женой. Оба они были в кожаных куртках и имели веселый вид. Очевидно, экскурсия их забавляла.

Я с волнением ждал прихода Горького. Вот он уже близко. Жадно всматриваюсь в это лицо, изборожденное глубокими морщинами, в эти глаза, поглядывающие из под насупленных бровей:

— Вот он, вот босяк, познавший собственным опытом все житейские невзгоды. Его не надуют. Нет, он увидит и поймет наши невыносимые страдания! Он скажет свое слово. И уж, конечно, к его слову прислушиваются все: оно ведь звучит на весь мир. Не может

быть, чтобы он покрыл здешние злодеяния. Не может быть, чтобы его совесть промолчала при зрелище неслыханных преступлений, творимых чекистами. Неужели он закроет глаза и заткнет уши — не захочет видеть, не захочет слышать?

Горький поравнялся с нами и... прошел дальше немного развалистой походкой, покуривая и покашливая.

И все.

Даже ничего не спросил. Ни кто мы, ни какво работается. Посмотрел из под насупленных бровей и дальше.

Направился он по лесной дороге в Соловецкое пушное хозяйство. Здесь, в лесу на дороге его подстерег и перенял топограф Ризабелли. Он вышел из чащи неожиданно для чекистов и, уйдя с Горьким вперед, рассказал ему о многом, что творилось в лагере. Улучшив минуту Ризабелли опять юркнул в кусты. Воображал, что была, не была, но он сделал свое смелое дело: открыл Горькому глаза на Соловецкую правду и предостерег его от чекистской туфты.

Горький посетил на главном острове все места, где работали заключенные, побывал всюду за исключением рабочих рот, то есть, как раз дна лагерной жизни. Был показан Горькому даже Секирный изолятор. Здесь была загнута туфта по всем правилам чекистского непревзойденного искусства. Подлинные заключенные Секирного изолятора были заранее переведены за шесть километров на Амбарную (скит на островах на Амбарном озере). Вместо них сидело шестеро переодетых чекистов. Горький застал их благодушно читающими газеты. Не тюрьма, а читальня, не застенок, а клуб.

На электростанции начальник её, инженер из заключенных, не убоясь чекистов, обратился к Горькому в присутствии их со слезами, умоляя о защите. И еще шесть заключенных, один за другим, находили случай проникать к Горькому, чтобы осветить перед ним с возможной полнотой, творящиеся в Соловках чекистские преступления. Так что туфта туфтой, но Горький всю правду видел и был осведомлен обо всем.

Туфта же, конечно, усердствовала во всю. Ровно в двенадцать часов был дан с электростанции гудок: впервые со дня основания лагеря. За гудком последовал двухчасовой отдых: это уже совсем неслыханно и из ряда вон выходило. Несколько дней прожил Горький на Соловках в удобном хуторе Горки, и во все эти несколько дней мы имели двухчасовой обеденный отдых.

Ага — думаем, вот оно что. Новым ветром повеяло. Вот оно уже сказывается человеколюбивое влияние пронизательного босяка, которого туфтою не проведешь, потому что он сам все испытал на своей собственной шкуре... Новых порядков надо ждать... Новые дни идут...

И они пришли, эти новые дни. Две недели спустя, мы прочли в «Известиях» хвалебную статью Максима Горького о политике ГПУ, с защитой смертной казни. Он объявлял естественным и законным «уничтожение классовых врагов»: меч пролетариата, то есть ГПУ, должен, дескать, прокладывать дорогу будущему.

А мы, как были, так и остались «удобрением для коммунистических посевов». И больше никаких льготных гудков, никаких двухчасовых отдыхов. Получили еще урок, еще одно подтверждение нашей обреченности.

И опять потянулись унылые дни без просвета, без надежды на избавление, без надежды когда-нибудь увидеть близких.

Только в снах я вижу милые глаза
Милых рук ищу прикосновенья...
Нет в тоске минутного забвенья
И мгновенья стали как года.
Нет надежды, тяжело от тоски.
Пред очами глушь, болота и леса
И труду и горю нет конца.
Соловки, кровавый остров Соловки!
Отскрипят тоскливо крики чаек
В Кремль опять вселится воронье.
В дни тоски лишь редкое письмо.
Тундру снегом ветер заметает.
Без конца, без края ночь немая.
Неизбывный тяжкий гнет тоски...
Соловки, кровавый остров Соловки!..
Неужели есть и жизнь иная?
Только в снах я вижу милые глаза.
Милых рук ищу прикосновенья.
Тяжко горе, нет ему забвенья.
Вспомни, вспомни в этот час меня.

[\[12\]](#)

VII. СОЛОВЕЦКИЙ ЗАГОВОР

1. ПЕРВЫЕ ВЕСТИ

— Вам посылка, — сказал мне как-то компаньон по бараку, бывший секирянин полковник Гзель.

Я пошел к начальнику командировки стрелку-украинцу... Этот мордатый парняга чрезвычайно любил воинское чиновничество. Я об этом узнал горьким опытом. Я имел неосторожность однажды придти и попроситься в кремлевскую библиотеку. Он меня обругал и почти выгнал.

— А вы бы подошли по-военному. Так мол и так, гражданин стрелок, — посоветовал мне один из старых рабочих кирпичного завода.

Я постучал в дверь. Минута молчания. Потом сердитый и презрительный окрик:

— Ну?

Я вошел и вытянулся по военному.

— В чем дело? — сказал стрелок, лежа в кровати.

Я попросился за посылкой, имея тайную надежду получить пропуск для следования без конвоя.

Стрелок нехотя встал, спросил фамилию, написал пропуск и молча вручил мне его.

Из Кремля я возвращался радостный: получил весточку от близких. У сельхоза неожиданно встречаю по-прежнему энергичного и размашистого Петрашко.

— Я, брат, выкарабкался, — весело сказал он, пожимая мне руку. — Теперь туфту заряжаем на сортоиспытательной станции.

Он посмотрел на мое бледное, осунувшееся лицо.

— Пора бы и вам выползть.

Мы шли мимо Святого озера в лесу. Рядом была закрытая полянка.

— Свернем сюда, — сказал Петрашко. — Я вам кое-что сообщу.

* * *

... Я возвращался на кирпичный завод совершенно ошеломленный новостью, боялся верить в близкое избавление. Лежа на топчане в недолгие часы отдыха, я старался осмыслить это новое. А что, если не удастся, если организация провалится? В моем воображении всплывало смеющееся лицо Петрашко, его презрительный тон:

— Этот курятник занять нам ничего не будет стоить. И среди стрелков есть наши.

Даже среди стрелков! Организация существует почти год. Почти год люди готовятся к решительному бою — к захвату острова!

В моем воображении встает эта картина. Падают чекистские оковы. Освобожденные Соловки котлом кипят. Мы захватываем суда и движемся на Кемь. Захватываем Кемский пересыльный пункт, завладеваем оружием и боевыми припасами и, под охраной своего отряда, отступаем в Финляндию.

Я вновь стал чувствовать бег тяжелых дней. И чем тяжелее было мне, тем ярче горела надежда на избавление. Теперь, при виде чекиста, я ощущал не тоску, не тяжесть на душе. Для меня он, этот нынешний хозяин моей жизни, могущий убить меня, стереть в порошок, — стал жалкой игрушкой грозно наплывающей, взволнованной стихии. Встанет сердитый вал и швырнет его как щепку в бездну небытия.

Через два месяца меня вызвали в УРЧ. Мрачный Малянтович взял мою учетную карточку, какие-то бумаги, задал мне несколько вопросов и, наконец, сказал:

— Завтра отправляйтесь без конвоя в пушхоз, в распоряжение Туомайнена.

Я вылетел пулей из прокуренного УРЧ'а и встретился с Петрашко.

— Куда?

— На кирпичный. Завтра перехожу в пушхоз.

Петрашко улыбнулся.

— Даже и из пушхоза никогда не закрыта дорога и на Секирную и на кирпичный и в шестнадцатую упокойную роту.

Мы посмотрели друг другу в глаза и обменялись крепким рукопожатием.

Петрашко вполголоса бросил:

— Скоро!

Я расстался с ним взволнованный и радостный.

2. СОЛОВЕЦКИЙ ПУШХОЗ

В непосредственной близости к каменной ламбе объединяющей Главный Соловецкий остров с островом Муксомским, находится неширокий пролив, ведущий в большое внутреннее море, врезавшееся в Соловецкий материк. Это внутреннее море — Глубокая губа усеяна множеством покрытых лесом островов и островков.

Глубокая губа, вдаваясь в материк, только на два километра не доходила до кирпичного завода. Здесь отделенная проливом метров в сорок шириной, раскинулась ближняя группа островов, прилегающих близко один к другому. Первые три — совсем маленькие каменные конусы, выдавшиеся из воды, поросли елями и мхом. Зато последующие восемь островов имели пространство от одного до девяти гектаров. На трех больших островах: Лисьем, Песцовом и Кроличьем расположена Соловецкая зооферма (пушхоз).

На зооферму можно было попасть или переправившись на лодке через пролив, или же с противоположного ему берега Глубокой губы от Варваринской часовни — также на лодке.

Белые ночи пошли на ущерб. Их бледный, словно подводный свет, заменили глухия сумерки надвигающейся осени. По берегам моря и на полянах колыхались пестрые травы, взлелеянные непрерывным полярным днем. Мы впятером плывем на лодке по беспокойным водам Глубокой губы. Я и молодой латыш-комсомолец Пильбаум едем в питомник пушных зверей в качестве пассажиров, трое рыбаков везут нас и очередной улов рыбы.

Нам предстояло проплыть два с половиной километра. Лодку изрядно покачивало. Я с удовольствием смотрел на пенящиеся волны и на живописные острова, встречавшиеся нам на пути. Все они поросли лесом и яркая зелень трав опоясывала их как бордюром. Впереди лодки в разных местах залива неожиданно появлялись массивные морские зайцы и изогнувшись над поверхностью воды дугой, с шумом ныряли в глубину. Они, очевидно, охотились на мелкую рыбу.

— Хорошие тут места, — сказал Пильбаум. — Я почти по всему острову бывал, но красивее этих мест не нашел.

— Давно вы в питомнике, — спросил я.

— Да я там, собственно, с зимы, только сперва работал не в питомнике, а был счетоводом у производителя строительных работ. Понравилось мнезвероводное дело, меня и перевели в питомник. Там житье совсем не такое, как в Кремле или даже в сельхозе.

— Я зимой возил туда кирпичи, — сказал я.

— Вы были «вридло»? Я не испытал этого удовольствия, хотя уже вторую трехлетку начал отбивать. Второй срок успел получить.

Пильбаум подробно ознакомил меня с питомником и со своими злочлениями. Я насторожился, узнав о них и невольно спрашивал себя — кто это? Очевидно, чекист. Близкий друг Пильбаума был секретарем Сталина. В то время, как я рассматривал вынутые Пильбаумом фотографии Сталина в группе с какими-то людьми, Пильбаум подробно рассказывал мне биографию каждого из них. Но я едва слушал его. Мною овладело тяжелое сомнение: что, если я попаду в среду чекистов? Во время восстания могут выйти осложнения. Что, если я не смогу присоединиться к восставшим?

Между тем Пильбаум уже принялся рассказывать о питомнике пушных зверей. Оказалось, что заведующий питомником финн Туомайнен, Карл Густавович, сам отсидел на Соловках три года и теперь, уже будучи вольным, остался служить по договору с ГПУ. Дело его не безинтересно — у финской коммунистической партии было два комитета: один работал в России, а другой в Финляндии. При изгнании коммунистов из Финляндии разогнан был и комитет финской компартии. Таким образом в России оказалось два финских комитета. Разумеется, один комитет не пожелал признать другого и все закончилось потасовкой и револьверной стрельбой с несколькими жертвами. Проигравшие битву комитетчики, вместе со своими приверженцами, в числе коих был и Туомайнен, очутились на Соловках:

— Карл Густавович в лагере не пошел в лагерную администрацию, как человек в прошлом партийный, а начал с самой скромной должности кучера у начальника лагеря Эйхманса. И вот как-то раз при разговоре с Эйхмансом, посоветовал ему заняться на Соловках разведением кошек на мех и собак на племя.

Я вспомнил: мне приходилось слышать про Соловецкий собачий питомник, существующий, вероятно, и по сию пору.

— Так вот, — рассказывает Пильбаум, — разведение кошек было прекращено, а Туомайнену поручено сначала разведение красных лисиц, а затем в Америке были приобретены черно-серебристые лисицы и основан настоящий промышленный питомник пушных зверей.

— Туомайнен и раньше занимался этим делом? — спросил я.

— Какое там. В Финляндии он был агентом паровой компании. Да тут с него знания звероводного дела никто и не требовал. Дали ему из СОК'а научного сотрудника Серебрякова, прислали заграничную, главным образом, американскую литературу по звероводству, он и принялся за работу. Теперь считается авторитетом в этом деле.

Лодка наша дошла до Сенокосного острова и сделала крутой поворот к двум соседним островам, соединенным временным мостом. Справа был расположен Песцовый остров с постройками, прятавшимися в чаще деревьев — слева — Лисий остров, с красивыми

новыми домами в шведском стиле, расположенными на пригорке, у довольно крутого спуска к пристани.

Чем ближе подходила наша лодка к островам, тем яснее нам было видно кипящую жизнь в этих заброшенных местах: шла горячая работа по постройке питомника.

На пристани Лисьего острова чернела группа людей.

— Нас уже ожидают, — пояснил Пильбаум. — Вот стоит в сторонке вдвоем с женой Полиной Андреевной сам Туомайнен.

Мы вышли на пристань. Туомайнен тотчас повел меня в крольчатник и по дороге сообщил:

— Не идет у нас дело с кроликами. Сам я в нем ничего не понимаю. Год тому назад получили мы из Германии сорок шесть штук шиншилловых кроликов и вот весь приплод за год почти начисто погиб.

В крольчатнике мы застали Михайловского и рабочего Самойлова. Здоровый и крепкий богатырь с поврежденным левым глазом, Самойлов совсем не походил на угнетенного соловчанина. Я обратил внимание на идеальную чистоту в крольчатнике и заметил, как Самойлов подбирал с полу даже каждую небольшую соринку, если она выпадала из клетки или была принесена случайно с обувью.

Меня удивило одно странное обстоятельство: кролики при нашем входе бросались к сетке (проволочной) клетки, некоторые даже ее царапали. Я раньше никогда не наблюдал такого явления и не знал, чему его приписать. Обычно кролик или лежит, или уходит вглубь клетки, если в крольчатник приходит кто-либо посторонний.

Мы стали осматривать животных. Состояние их было чрезвычайно скверным: они зажирили. Некоторое количество оставшихся в живых молодых кроликов имело самый жалкий вид: кривые рахитичные ноги, истощенный организм.

— С молодыми надо осторожно, — поясняет мне Самойлов, — как только прыгнет неладно, сейчас у него паралич зада.

Туомайнен ушел, оставив меня с Михайловским. Почтенный полковник повел меня по всему острову знакомить с хозяйством и в заключение показал комнату, где я буду жить вместе с другими работниками питомника, перезнакомил меня со всеми и на прощанье сказал:

— Если вам удастся поставить кролиководство на должную высоту, будете жить себе припеваючи, не почувствуете и каторги.

Я возвратился в крольчатник. Был уже полдень. Самойлов закончил уборку и теперь сидел в кухне крольчатника у окна.

— Когда приступаете к очередному кормлению? — спросил я.

— Вечером.

— Стало быть, кормите только два раза в день.

— Конечно, два раза. Да и чем их кормить днем? Сена они почти не едят, овса тоже. А вот вечером сварим им корм — тогда и поедят.

Я с любопытством смотрел на Самойлова — мистифицировать меня он что ли хочет? Однако, ведь крольчатник поручен мне, а Самойлов здесь только рабочий.

— Нус, посмотрим, что у нас за капризные кролики, — сказал я и взяв ведро с водой, стал усердно наливать воду в имеющиеся в каждой кроличьей клеткепосудины.

Кролики жадно пили. Самойлов, застыв в одной позе, выжидательно на меня смотрел. Я продолжал наливать воду и думал — почему в клетке только по одной посудине, когда полагается две — одна для корма (кормушка), а другая для питья (пойлушка)? Наконец, вода роздана и животные напились. Я беру ведро с овсом и начинаю его раздавать. Закончив эту процедуру и закрыв последнюю клетку, обращаюсь к до крайности удивленному Самойлову:

— Почему же они все так жадно едят овес?

В крольчатнике стоял хруст от жевания овса десятками челюстей. Животные с жадностью пожирали любимый корм.

Объяснялось же все это недоразумение чрезвычайно просто. Никакой научной литературы по кормлению кроликов вообще не существует. Имеются только любительские книги и брошюры, наполненные всякого рода советами и грубыми заблуждениями. Желая разводить кроликов, Соловецкий пушхоз за неимением специалистов по промышленному кролиководству, обратился к любительской литературе и угробил весь годовой приплод, приведя к тому же в негодность большую часть маточного стада. По идиотскому «совету» многих таких брошюр, пушхозцы не давали кроликам воды. Таков был результат кролиководства в масштабе маленького Соловецкого хозяйства. Что же началось, когда «строители социализма» точно так же вот, как здесь, принялись за кролиководство в масштабе планетарном? Провал был в этом деле тоже планетарный.

3. ЗАГОВОР ПРОВАЛИЛСЯ

Мы жили в мансарде над звериной кухней. Небольшие сени с крутой входной лестницей вели в первую комнату мансарды. Там помещались рыбаки и конюх Мико Лампинен — молодой финн, ругатель и хулиган. Во второй и последней комнате с выходящим прямо на море большим окном помещались мы с Пильбаумом, Самойлов и повар звериной кухни молодой серб Девчич, Иван Божо. Бедняга удрал в Россию от военной службы и получил здесь три года Соловков. Однако, он был не из робких и не падал духом.

В девять часов вечера, покончив работы в крольчатнике, я с Самойловым шел к себе в мансарду. Тропинка от крольчатника шла между редкими деревьями по пригорку, усеянному большими серыми камнями-валунами. Из вечернего полумрака яркий свет из окон звериной кухни выхватывал редкие деревья, валуны и часть переднего забора питомника.

Я иду мимо окон, жмурясь от света и поднимаюсь по лестнице.

В нашей комнате светло от электрической лампочки и тепло от кухонной печки нижнего этажа. На моей постели сидит прачка Маруся Блинова — воровка-рецидивистка.

Пильбаум тренькает на балалайке, а Лампинен рассказывает Марусе о своих подвигах, ни мало не заботясь о достоверности рассказываемого.

За работой в крольчатнике я забыл обо всем: о двенадцатой роте, о кирпичном, о неисходной тяжести жизни на дне. Теперь же, увидев эту мирную беседу, я не мог придти в себя от изумления. Мирная обстановка, присутствие женщины, пусть даже проститутки, казались мне чем-то нереальным. Я остановился на некоторое время у входа в комнату. Маруся молча подвинулась и уступила мне место.

— Как у вас с пайком? — обратился ко мне Пильбаум.

— Мне разрешили получать сухой паек.

— Тогда вам надо завтра отправляться в Кремль и постараться получить паек. Кажется, завтра собирается в Кремль Серебряков. Можете идти вместе.

В комнату быстро вошел одетый в бушлат молодой человек среднего роста, лет двадцати пяти, поздоровался со всеми и обратился ко мне и к Пильбауму.

— Карл Густавович просит вас на совещание по борьбе с эпизоотией у лисиц. Идемте вместе. Ах, мы, кажется, незнакомы?! Серебряков.

Я молча последовал за Серебряковым. В ярко освещенной комнате, за большим письменным столом, сидел Туомайнен. На мягком кожаном диване в небрежных позах сидели Михайловский и помощник Туомайнена Каплан.

Я скромно сел на стуле в уголке. Через некоторое время в комнату вошли двое практикантов: студент Перепелица и студентка Ковган. Оба они держались с комсомольской развязностью и разговаривали с Михайловским и Капланом, сидя на том же кожаном удобном диване.

— Вы, пожалуй, южанин? — обратился я к Перепелице. — Не из Краснодарского ли сельскохозяйственного института?

— Из него самого, — отозвался живо Перепелица. — А вы, должно, знаете кого из наших?

— Как же не знать? Настю Дроздову помните?

— Ну, еще бы, — вмешалась в разговор Ковган. — С ней работала Оксана.

— И Оксану знаю. Я в тех местах был землемером.

Комсомольцы засыпали меня вопросами и через полчаса мы уже были своими людьми.

Лишь только в комнату вошел дряхловатый на вид, седой ветеринарный врач из сельхоза Николай Федосеич Протопопов, Туомайнен отложил свою письменную работу и обратился к присутствующим:

— Сегодня будем рассматривать способы и средства борьбы с эпизоотией. Пало еще две взрослых лисицы.

— Еще две? — изумился Протопопов. — Но в таком случае их надо было бы вскрыть...

— они тут, в лаборатории, — сказал Туомайнен. Мы перешли в соседнюю комнату. Она была занята белыми шкафами, лабораторными приборами, склянками на полках. На белом столе молодая, миловидная женщина мыла посуду.

— Это Нелли — польская шпионка, — пояснил мне Пильбаум.

Нелли не обращала на нас никакого внимания и продолжала свою работу.

Началась долгая процедура вскрытия, а затем такие же долгие разговоры о мерах борьбы с заразой. Я сидел и думал о гибнущих и заживо гниющих в этих местах печали людях. К четвероногим проявляется столько забот, к гибнущим людям вообще не проявляется никакой заботы. Что-ж, коммунистический принцип целесообразности оправдывает это: люди могут принести вред коммунизму и их полагается безжалостно уничтожить, звери же только приносят коммунизму пользу своей ценной шкуркой, доставляющей ценную валюту, необходимую для мировой революции.

Только к двум часам ночи закончились разговоры, я в которых я усвоил только одно: лисицы дохнут от совершенно неизученной инфекции.

— Что нового в Кремле? — спросил у Протопопова Михайловский.

— Нового? Да, кажется, ничего особенного. Тифф начинается — это вы, наверное, знаете... Да, вот еще, спохватился ветеринар, продолжая пониженным голосом, — аресты начались среди заключённых.

Михайловский даже отшатнулся. По его побледневшему лицу я понял — произошло что-то важное. Неужели? Я сразу вспомнил про заговор и у меня сжалось сердце. Неужели открыт заговор?

В мансарде нашей все уже спали. Я выключил лампочку и лег в постель. Какое-то безразличие овладело мною. Смотря невидящими глазами в сумрак, я почувствовал, как волна отчаяния начала меня заливать. Тоска и тяжелая скорбь овладели мною постепенно и я готов был биться головой об стену, с трудом удерживал себя, чтобы не вскочить с постели и не побежать в сумрак ночи. Гаснет последняя надежда на избавление... Может быть теперь придется испытать последнюю, самую горькую чашу испытаний — бесславно пасть от пули чекиста.

* * *

Лампинен отвез меня и Серебрякова на Ближний залив. От него шла лесная тропинка, выводящая прямо к сортоиспытательной станции.

Мы идем по тропинке. Серебряков, жестикулируя и пришепетывая на английский манер, продолжал начатый разговор:

— Да, вы правы, раскол в Православной Церкви велик. Представьте себе даже здесь иерархи раскололись на две партии. Одна партия группируется вокруг митрополита Петра Крутицкого, а другая, сергиевцы, признает митрополита Сергия и его политику правильной. Политика митрополита Петра, как вы знаете, характеризуется непримиримостью к советской власти, к её насилиям над Церковью.

— Насколько я знаю, большинство высших иерархов изолировано на острове Анзер?

— Да, — с грустью сказал Серебряков, — первоначально думали, что изоляция митрополита Петра и его сторонников на острове Анзер являлась обычной лагерной мерой, но теперь убедились, что это мера не административная. Очевидно, об изоляции есть приказ из Москвы. Всего изолировано тридцать иерархов православных и католических. Впрочем, католиков всего несколько человек. Вероятно, борьба с Церковью вступает в новую, решительную фазу. И вот это прежде всего отразилось на высших иерархах. В последний раз в этом году они совершили пасхальную утреню. На литургию им не разрешили остаться.

— Вы были на этой утрене? — спросил я Серебрякова, зная его как человека попавшего на Соловки, главным образом, за свою религиозность.

— Был. Служил митрополит Петр в сослужении двенадцати других иерархов. Торжественная была служба. Запас риз в ризнице церкви был небольшой и пришлось монахам несколько риз сшить из мешков. Незабываемая была служба. Трудно о ней и рассказать обычными людскими словами. В церкви небольшая кучка монахов, два-три серых бушлата. Крестный ход вокруг церкви без колокольного звона и соловецкое особое пение на древний образец, вызывали у всех слезы. Здесь, в монастыре, и поют и читают на свой особый лад. На древне — русский лад. Еще бы, пятисотлетние традиции. И заметьте — иерархи отправляют службу также — именно на этот старинный лад. Помните поговорку — со своим уставом в чужой монастырь не суйся. Это, оказывается, не пустые слова. И вот от этого особого лада соловецкая служба получается особая, проникновенная.

Мы вышли на полянку, пестреющую желтыми болотными цветами и лютиками. Был ясный, солнечный день. На душе у меня было смутно и тревожно.

Серебряков рассказал свою историю, про свои скитания по тюрьмам, о соловецкой жизни первых лет.

Странна судьба этого человека. Отец его, русский эмигрант старого времени, английский моряк, мать еврейка, получающая от советского правительства пенсию, как активная участница народовольческого движения. Сам же он глубоко религиозный, православный, сидящий здесь за свое православие и за борьбу с коммунизмом. До семнадцати лет он жил в Англии и, конечно, в совершенстве знает английский язык. С рассказов о себе он перешел на религиозные темы.

— Удивительные люди встречаются здесь, среди монахов и духовенства, — задумчиво говорил Серебряков. — Такой глубокой веры, такого проникновения её в человека мне никогда не приходилось встречать.

— Неужели здесь сохранились подвижники вроде старцев молчальников — удивляюсь я.

— Старцы молчальники, — продолжает по-прежнему Серебряков, — обет молчальный — вышли он обета остаться чистым в царстве сатаны, каким вот и является наш лагерь?

Кругом только зло. И вот сохранить в сердце своем великий светильник любви и чистой веры — вот подвиг, значительно больший, чем подвиг молчальника.

— И здесь есть такие подвижники?

— Конечно, есть. Вот, между прочим, часто говорят о ханжестве монахов и затворников. Они, эти подвижники, считают всегда себя грешными и недостойными людьми, несмотря на свои труды для спасения души — неустанную молитву и добрые дела. Они не устают каяться и унижаться. Вот это их поведение и считается за ханжество. А между тем, разумеется, такое осуждение старцев неправильно.

— Конечно, такое осуждение поверхностно, — сказал я. — Вообще, путь человека от знания к невежеству примерно одинаков: чем больше знаний, тем ярче выступает наше невежество. Вероятно, так же при накоплении религиозного опыта у прогрессирующего по этому пути человека растет сознание своей греховности.

— Совершенно верно, — обрадовался Серебряков. — Представьте себе грязное стекло. Если туда прибавить каплю грязи — её и не увидишь. Очистите это стекло — и та же самая капля на чистом стекле будет кричать о себе.

Тропинка вынырнула из леса как раз около сортоиспытательной станции. Я распростился с Серебряковым и зашел к Петрашко. Он с мрачным видом занимался какими то семянными пакетиками. Ему помогал рабочий Попов — отец одиннадцати детей. Я вопросительно взглянул на Петрашко. Он меня понял.

— Не стесняйтесь, Попов наш человек. Только дело наше оборачивается, кажется, совсем скверно.

Он швырнул куда-то бывший у него в руках пакетик и сел на табурет. Я продолжал молчать, пораженный подтверждением Петрашко о провале заговора.

— Вы не беспокойтесь: про нашу связь знаем только я, да Попов. Умереть мы сумеем. Цену признаний мы ведь знаем.

Он нервно свернул махорочную папиросу я, закурив, продолжал:

— Выступление должно было произойти по прибытии «Новых Соловков» и «Глеба Бокия». Неделю тому назад у пристани были оба судна и даже еще «Нева» с баржей «Кларой». И как раз начались за несколько часов до выступления аресты.

Что произошло — Петрашко не знал. Арестованными оказались большая часть главарей заговора и их ближайшие сподвижники.

— Что же вы думаете предпринять? — спросил я.

— Что предпримешь, когда все входы и выходы заняты, — отвечал Петрашко, пожимая плечами, — мы в западне.

Совершенно убитый ушел я от него. По дороге в Кремль я догнал Александра Ивановича Демина. Почтенный толстовец шел, поглядывая и на партии изможденных рабочих, и на встречаемых чекистов одинаково спокойным взглядом. Мне даже стало досадно на это олимпийское спокойствие.

— Зло всегда порождает зло. Из зла добра не вырастет, — твердит Александр Иванович. — Все образуется, все пройдет.

— Очень будет жаль, — сказал я, — если нам не придется дожить до счастливых времен, когда все пройдет. Интересно бы, все таки, и самому помочь этому процессу. Ведь под лежащий камень вода не течет.

— Эх, вы, помогальщики, — с укором возразил Александр Иванович. — Ну, представьте себе — начали бы вы помогать — ну, хоть бы восстанием, что ли. Наставили бы вы револьвер на человека. А он бы вам: — да что вы, Семен Васильевич, ведь нас заставляли, нам выхода не было иного. — И вы бы стали стрелять?

Я опустил голову и ничего не ответил. А Александр Иванович продолжал:

— Другое дело — какой-нибудь пьяный матрос. Он и разговаривать не станет. — Даешь — и ббах. Какие там с ним разговоры.

— Эх, Александр Иванович, — сказал я, — а ведь большевики правильно вам десятку прилепили. Вы бы и большевиков стали развращать своей пропагандой.

Он грустно улыбается на мою шутку.

— Слово — вот самое сильное оружие, мысль — вот неотразимый удар.

В Кремле я узнал еще новость: произошел необыкновенный побег. Инструктор физкультуры Доминадзе, скаут мастер Шепчинский и племянник Калинина Инокентий Кожевников — втроем бежали при весьма странных обстоятельствах. Накануне побега Кожевников послал в Соловецкую типографию для напечатания манифест. Он начинался так:

— Мы, Инокентий первый, император всероссийский и прочая и прочая. Далее шел бред: бессвязные слова, восклицания...

Через несколько дней Доминадзе вернулся. Его заключили в Секирный изолятор. Кожевникова поймали в лесу и как ненормального, вывезли на материк, надо полагать — в больницу для душевно больных. Последнего, Шепчинского — застигла в лесу партия рабочих — шпаны. Они на него неожиданно набросились с топорами, с дрекольем и жестоко избили. Теперь он лежал в больнице. Можно предположить, что беглецы участвовали в заговоре и бежали при первом известии о провале заговора. По Соловкам поползли зловещие слухи. Заключенных арестовывали десятками. В Кремле особый изолятор был переполнен. Уныние и тоска нависли над островом слез.

4. ДНИ СКОРБИ

Дни приходят и уходят, а вместе с ними приходит и уходит довлеющая ими злоба. Если бы не эта довлеющая злоба дня, занимающая нас целиком и полностью — чем бы было жить в этих местах ужаса и отчаяния? Идут дни, меркнет ушедшее и довлеющая злоба засыпает пеплом забвения прошедшее, оставляя в сердце боль и тоску.

Уже в начале зимы, запасшись хорошей котомкой, отправился я в Кремль за получением сухого пайка. Чем ближе я подходил к Кремлю, тем яснее чувствовал приближение к гнезду отвратительного паука, сосущего нашу кровь и дурманящего нас ядом тоски и

отчаяния. Встречные команды измученных людей брели, как и всегда, покорно и равнодушно. Ни одного не только улыбающегося лица, но даже просто не тоскливого.

В Кремле обычная, еще более жуткая жизнь для отвыкшего от этих стен человека. Ведь я теперь — глубокая провинция и «город» меня, отвыкшего от его воздуха, ошеломляет своей, как будто живущей тут всюду, тоской.

В хвосте за сухим пайком я встречаю несколько знакомых по Новороссийской тюрьме. Сокамерник, ярый самостийник Голота рассказывает про свою семью, показывает недавно полученную карточку жены — миловидной украинки, маленькой дочки Одарки.

— У вас через год срок кончается, кажется?

— Через два, — вздыхает Голота.

Он еще рассказывает всякие пустяки про свою веселую дочку, показывает свои рисунки. Их он намерен послать домой. На лице его такая радость и восторг. Он прячет где-то у себя на груди заветные письма.

Осенью я встретил Голоту недалеко от могилы Кудеяра. Он шел понурый и туманный.

— Голота, ну, что пишет жена, как здоровье дочки?

Он посмотрел на меня печально и едва слышно сказал:

— Уже больше не пишут: жена вышла за другого.

Наконец, я добрался до прилавка, где производилась выдача. Этим делом были заняты священник и два монаха. Вообще, в первые годы «соловецкой истории» на всех местах, где требовалась от рабочего честность, где имели дело с материальными ценностями, работали священники. Впоследствии их сменили в лагерях евреи.

Священник нашел в списке мою фамилию и начал награждать меня соленым мясом, соленой рыбой, картофелем, луком, свеклой, морковью, мукой для заправки супов, маслом, крупой и сахаром.

Нагрузившись продуктами, я медленно возвращался обратно. Около сельхоза меня уже поджидал Серебряков.

— Придется обождать, — встретил он меня, — я везу в питомник груз и сельхоз нам даст через час лошадь.

Это было для меня очень кстати. Между тем раздался сигнальный свисток на поверку. Мы вошли на общий сельхозский двор.

— Здесь на дворе будет поверка вновь прибывших, — сказал Серебряков.

— Каких вновь прибывших?

— Разве вы не знаете? Соловки буквально наводняются новыми этапами; Кремль полон людьми. Посмотрели бы вы что творится в двенадцатой и тринадцатой ротах. Видите здесь новые конюшни? В них загнано около тысячи человек, прибывших вчера.

Новые конюшни замыкали всю восточную сторону сельхозского двора, они были выстроены этим летом.

Двери конюшни открылись и оттуда начали выходить на поверку новые для Соловков люди. Я пытаюсь издали рассмотреть их лица — не встречу ли знакомых или близких. Вышедшие между тем выстраивались прямоугольным четырехугольником. По их поношенной арестантской одежде, изможденным лицам, я догадался — это, вероятно, с лесозаготовок на материке. Так оно и оказалось впоследствии, хотя между старыми каторжанами попадались и свежие люди, еще не вкусившие каторжной жизни.

Кажется, появляется тиф. Люди набиты как сельдги в бочке. Утром из этой конюшни, когда все выйдут на поверку, вынимают пять, шесть, а иногда и больше мертвецов. Трудно установить даже фамилии умерших. Люди прибывают с разных сторон и друг друга не знают.

— Но ведь если это тиф, тогда половина Соловков вымрет, — сказал я.

Серебряков пожал плечами.

— Мы присланы сюда на уничтожение. Этого от нас никто не скрывает.

Уже совсем стемнело, когда живая змея из людей опять поползла в большую конюшню. Наконец, мы отправились в питомник. По дороге, перед сортоиспытательной станцией, нам встретились три темных фигуры. Я скорее угадал, чем узнал в средней фигуре Петрашко. По бокам его шли два охранника, вооруженные винтовками.

* * *

Я принял крольчатник в совершенно разгромленном виде: животные испорчены, больны самой скверной кроличьей болезнью лептоспирозом (насморк), помещения для них совершенно не подходящи и вдобавок они сидели исключительно на сухом корме, не получая зеленки. Данный мне в помощь Самойлов в сущности ничего не делал. Он целыми днями сидел у окна кроличьей кухни и повторял одно и то же:

— Десять лет... Десять лет...

Был он из «красных купцов» и верил в коммунистическую законность.

Пришлось мне на себя взвалить огромную работу: приспособить кроличьи клетки и помещения для правильного хозяйства, перевести кроликов на зеленый корм. Вот за этим зеленым кормом я ездил сам на маленькой лодке-душегубке по зеленым островам.

В первый раз, очутившись один на зеленом острове, я едва мог приняться за работу по сбору трав — до того меня опьянили новые ощущения свободы, сознание, что власть чекистов осталась где-то там, в Кремле и я здесь один и предоставлен самому себе. Но среди этих ощущений внезапно меня охватывала тоска, вспоминались погибающие где-то там, в чекистском вертепе соратники. Самое скверное в этих ощущениях, конечно, было бессилие что либо сделать для спасения их и себя.

Возвратившись в крольчатник, я с особым усердием принимался за работу, желая потушить острую сердечную боль. Впрочем — в конце концов опять в глубине сердца рождалась надежда на будущее: авось, все это кончится более или менее благополучно.

Как-то вскоре в крольчатник зашел Михайловский. Посмотрев на мои кустарные сооружения для молодняка прямо на полу крольчатника, на животных в клетках, он выразил свое удивление:

— Вот сразу видно — по хозяйски все делается. И животные другими стали, ни одно к сетке не подходит.

— Вы им совершенно не давали воды, ограничиваясь только корнеплодами, оттого они у вас на сетку и лезли, — заметил я.

Вставал я в шесть утра, шел в крольчатник, доил трех коз «прикомандированных к крольчатнику», кормил и поил кроликов, а затем уже принимался сам за традиционное чаепитие. Все в крольчатнике было приспособлено для работы весьма плохо, и приходилось мне кустарничать.

Крольчатник быстро поправлялся. Молодые, до меня вымиравшие, кролики перестали падать, молодняк, мною захваченный и поправленный, стал совсем хорошим. Мрачный Туомайнен заходил иногда в крольчатник и с большим удовольствием смотрел на мою работу. Увидав первые полученные мною и выкормленные до двухмесячного возраста отличных кроликов, даже и Туомайнен не удержался от похвалы:

— Вот это я понимаю, это кролики.

Так шли дни здесь на этом участке жизни, отделенном от юдоли слез и отчаяния. Что оставалось нам в нашем положении? Конечно, только ждать, когда же петля вокруг нашей шеи будет затянута.

Молодой серб Божо, заведующий звериной кухней и продуктами продовольствия для животных, заходил иногда ко мне и мы проводили с полчаса-час в беседе с глазу на глаз. У него, стоящего близко к дому директора, можно было не только узнать о происходящем в ротах Кремля и острова, но и на правящих верхах. В то время правящая головка совсем не подходила на жуирующих чекистов: чекисты лицом к лицу столкнулись с опасностью быть сметенными с лица земли. Они то ведь знали свое окаянство, как знали о своей участи, если бы в руки восставших перешла власть на острове.

Божо рассказывает:

— Тревога в Кремле ужасная. Все чекисты и охрана на осадном положении: всегда одеты, всегда готовы выступить по тревоге... И, очевидно, есть от чего.

Еще-бы! Палачи привыкли иметь дело с бутафорскими делами, ими же самими сочиненными, привыкли иметь дело с людьми морально убитыми подвально-концлагерной системой. Здесь же нашлись люди, сохранившие не только свое лицо, но и волю к борьбе.

Божо заметил мое состояние и, вероятно, почувствовал мою связь с заговорщиками. Он старался отвлечь мои мысли о соловецком несчастье, рассказывая о Югославии.

— Жаль вот обратный путь закрыт мне на родину. Согласен бы какое угодно наказание принять за свое дезертирство. Да, разве у нас такие законы? Здесь за пустяки смертная казнь. У нас за подобные преступления только тюрьма или наказание в порядке административном.

— Что же вас заставило бежать в Россию?

— Ведь я же представлял себе Россию совсем по-другому. Сколько труда было перебраться через границы. Здесь, после перехода границы я попал прямо в подвал. Первым делом мне предложили подать заявление о приеме в советское подданство. Конечно, я подал заявление и немедленно и без всяких формальностей таковое получил.

— Не завидую, — сказал я. — Однако, неужели у вас в Югославии нет настоящих сведений о Советском союзе, о коминтерне.

Подпольная агитация имеет у нас большой успех в распространении коммунистических идей. Нас просто коминтерн обманывал. Теперь вот на практике я испытал и вижу в деле коммунистические идеи. Так ведь меня на родину не пустят.

— А если попытаться нелегально пробраться?

Божо безнадежно машет рукой.

— И пытаться не буду. В лучшем случае опять в лагерь попадешь. Вот вам пример: заговорщики пытались — что из этого вышло? Ведь их ждет поголовный расстрел.

Божо взглянув на мое побледневшее лицо, спохватился, что-то пробормотав, пожал мне руку на прощанье и ушел в темноту ноябрьской ночи.

* * *

В кухню крольчатника вошел крепкий человек среднего роста, одетый в бушлат, стеганые арестантские штаны и «вольную» шапку. Я мельком на него взглянул и, продолжая работать, спросил, что собственно нужно пришедшему.

— Неужели не узнаете?

Я бросил работу и начал трясти в радостном приветствии руку пришедшего.

— Найденов, да как это вы сюда пробрались в такие захолустья?

Найденсв смеется.

— Я же вам говорил — записался плотником. Вот теперь строю здешний питомник. Я, собственно, и помещаюсь тут у вас над крольчатником. Сегодня только от письмоносца Пярых узнал о вашем здесь присутствии.

— Давно из Кремля?

— Всего несколько дней.

— Что там нового?

Найденов нахмурился и посмотрел на меня испытующим взглядом.

— Новости паршивые, — медленно начал он. — Аресты. Люди исчезают неизвестно куда. Хотя, кажется, теперь уже недели две как аресты прекратились. А у вас здесь арестов нет?

Я пожал плечами.

— Пока нет.

— Я думаю больше арестов не будет, — сказал Найденов.

— В чем же тут дело? — нерешительно спросил я. — Какие там слухи.

Найденов усмехнулся.

— Слухи, конечно, разные. Если их распускает ИСО, так они говорят о предстоящей общей расправе с заключенными вообще.

Помолчав, Найденов сказал:

— Мне Матушкин рекомендует вас как совершенно надежного человека, поэтому не будем играть в прятки. Как вы, конечно, знаете, провалился соловецкий заговор. Чем все это кончится — неизвестно. Однако, как оказалось — заговорщики народ стойкий и едва ли кого выдадут. Знают то ведь о загозоре всекаэровские Соловки.

Конечно, Найденов был прав. По угнетенному виду многих моих знакомых соловчан я угадывал об их причастности к заговору. И вот, несмотря на это, он все же остался для чекистов тайной до пустякового случая, провалившегося заговорщиков.

Мы еще с полчаса разговаривали с Найденовым с глазу на глаз.

Прощаясь со мной, он говорил:

— Вот здесь благодатное местечко. И даже лодки есть. Дело не плохое для следования одиночным порядком без ведома начальства.

* * *

Двадцать второго ноября 1929 года уже под вечер я шел в Кремль в пятнадцатую роту с поручением. Голые скошенные поляны, унылый скрипучий лес навевал тоску и давил сердце. Я торопился выйти из лесу и попасть за светлом в сельхоз к Матушкину.

Вот и сортоиспытательная. При виде домика, где жил Петрашко, я с тоской подумал о грозящей ему участи. Ведь если я жив и даже иду сейчас как некий свободный гражданин, без конвоя, то только по его благородству и мужеству.

На широкой долине от сортоиспытательной до Кремля гуляет ветер, гудит в телефонных проводах и гонит одиночные листья. Уже темнеет. В Кремле и во всех зданиях сельхоза горит электричество. Я иду в густеющей темноте как очарованный, не обращая внимания на пронизывающий холод, направляюсь к свету.

В общежитии сельхозских рабочих Матушкин отводит меня в сторону.

— Сегодня наши погибают, — шепчет он.

— Все? — едва мог выговорить я помертвевшими губами.

— Все.

Я не помню как выбрался на широкий сельхозский двор. Холодный ветер по-прежнему гудел в проводах, по-прежнему во мраке полярной ночи блистали освещенные окна. Я брел в Кремль как автомат...

На электростанции завыл сигнальный свисток. Мне нужно было пробираться обратно. Я вышел из пятнадцатой роты, направляясь к Северным воротам.

— Куда?! — окрик сзади.

Я оглянулся. Меня догонял чекистский патруль.

— Вернуться немедленно в роту! Пробую протестовать:

— Я из пушхоза. Мне нужно вернуться в пушхоз.

— Без разговоров! — кричит чекист.

Иду обратно в пятнадцатую. Только к полуночи удалось мне выбраться из Кремля и опять найти Матушкина. Взволнованный и нервный, правдист рассказывает:

— Чекисты заняли все входы и через Святые ворота вывели шестьдесят три заговорщика, приговоренных к смерти. Конечно, в этой группе были Петрашко, Чеховской, профессор Покровский, скауты и моряки.

— Недавно возвратилась подвода с Секирной горы, — продолжал Матушкин. — подводчика вызвала охрана. Повез он по Секирной дороге двух стрелков. Доезжают до раздорожья на Савватьево и вдруг лошадь как шарахнет. Стрелки вскочили и швырнули на воз три трупа, валявшихся на дороге. Убитые шли с большой партией еще нерасстрелянных заговорщиков на Секирную. Их, очевидно, убили пьяные чекисты.

Измученный переживаниями, пришел я на унылый, пустынный берег ближнего залива. В темноте у ног моих шумит прибой. Я пробую продвинуться к берегу и попадаю ногою на скользкий камень и, поскользнувшись, сажусь на влажную землю.

Море шумит. Я не могу овладеть током мыслей, стремящихся помимо моей воли все туда же — к месту гибели друзей, не могу стряхнуть с себя невыразимой тоски. На глазах закипают слезы.

Поднимаюсь с земли и медленно иду, запинаясь в темноте о валуны. Мне нужно идти пять километров до дежурного перевоза. Тропинка то и дело выскальзывает у меня из-под ног. Я стараюсь найти ее снова, скользя по камням, натыкаюсь на лапы молчаливых елей, падаю, поднимаюсь и иду опять.

Наконец, начал сереть восток и между елями стали просвечивать воды морского залива. Вот и перевоз. Я усталый валунось под прибрежную ель и лежу молча, будучи не в силах даже крикнуть перевозчику.

5. ТИФ

Наступил январь 1930 года, а навигация все еще не прекращалась. На Соловки прибывал этап за этапом и население соловецкого четвертого отделения достигло небывалой цифры — двадцать пять тысяч человек. Шла коллективизация и потоки заключенных — кулаков и подкулаков заливали и лагерь и места ссылки.

Тиф начал свирепствовать по-настоящему и официальные лагерные приказы сопровождалось длинными списками умерших от тифа, исключаемых по этому случаю с довольствия. Эти лагерные приказы рассылались по всем командировкам острова, в том числе и в наше звероводное хозяйство. Попадали они обычно в руки начальников охраны и являлись документами секретными. Но у нас не было охранника и потому приказы попадали в контору, то есть к нам в руки. Благодаря этому мы могли следить за лагерной жизнью по документам, а не по слухам.

В приказе от двадцать третьего ноября 1929 года значились умершими от тифа в числе других группа в шестьдесят три человека. Каково же было мое удивление, когда в списке этом я обнаружил фамилии Петрашко, Покровского, Чеховского, расстрелянных моряков. Стало быть, они были расстреляны без приговора, без санкции Москвы. Это обстоятельство свидетельствовало о крайнем перепуге островных чекистов соловецким заговором. Приговор, как оказалось, пришел из Москвы потом и остальные сто сорок заговорщиков были расстреляны на Секиряной горе, так сказать, «на законном основании».

Вначале января архиепископ Илларион, пробывший на Соловках шесть лет, был отправлен в Москву в одном вагоне со вшивой тифозной шпаной по дороге он заразился тифом и умер в тюремной больнице имени доктора Гааза... У владыки было слабое сердце. Температура тела у него иногда падала до тридцати пяти градусов с дробью. На Соловках вообще почему-то температура тела у людей несколько ниже нормальной.

В Кремле творился ужас. Все свободные помещения превращены в лазареты. Никольский корпус за Кремлем так же был набит битком тифозными. Люди лежали на нарах, по полу, в проходах — плечом к плечу. Индивидуального ухода за больными не было и не могло быть по громадному количеству больных. Если сердце здоровое — человек выживал, если нет — умирал. Весь уход заключался только в кормежке и уборке. Все остальное предоставлено «целительным силам организма». Вырвавшихся из когтей смерти, слабых, едва держащихся на ногах, отправляли в команды выздоравливающих и многие гибли там от невыносимо тяжелых условий существования. К весне, по официальным данным, погибло от тифа семь с половиною тысяч человек. Кемперпункт и его командировки дали одиннадцать с половиною тысяч умерших от тифа.

Туомайнену для питомника выслали из Кемперпункта ветеринарного врача Чиж. По расчету он давно бы должен был прибыть в питомник, но человек где-то затерялся. Туомайнен деятельно его разыскивал через УРЧ и никак не мог найти.

— Да вы справьтесь — не в сельхозской ли он конюшне? — посоветовал Туомайнену Михайловский.

Это был не плохой совет. Через день ветеринарного врача действительно нашли в сельхозской конюшне и привезли в питомник.

Средних лет, мягкий, стеснительный, Чиж производил впечатление человека, прошедшего мимо революции и и не бывшего в лапах ГПУ. Благодаря своей мягкости и стеснительности он и попал в конюшню и жил там без малого неделю со шпаной. При отправке из Кеми ему дали документ для следования без конвоя. Он должен был при посадке на пароход идти в классное помещение. Вместо того, он, по скромности, не заявил о себе и попал в трюм со шпаной и идущими в первый раз в Соловки. С этой волной он и заброшен был в конюшню. Выбраться же оттуда без посторонней помощи невозможно. Раз попал на дно — там и будешь, пока кто-либо не вытянет.

Чиж деятельно принялся за работу. Лисицы дохли и нужно было принимать срочные меры. Он совсем почти не бывал у себя в новом доме на Песцовом острове и проводил все время с больными лисицам. За обедом не удавалось с ним переговорить. Он махал рукой на расспросы о конюшне и считал себя счастливым, что избежал заражения тифом.

— Мне этой роскоши позволить себе нельзя, — шутил Чиж. — У меня сердце не выдержит: я обречен на смерть.

Через несколько дней он как будто начал прихварывать, в глазах появился лихорадочный блеск.

— Измеряйте хоть температуру себе, — советует Михайловский.

Чиж только рукой машет:

— Пустяки, простуда. Пройдет.

И продолжал работать явно перемогаясь.

На другой день он все же слег. Но ни высокая температура, ни потрясающий озноб не могли уверить его в заражении тифом. Даже видя тифозную сыпь, он говорил:

— Это может быть и от других причин.

Через несколько дней тиф унес его в могилу.

* * *

Наша командировка также была объявлена неблагополучной по тифу и по сему случаю на наши острова прислали в качестве начальника командировки чекиста Прорехина.

Этот высокий, нескладный дубина сейчас же создал вокруг себя чекистско-сексотское окружение. Появились в большом количестве сексоты, среди рабочих и служащих появились склочные вспышки. Прорехин навел сразу чекистский порядок и заставил всех вспомнить, кто они и где они. Туомайнен с большим трудом убедил его не производить проверок, ибо это плохо отражалось на работе и противно режиму питомника.

Вскоре заболел тифом Серебряков. Его положили в Никольский корпус. По ходатайству Туомайнена за ним учредили индивидуальный уход. Через полтора месяца он явился на питомник худым и бледным. На расспросы только отвечал:

— Что там рассказывать? — Лежал в какой-то мертвецкой. Кругом трупы. Сегодня принесут — завтра уже труп.

Как-то вечером проходя мимо поленниц дров, я заметил незнакомого человека, колотившего дрова. Я остановился. Незнакомец с трудом распрямил спину и, увидев меня, издал радостное восклицание.

Я подошел ближе. Вот неожиданность: передо мною американский комсомолец Оскар Павлович Гретенс. Он работал с нами на кирпичном заводе, где на моих глазах — чуть не погиб.

— Оскар Павлович. Да, это вы? Я, признаться, думал, что вас тогда на кирпичном на смерть раздавило вагонеткой, когда вы вшестером спускали ее под горку.

— Да, да, я был посредине. Компаньоны то мои бросили вагонетку, как только она стала напирать на нас и она меня, должно быть, пополам сложила. Я ведь не помню.

Да, вас всего окровавленного и без сознания отправили в лазарет. Я считал вас погибшим. Поздравляю с избавлением.

— Я тогда поправился, — сказал Гретенс, протягивая мне свою худую руку и улыбаясь бескровными губами. — Тиф перенес.

— Даже тиф. Это уже больше, чем удача. Честь и слава американской комсомолии.

Гретенс мрачно сдвинул брови. Я почувствовал, что попал на больное место и поспешил перевести разговор на другое.

— Как вы попали на питомник?

— От кустпрома ^[13]. Здесь нужно изготовить макет питомника, вот меня и прислали на эту работу. Планы и карты чертит топограф Ризабелли и инженер-архитектор Капустин.

— Ризабелли? Тот самый, что в жилет Горькому плакал?

— Она самый, — смеется Гретенс. — Теперь он прокликает Горького и не может равнодушно говорить о нем.

— Что же вы тут дрова колете? Разве в вашей комнате нет здоровых людей? У вас и сил еще нет.

— Теперь ничего, — храбрится Гретенс. — Вот в команде выздоравливающих было плохо совсем.

Он рассказал про свое полубредовое, полусознательное существование в землянке вместе с другими выздоравливающими. В общей цепи необыкновенных приключений американского комсомольца в России это, пожалуй, были самые жуткие картины.

Впоследствии Гретенс не возвратился в кустпром и сделался звероводом.

6. ПУШХОЗ ЗА РАБОТОЙ

Только в начале февраля закрылась навигация; замерзло море, начались настоящие холода и суда стали на зимовку.

Глубокий снег засыпал замерзшие болота, превратив их в белые равнины, ветры намели сугробы и сравняли овраги. Из питомника теперь можно было прямо по льду идти в Кремль по лыжне, протоптанной пешеходами и обращенной в тропинку.

На островах пушхоза продолжала кипеть деятельная работа. Обширный (на пятьсот пар) песцовый питомник был почти закончен, окончательно оборудован лисий и соболиный питомники, выстроено несколько домов, баня и оборудована и закончена звериная кухня.

Лисицы пересталидохнуть, и дело с их разведением пошло на лад. Был самый разгар лисьей «брачной кампании» или «гона», и звероводы питомника работали целыми днями то в самом питомнике, то на наблюдательной башне.

Ночью питомник имел совершенно фантастический вид. Закинутый среди снежных равнин замерзшего залива на глухие острова, он светился ночью огнями своих построек. Когда же наступал час кормежки — в самом питомнике вспыхивал электрический свет, нетерпеливые звери начинали беспокойно метаться по клеткам, некоторые из них бросались на сетку и издавали резкие звуки, похожие на лай. Потом свет также неожиданно исчезал, и звериные клетки погружались во мрак. Только окна построек продолжали светиться во тьме полярной ночи.

Дикие соболя, пойманные в Забайкальских лесах, уже привыкли к своим клеткам и быстрые, как мысль, то появлялись в одном углу своей домообразной, обтянутой сплошь проволочной сеткой, клетки, то в её противоположном конце. Вся соболиная клетка загромождена стволами деревьев, жердями, сучьями и прочей бутафорией лесного завала. По этому лабиринту соболю мчится с молниеносной скоростью и иногда бежит даже по сеточному потолку своей клетки вниз головой без всякого видимого затруднения. У каждого соболя своя клетка. Оставленные вместе в одной клетке соболя могут уничтожить друг друга. Первые приплоды от соболей были получены в Соловецком питомнике от двух соболюшек в апреле 1930 года.

На Соловецкие острова монахами были завезены в стародавние времена олени. С течением времени они измельчали вследствие вырождения, и величина их не превышала величины средней козы. Для прилития крови было завезено в Соловки небольшое стадо настоящих северных оленей, вероятно, отобранных при раскулачивании какого-нибудь «кулака» самоеда. Наблюдением за оленями и за разводимой, также в вольном состоянии,

американской мускусной крысой ондатрой, ведал Серебряков. Он неустанно до самого снегопада ходил по всему острову, наблюдая по объединенной водяной растительности и некоторым другим признакам за ондатрой, за её размножением и миграцией.

В 1929 году на остров Анзер были выпущены для вольного разведения голубые песцы. Туда был командирован для наблюдения за ними Пильбаум. Он иногда приезжал обратно в питомник с докладом к Туомайнену и жил на Лисьем острове недели по две.

Вообще, пушное хозяйство не имело бутафорского вида и, развернутый потом на материке из Соловецкого материала, промышленный питомник давал лучшие по Союзу шкурки. В 1932 году в СССР числилось в питомниках 2240 самок черно-серебристых лисиц. Из них в питомниках ГПУ было около трехсот, не считая такого же количества голубых песцов. Соболиное хозяйство, в конце концов, стало давать прекрасные результаты, то есть, в сущности, соболя стали размножаться в неволе регулярно, как лисицы.

С первого взгляда кажется странным: в руках чекистов и блестяще поставленная работа на зоофермах с рекордными результатами. Однако, ларчик с этими успехами открывается совсем просто. Здесь, на этих изолированных от всего остального лагеря островах питомника пушных зверей, чекисты отступили от своих принципов и дали людям суррогат свободы и в труде и в быту. На этом участке концлагерно-подвальной системы они приняли свой обычный провокационный вид чекистов совсем не занимающихся убийствами и чающих нашего (казровского) исправления. В остальном лагере над разговорами об исправлении казров и возможностью «возвращения их в семью трудящихся», чекисты, конечно, открыто издеваются и при всяком случае громогласно заявляют — каэр может вернуться не в семью трудящихся, а в братскую могилу.

Чекисты разумеется знают совсем уже простые хозяйственно-экономические истины. Первая из них: если во главе дела поставить не выдвигенца, а настоящего специалиста и не очень уж его допекать коммунистическо-чекистскими принципами, так из работы непременно выйдет толк, будут хорошие показатели и даже рекорды.

Пушхозское предприятие было основано именно на суррогате свободы, выразившейся прежде всего в отсутствии административной опеки (отсутствие проверок, доверие рабочим и специалистам). В первые годы существования питомника на нем отсутствовала всякая охрана, а сексоты были редкостью. Все это создавало особую деловую атмосферу работы. Если к этому прибавить улучшенное питание, прекрасные жилищные условия, совершенное отсутствие угнетения старшими младших и множество всяких дорогих в быту мелочей, будут понятны и рекорды и чистая работа дружной семьи пушхозцев.

Я был на особом положении. С первых дней Туомайнен, убедившись в моей ценности как специалиста, предоставил крольчатник всецело в мое распоряжение, ни во что не вмешивался и беспрекословно исполнял все мои заявки на корма, сооружения и проч.

Работал я с увлечением, все время экспериментируя, изучая разные вопросы зоотехнического порядка. При пушхозе была прекрасная специально-зоотехническая библиотека, выписывались иностранные (главным образом американские) журналы по звероводству, присылались переводы выдержек из иностранных журналов, касающиеся нашей специальности. Таким образом я мог работать с максимальной продуктивностью. Конечно, результаты такой работы получились самые благоприятные и я завоевал себе репутацию опытного промышленного кролиководы, сослужившую впоследствии мне большую службу при организации и приведении в исполнение побега.

Единственный мой рабочий Самойлов перешел на работу в лисятник, а мне удалось перетащить к себе в качестве рабочего К. Л. Гзель, «втыкавшего» на кирпичном. Через некоторое время в крольчатник прислали казака из под Минеральных вод — Абакумова и китайца Хейдеси. Крольчатник теперь не узнать: работы стало много и сил не хватало.

Утром надо было во время накормить все многочисленное население крольчатника. Все клетки полны молодыми кроликами. Они нетерпеливо льнут к сетке, тычась мордочками в пустую кормушку. Между тем, четверо людей в разных частях крольчатника быстро открывают дверцы клеток и по стуку черпаков о кормушки слышно как они быстро наполняются кормом. Стучит закрываемая дверца, открывается новая клетка, опять стук о кормушку. Около корма в клетке начинается возня. Через полчаса хлопанье дверей закончено и в крольчатнике слышен только шорох от жевания многих сотен челюстей.

Мы идем на двор и там во всяких кустарных загородках и клетках начинаем кормить длинноухих обитателей.

В крольчатнике было всегда холодно. Я держал двери открытыми. Это имело большое значение для здоровья животных и для качества продукции.

Пока мои компаньоны чистят клетки, я занимаюсь сортировкой и пересадкой молодых животных. Это требовало большего навыка и знания дела. Знания давали мне эксперименты, а навык — усердие в любимой работе. Около двенадцати опять начинается общее кормление, опять стучат кормушки и хлопают дверцы. Так, от кормления до кормления идет то чистка животных, то их переноска, то покрытие. Мы работаем до восьми вечера, имея двухчасовой перерыв на обед.

Все мои компаньоны работают с увлечением. Постоянное общение с тихими и милыми животными сглаживает грусть и тяжесть нашей жизни.

Константин Людвигович помогает мне готовить корма, производить сортировку животных, ухаживать за новорожденными. Он с чисто отеческой заботливостью берет в руки случайно застывших новорожденных, даже кладет их за пазуху. Зато, как только малыш начнет шевелиться и придет в себя, он с гордостью его показывает:

— Посмотрите-ка на этого прыгуна. Он уже ищет сосок.

Мы с нужными предосторожностями помещаем спасенного в гнездо и продолжаем работу дальше.

Китаец Хейдеси работает очень тихо. Он оживляется только во время обеда и про себя говорит:

— У меня нет аппетита, у меня есть желудок.

И действительно, он мог есть что угодно и в каком угодно количестве. Рыбаки привозили ему медуз и он их глотал, как ни в чем не бывало.

— Вот это здорово. Смотри — всю слопал, — удивляется Абакумов, наблюдая китайца, пожирающего медузу.

Только под вечер, к ужину у нас оставалось немного свободного времени и мы в небольшой кроличьей кухне за стаканом чая, вели тихие разговоры. Абакумов

рассказывал о себе путанные истории, выдавая себя за станичного атамана. В его станице ГПУ создало большое, так называемое «атаманское» дело. Некий хорунжий, скрывавшийся в горах и посещавший станицу, был, при помощи провокаторов, изловлен и по этому случаю ГПУ постаралось создать большое дело, расстреляв в конце концов пятьдесят казаков и изловленного хорунжого. На Соловки попала также изрядная группа казаков. Между ними были и плотники на песцовом острове. Я обратил внимание на странное обстоятельство: станичники не только не приходили никогда навестить Абакумова, но даже избегали с ним встреч. Один из станичников поведал нам истину: Абакумов был начальником станичной милиции и, стало быть, являлся и служащим и агентом ГПУ. Мы это запомнили и держали язык за зубами.

Хейдеси рассказывал что-то мало вразумительное об обвинении его в шпионаже. На самом деле он был из наемников, помогавших большевикам делать революцию, из тех, что говаривали в трудную минуту, ища пощады у победителей.

— Колычага (Колчак) больше дает — ему будем служить, Толоцки (Троцкий) больше дает — ему служим.

Мы водили компанию с нашими рыбаками, получали от них контрабандным путем свежую рыбу, а им давали хлеб, бывший у нас в изобилии. Питание у нас вообще было хорошее.

Так вот и шли дни за днями. Непрерывная интересная работа отвлекала от тяжелых дум. Но всякий раз, как мне приходилось проходить мимо ворот сортоиспытательной станции, воспоминания о катастрофе двадцать второго ноября повергали меня в неисходную грусть. В эти моменты я остро чувствовал непоправимость происшедшего: закрывшиеся на веки глаза не увидят гибели врагов нашей родины, гибели, в которую верит каждый патриот.

7. СВЕТ ВО ТЬМЕ

Глухая пора безвременья. Соловки, наполненные до краев волнами деревенского люда, присланного сюда на гибель творцами «социализма в одной стране», водворяющими вот теперь этот социализм в деревне, охваченные страшной тифозной эпидемией, являли картину, похожую на творящееся в деревне. Безжалостные палачи лишали достоинства и свободы самый ценный слой деревни и целыми семьями слали его в ссылку в спецпоселки и в каторжные лагеря. Эти люди вырваны из жизни с корнем; у них не оставалось на свободе никого, кто бы им мог помочь. Такой же страшный удар в тоже время обрушился и на Церковь православную, обогрив ее кровью бесчисленных мучеников. Эта волна докатилась и до Соловков. Соловецкое духовенство должно было испить полную чашу унижений, а затем и физических страданий от непосильного труда и голода.

Я очень сожалею теперь, что мне не пришлось беседовать с местоблюстителем Патриаршего престола митрополитом Петром Крутицким. Я видел его всего пять или шесть раз. Мы были на разных работах. Он в шестой сторожевой роте, а я по мытарствам на дне и теперь в пушхозе. Однако, я имел близкое соприкосновение с несколькими иерархами и многими священниками и видел их скорбный путь.

Как-то в начале зимы я зашел в халтурное мелиоративное бюро в комнату, где впервые познакомился с Петрашко. Там, в уголке, еще сидел, как и год тому назад, епископ Вятский (викарий) Вениамин и по обыкновению считал на счетах. Он числился счетоводом строй-отдела.

— Как поживаете, владыко? Что у вас тут нового? Я теперь деревенский житель и в Кремле не был давно.

Владыка отложил в сторону счета и посмотрел на меня усталым взглядом.

— Плохие новости, — говорил он, усаживая меня на скамью, — тиф косит людей. Большинство рот на запоре. Не выпускают людей из рот.

Я уже знал об этом и представлял себе весь ужас, творящийся в перенаселенных ротах.

— Да, как это вас, батенька, пустили в Кремль? — удивляется владыка, — ведь всякое передвижение заключенных по острову строжайше воспрещено.

Я вспомнил о своем пропуске, добытом по блату, и почувствовал, что в самом деле надо удирать. Попадешь в карцер за нарушение правил и не выберешься из закарантинированного Кремля.

По коридорчику, за дверью комнаты застучала дробь шагов. Вошли: ротный командир сводной роты князь Оболенский, взводный, стрелок-охранник и парикмахер-китаец.

Мы встали.

— Почему вы не острижены? — обратился Оболенскийк Вениамину. — Вам было объявлено о «самостоятельной санобработке». Почему не исполнили распоряжения?

Владыка молчал. Мое положение становилось совсем скверным. Я ходил всегда без шапки (и зимою) и, конечно, на голове у меня была копна волос. Но на меня никто из пришедших не обратил внимания. Оно сосредоточивалось на владыке... Я воспользовался этим и стал незаметно пробираться к двери. Надо было непременно удрать. Иначе, во первых, остригут, во вторых, посадят во вшивый карцер.

— Что тут рззусоливать, — высокомерно заговорил стрелок, презрительно глядя на владыку. — Стриги, парикмахер!

Китаец сделал шаг к владыке. В руках у него была машинка дня стрижки, конечно, тупая, конечно, грязная. Подняв руку с машинкой, китаец взглянул на Оболенского. Тот молчал.

— Ну, что там еще? — рассердился стрелок. — Приклада захотел?

Трепещущий китаец быстро приложил машинку к голове владыки и, в наступившей тишине, послышался неприятный хруст от перерезаемых волос. Я незаметно исчез за дверью и скорым шагом отправился в пушхоз.

* * *

Весною, проходя по сельхозскому двору с ветеринарным врачом Федосеичем, я почти столкнулся со здоровенным парнем, одетым в лагерное, но чистенькое обмундирование. Я хотел было пройти мимо, но знакомый голос меня окликнул.

— Не узнаете, что — ли, Семен Васильич?

Я остановился и с недоумением воззрелся на парня. Лицо — знакомое и не знакомое. Но фигура... да, вот именно фигура?!

— Владыка — воскликнул я, отступив на шаг.

Кто бы мог признать в этом моложавом человеке, похожем на деревенского парня, без бороды, без усов, без волос, благообразного владыку Вениамина? Он с грустью смотрел на меня. Федосеич, обычно весельчак и шутник — отвернулся и мрачно сосал папиросу.

Мы молча вошли опять в ту же комнату мелиоративного бюро.

— Неужели всех священников в Кремле остригли? — спросил я.

— Конечно, всех. — сказал владыка.

— И митрополита Петра?

— Да, и Петра на острове Анзере остригли.

Водворилось молчание. Федосеич продолжал курить.

— А Вы, лохматый, так нестриженным и проходиливсю зиму? — спросил он.

— Так и проходил. У нас не стригли, На Варваринской тоже. Архиепископ Илларион не был острижен до самой отправки.

— Здесь стригли всех, — сказал Федосеич. — Даже вот из этой простой гигиенической меры чекисты съумели сделать бурю, расскажите- ка, владыко, как стригли шестую роту.

— Что там рассказывать, — неохотно ответил Вениамин. — Надругались над саном, как обыкновенно у них полагается. В шестую роту чуть не взвод стрелков пригнали. Даже оцепили ее кругом. В шестой роте, конечно никто еще не был острижен. Я то в десятой роте живу, как канцелярский работник. Конечно, раз епископы волос не снимают, то и рядовое духовенство держится.

— Как же происходила стрижка? — спросил я.

— Добром ни один епископ не дал себя остричь. Да и мало их в роте осталось. Тридцать епископов православных и католических (несколько человек), во главе с митрополитом Петром Крутицким, как известно, изолированы на острове Анзере в ските «Голгофа». Но все же часть епископов, главным образом из вновь заточенных и привезенных осенью, остались. Именно с них охрана и начала стрижку.

— Крики, шум, прибаутки. Кто из священников, глядя на насилие над епископами, плачет, а большинство молча сидят. Подойдет парикмахер, как вот тогда ко мне осенью, да и начнет стрижку.

— Времена пришли крутые для духовенства, — сказал Федосеич, — рысы заставили снять и всех в бушлаты нарядили. В шестую роту прибавили шпану. Строгости всякия пошли:

ограничение переписки одним письмом в месяц. Денег тоже не разрешают иметь более пятнадцати рублей на квитанцию. Остальные отбираются.

Бродя по Кремлю, я уже не видел ни одной рясы. Серый бушлат скрыл лицо духовенства. Для пастырей начался второй этап бедствий — самый тяжелый и страшный.

* * *

По белой равнине замерзшего залива я с Пильбаумом, недавно вернувшимся с острова Анзера, иду из Кремля.

Тихий, морозный лунный вечер. Снег кажется синеватым во впадинах сугробов и белая снежная равнина, освещаемая луною, безжизненна и пустынна. Тишина. Только изредка из песцового питомника доносится до нас отдаленный лай песца, похожий на короткий звук губной гармоники. Пильбаум рассказывает с комсомольским наигранным ухарством о своей жизни на Анзере, прибавляя чуть не к каждому слову крепкие ругательства.

— Ну, и житье там. Надо бы хуже, да некуда. Во первых, в главном соборе на «Голгофе» живет шпана — «леопарды». Большинство голых — одежду проиграли. Надзора за ними никакого. Играют они в карты круглые сутки. Проигрывают вперед свои, еще не полученные, пайки хлеба. Дохнут как мухи... Поверок им никаких... бесполезное дело — не выстроить. Большинство на ногах не стоит от цинги. Ротный каждый день приходит и заставляет всех лечь. Потом считает по ногам. Сколько пар ног, столько и пайков хлеба, супа и каши. Иной день ротный придет и начнет нюхать воздух. Опять, говорит, вы мертвецов тут держите. Начнет искать по запаху трупному и найдет штук пять шесть мертвецов... Живые спят с мертвыми и получают их паек. Начнут это стаскивать мертвецов с нар. Некоторых просто за ноги волокут — только башка по полу стучит.

Мы остановились немножко перевести дух. В котомках за плечами у нас было порядочное количество груза. Пильбаум продолжал:

— Там живут отдельной группой изолированные попы и епископы. Работать их не заставляют. Впрочем, для самообслуживания им немного приходится работать: колка дров, доставка воды, варка пищи, уборка помещений. Живут они не плохо. Посылок им шлют до черта. Но держат строго, никуда не отпускают и к ним никого не пускают. Полная изоляция.

— Там же недалеко живут эти, как их? Христосики...

— Эго, вероятно, имяславцы. Те, что отвечают «Бог знает».

— Ну, да, они. Церемонятся с ними, — сказал он, прибавив безо всякой нужды грубую брань.

Мы подходили к питомнику, уже виден свет из главного дома, где жил Туомайнен.

— Хорошее тут житье, — сказал Пильбаум, стараясь рассмотреть мое лицо. — Отсидим тут свой срок спокойно и опять вернемся домой. Конечно, если удачно ускользнуть отсюда, можно и не сидеть.

Я понял куда гнул комсомолец и не преминул осудить безумцев, мечтающих о побеге из этих благословенных мест. Разговор у нас принял совсем дружеский тон.

— Вы, Пильбаум, когда отсидели первую трехлетку, возвращались в Москву?

— Ну, да, в Москву, — ответил Пильбаум, крепко выругав посадивших его вновь на три года.

— Неужели ваш приятель, секретарь Сталина, не мог помочь вам выбраться из лагеря?

Пильбаум помрачнел.

— Да, вот попробуйте их убедить, будто ГПУ садит иногда ни за что. Не верят, сволочи. Придется опять полностью три года бухать.

— Я все же не понимаю. Пусть даже не верят. Но в порядке частной амнистии разве нельзя освободить? Стоит только Сталину написать на уголке дела «освободить» и кончено.

Пильбаум отрицательно качает головой.

— С ГПУ не так просто разговаривать. Конечно, написать он может, и освободят. Но после хуже будет освобожденному. ГПУ не любит, чтобы совали нос в его дела. Хотя бы и Сталин.

* * *

Я забегу немного вперед в рассказе об участии каторжного духовенства. Спустя года два после разговора с Пильбаумом, я встретился в очень удобной для откровенных разговоров обстановке с Борисом Михайловичем Михайловским. Он рассказывает:

— Пришлось мне и на Анзере побывать. Ревизию, так сказать, производил.

— Ну, как там поживают голубые песцы?

— Песцы то поживают. Что ж им не поживать? Пильбаум их сначала подкармливал, чтобы приучить к определенному месту. Но это — именно только подкормка. Кормятся же они сами, охотясь за мелкими зверьками на острове. Но вот, что было удивительно: песцы, наконец, совсем перестали приходить на подкормку. И вот, знаете, выяснил я отвратительную вещь. Пильбаум о ней молчал. Начальник тамошнего Анзерского отделения ему приятель. И не в интересах Пильбаума было делать приятелю своему неприятности, рассказывая об этой отвратительной штуке.

— В чем же дело?

— А вот сейчас. На Анзере, как вы знаете, мрут в большом количестве инвалиды и «леопарды». Анзер, ведь это не только соловецкая мертвецкая, а туда шлют своих инвалидов «на загиб» все командировки и отделения на материке. Братские могилы там полны трупами. Подвозят трупы в ямы каждый день, и, конечно, всю зиму эти полные трупами ямы не закапываются. Вот представьте себе такие ямы, наполненные голыми, застывшими трупами. Кругом бегают песцы. Что им искать мышей и всякую прочую мелкую живность, коли тут столько человеческого мяса?

Я припомнил разговор с Пильбаумом и его мимолетное упоминание о трупах обглоданных песцами.

— Да, так вот и я с этими трупами попал в аховое положение, — продолжал Михайловский. — Писать об этом официальный рапорт — заводить врагов — в нашем положении на приходится. Доложил так, на словах, Каплану. Тот покрутил носом, да и промолчал. И все.

Я начал расспрашивать Михайловского о православных иерархах, изолированных на Анзере.

— Жили они, в общем, ничего. Бороды и волосы свои опять отрастили. И ведь вот — представьте себе: там же на Анзере жила группа «имяславцеве», тоже изолированных. Мужики серые. Их не тронули, не остригли. А они, «имяславцы», все были с длинными волосами и бородами... Но иерархов остригли, несмотря на то, что жили они совершенно изолированно... Для издевательства. Потеху себе из стрижки устроили.

Помолчав, Михайловский продолжал:

— Вот как об этом мне рассказывал монах Инокентий, инструктор-рыболов на Анзере. Пришел, видите-ли, почти полностью весь отряд Анзерской охраны. Ротные, взводные из надзора. Иерархи, конечно, ничего не ожидали. Жили себе в тишине. А тут вдруг этакое столпотворение. Ругань, конечно, висит в воздухе. Разумеется ругаются и в Бога, и в Богородицу, и в крест, и во все святое с особыми вывертами. Никто из иерархов не пожелал подходить к стрижке «по очереди». Тогда их просто начали грубо хватать и стричь. С митрополита Петра, собственно, начали. Напрасно Петр со слезами пытался увещевать насильников — ему отвечали смехом и отвратительными остротами. Схватили его. Ожидали, конечно, сопротивления. А в помещении стоит мертвая тишина. Только ругатели измываются. Конечно, Петр в бессилии сел. Еще раз обратился к своим мучителям, пытался их усостыдить. Да разве чекисты люди? В душе может быть иные из этих хулиганов трусили, но фасон чекистский держать надо. Хохочут, ругаются, насвистывают. Так и стригли всех.

— Где-то теперь они? — спросил я. — Ведь их хотели отправить на остров Хе в устьях Оби?

Да, туда за Пустозерск еще. На край света. Плохо им там будет. Здесь на Соловках с открытием навигации они получали посылки, да и на деньги можно было купить что угодно. Теперь уже не то. В розмаге и в ларьках хоть шаром покати. Голод скручивает всех. На Соловках иерархи, какими-то невыясненными чекистами путями, сносились с паствой помимо чекистской цензуры. А там, на севере, уже все обрывается. Такой полной изоляции, как на острове Хе, никакая советская тюрьма не даст.

* * *

Настали суровые времена. Темные силы стремились уничтожить и вырвать с корнем православие. На каторге духовенство слилось с серой массой, вместе с ней несло тяжкий крест страданий до безвестной братской могилы или инвалидной смерти в рассрочку. Помощи ждать неоткуда: все связи порваны, а возможности избавления уничтожены.

На долю первоиерарха митрополита Петра, может быть, не выпало испытать всю тяжесть трудового физического угнетения, но духовное угнетение, но надругательства он испытал более, чем кто-либо. Еще в Соловках он, тоскуя о разрушении веры в народе, с горечью говорил союзникам:

— Был русский народ богоносцем, а теперь его сделали богопоносцем.

Решимость митрополита Петра не вступать ни в какие компромиссы с властью темных сил была общеизвестна в кругах концлагерного духовенства. И вот все же, истощив все средства использовать первоиерарха в своих замыслах против Церкви, темные силы его убили.

Вечная память стойкому борцу и мученику. Церковь еще не оскудела твердыми людьми и, омытая кровью бесчисленных мучеников, воспрянет вновь свято неизменной. В эти дни отчаяния и скорби свет, мучениками Церкви зажженный, ярко светил во тьме для всех, сердцем обращающихся к его живоносному источнику.

VIII. ТУФТА

1. ПЕРВОМАЙСКАЯ ТУФТА

Тундра и холодное море окружают Соловки и откуда бы не веял ветер — он всегда холодный. Шапка небосвода кажется совсем нахлобученной на, словно болезненные, соловецкие леса. Зимнее солнце только в редкие дни покажется над горизонтом на полчаса и опять, после его захода все тот же полусвет.

Весна наступает сразу. Цепь зимних дней кажется бесконечной в своем мутном однообразии и когда она неожиданно кончается долгими полярными солнечными днями — все оживает и действительно пробуждается от зимнего сна. В лесах из-под снега начинают топорщиться, заросшие брусничником и мхом кочки, на льду залива появляется вода. Недолго держится и лед. Поднимет его высоким приливом, затрещит он, начнет ломаться, если случится ветер — лед уносит в открытое море.

В этом году весна началась с раннего дождя. Снег рухнул, вместо кочек появились целые зеленые поляны. В Кремль вернулись чайки и выгнали зимовавших там черных воронов обратно в леса. К нам на острова прилетели большие серые утки — гаги, они кладут яйца, величиною более куриных, в гнезда, выстилаемые ими своим теплым и нежным пухом, так ценным на рынке.

У нас, на островах, весенняя лихорадка: надо запастись корма для питомника на время ледохода, запастись пресной воды. Высокая костлявая фигура Михайловского показывалась всюду по островам. Он стряхнул с себя боязнь ожидания ареста и теперь с головой ушел в работу. Зверовод — весельчак Заська Шельмин — большой любитель гармошки, уже не

пиликал на ней, как обычно, по вечерам. Был объявлен весенний «ударник» и шла сумасшедшая работа.

Накануне первого мая нас всех мобилизовали на культработу. Приехали из Кремля воспитатель с Матушкиным и мы целую ночь сидели за составлением стенной газеты. Принимал в этой работе деятельное участие и сам Туомайнен, назвавший газету «Лисенок и строитель».

— Как мы не старались убедить его в неблагозвучии названия — ничего не вышло. Туомайнен на все доводы и возражения отвечал:

— По-фински это выходит хорошо.

Так и вышла газета под названием «Лисенок и строитель».

На первых столбцах стенной газеты, как полагается, передовица о дне первого мая. В ней повествуется о том, какое счастье испытывают народы СССР при неограниченной свободе и какой стон стоит в остальном «буржуазном мире» от угнетения рабочих масс буржуазией. Петя Веденяпин, счетовод из колчаковских офицеров, нарисовал земной шар, обвитый цепями, оставив обрывки цепей у границ СССР. Далее в газете шел материал, подбадривающий рабочих к более интенсивной работе. Местные поэты опустили в ящики стентазеты заранее разрешенные стихи. Из них были выбраны вирши, восхваляющие путь исправления на Соловках некой заблудшей уголовной овцы. Материалы склочного характера и доносы, конечно, вошли в газету в большом количестве. Кончалась она, как и всякая стенная газета, юмористическим отделом.

И так мы, перед чьими головами так недавно маячил наган чекиста, в стенной газете прославили чекистский режим.

К утру газета висела на своем месте «в красном уголке» и мы, измученные ночной работой, стали расходиться из прокуренного кабинета Туомайнена. На дворе творилось что-то невообразимое: хлестал дождь, выл ветер, с моря шел какой-то неопределенный шум.

Из мрака вынырнула фигура рыбака Петьки.

— Что там, Петя? Лед еще стоит?

— Какое там. Разломало. Приливище такой — того и гляди пристань поплывет. Завтра будет чисто. Корюшка пойдет.

Действительно: утром вокруг острова плескалось очистившееся ото льда море. Кое где на берегу остались островки снега. Ветер продолжал еще бушевать.

Я пошел к пристани и застал там одного Матушкина. Он оперся о перила и задумчиво смотрел в светлые волны, освободившиеся из под зимнего ледяного покрова.

— Скучаешь, Петрик?

Матушкин чуть заметно улыбнулся, пожал протянутую руку и остался опять неподвижен.

— Слышно что-нибудь? — сказал он, продолжая смотреть в воду.

— Да. Кое что. Ты знаешь, заговор провалился случайно.

Матушкин встрепенулся с немым вопросом в глазах. Я продолжал.

— Сюда ездят к Туомайнену чекисты. Пьянствуют напролет целые ночи. Иногда дня по два здесь живут. Удобное тут им для пьянства место — не на глазах. Так вот, пьяные чекисты болтают между собою обо всем. Польша Нелли, работающая в лаборатории, помогает хозяйке, жене Туоимайнена, прислуживать пьяным чекистам в эти сумбурные ночи. Через нее мы узнали много чекистских секретов и имеем представление как и чем этот соловецкий чекистский мир живет.

— Кто же выдал заговор? — спросил Матушкин.

— Выдал племянник Лойды. Лойда — знаешь, заведующий столярной мастерской. Такой среднего роста финн. Я его всегда видел и здесь и в мастерских одетым в кожаную куртку. У него племянник, состоял в финской группе заговорщиков. Жалко этому племяннику стало своего дяди, он и предупредил его по-родственному, чтобы тот остерегся. Его, как вольнонаемного служащего ГПУ, к тому же близкого к ИСО, могли убить. Тот, конечно, схватил племянника за шиворот и в ИСО. Насели на него Головкин с Дарвин, и все полетело вверх дном.

— Значит, не судьба.

Мы стояли молча, подавленные воспоминаниями.

— Кажется, нам придется здесь «загнуться», — криво усмехнулся я.

Матушкин пожал плечами:

— Сильнее кошки зверя нет.

Он помолчал немного и продолжал:

— Петрашко сказал своему палачу — ну, сегодня моя очередь, но не забудь и о своей.

У меня защемило сердце. Матушкин продолжал:

— Вот ты здесь живешь совсем хорошо. Тебя считают за человека те же чекисты. По крайней мере — делают вид. А посмотрел бы ты, что сейчас делается на Ново-Сосновой или в Кремле! Да, что говорить — ты и без меня это знаешь. На материке в лазарете Кемперпункта полторы тысячи обмороженных ждут отправки на Соловки, как на курорт. Хорош курорт! Подумай: если обморозилось полторы тысячи, то сколько же на смерть замерзло? Дай Бог, если из сотни отправляемых на лесозаготовки уцелевает пятнадцать-двадцать. Остальные остаются навеки в карельской трясине. Эх, дряблость, дряблость, на ней всякие узоры вышивают наши хозяева!

Я молча пожал руку Матушкина. К нам подходил танцующей походкой письмоносец Пятых.

— Семен Васильевич, письмо.

Он передал мне распечатанный в цензуре конверт с письмом. Перед глазами замелькали милые строчки. Я жадно начал читать и перечитывать их много раз, словно во сне хотел удовлетворить жажду приснившейся водой. Но вода не утоляет жажду и тоска сжимает сердце.

2. КАК ВЫГЛЯДИТ СВОБОДА

Мы готовим большую партию кроликов для отправки на материк, в Кемь. Перед крольчатником стоят длинные, узкие пятиместные транспортные ящики, с затянутой проволочной сеткой фасадной общей крышкой. Из каждого отделения торчит мордочка молодого кролика. На левом ухе каждого животного вытатуированный номер. В племенной карточке, имеющейся на каждого отправляемого, — родословная животного.

На окрестных островах на летнее время выпущены прямо на свободу молодые кролики. Пока идет нагрузка ящиков я беру маленькую лодку-душегубку и отправляюсь по островам подкармливать животных. На двух самых ближних островах выпущены пять молодых козлят. Они издали увидели мою лодочку и приветствовали меня радостным блеянием.

Кролики мчались со всех сторон к кормушке, едва я причалил к острову. Им не хватало скудного растительного корма.

Самый большой из этих островов — Сенокосный. Его площадь пять гектаров. На нем есть глухие заросли. В самой чаще, в надежном месте, у меня есть сокровище — карта севера Европейской России из книги «Промысла Белого моря». Накормив кроликов, я достаю карту и начинаю старательно изучать север. Карта довольно подробная в масштабе пятьдесят верст в дюйме. Я тогда и не предполагал как на самом деле карта эта мало соответствует натуре и верил ей вполне. За созерцанием карты, являющейся здесь на Соловках сокровищем, проходит час, а может быть и больше, пока я не прихожу в себя и не прячу карту на старое место.

В крольчатнике меня ждала неожиданная новость: я еду на материк без конвоя сопровождать партию кроликов. Туомайнен поручился за мое возвращение на остров.

— Сначала ИСО не хотело вас выпускать с острова, — рассказывает Девчич, — но Карлуша настоял на своем и поручился за ваше возвращение. Если вы не вернетесь, то он должен будет за вас сесть.

Предстояла большая канитель с отправкой транспорта кроликов с островов питомника на пристань Главного Соловецкого острова в бухте Благополучия. Транспортные ящики с животными на лодках отправляются к Варваринской часовне и оттуда, на подводах, перевозятся дальше мимо сельхоза на пристань.

Я уезжаю с последней партией ящиков. Ветер спал и хрустальные сумерки, какие бывают только на севере, делают все предметы какими-то не реальными. Иногда весло гребца ударилось о невидимую в воде медузу и она вдруг вспыхивала фосфорическим волшебным светом и тихо гасла за кормой.

На Соловецкой пристани я в волнении ходил между ящиками, выгруженными на пристань. Пароход «Глеб Бокий» был у пристани. Грузчики, как тени, молча проходили иногда около меня, что-то грузили. Я нетерпеливо ждал — когда же, наконец, погрузят кроликов.

На пристань приехал Михайловский и меня предупредил:

— Не забудьте получить бумаги у дежурного чекиста. Это вот за этой дверью. Без бумаг вас не пустят на пароход.

Я пошел в указанную дверь.

Из-за письменного стола на меня глянуло презрительно-хмурое лицо. Я некоторое время подождал.

Ни звука — как будто меня нет в комнате.

— Здесь, на пристани кролики. Я их послан сопровождать на материк. Нужен документ.

Молчание. Затем чекист цедит нехотя, глядя в другую сторону:

— Не знаю.

Я выбежал прочь. Уф, проклятая атмосфера палачей. Задохнуться можно.

Опять бегаю между ящиками. Наконец, грузчики подходят к ним. Я указываю, как их нужно грузить и прошу установить на палубе парохода.

Пароход дает первый свисток. Я опять иду к дежурному чекисту. Тоже олимпийское спокойствие. Едва выдавливаю из себя вопросительную фразу.

Молчит прохвост. Я чувствую, как у меня начинает усиленно биться сердце. А вдруг в последний момент решили не выпускать с острова, и мне не видать материка?

Меня даже в жар бросило при этой мысли. Мрачная фигура чекиста встала из-за стола, подошла к шкафу и, повернувшись ко мне, процедила:

— А ну, выходи отсюда.

Я выбежал прочь. Неужели не поеду? Гудит второй свисток. У меня опускаются руки. Сейчас пароход уйдет!

Ко мне приходит стрелок-охранник.

— Как фамилия?

— Смородин.

— Получи документы и чеши [\[14\]](#).

Он сует мне бумагу. Я пулей лечу на пароход к своим ящикам и не могу найти себе место от волнения. Подхожу к ящику, зачем-то открываю дверцу. Кролики высовывают свои мордочки. Я смеюсь, как помешанный, закрываю крышку и опять начинаю ходить по проходам между ящиками. Мне кажется, будто трехлетняя каторга была просто сном и вот я просыпаюсь от этого сна здесь на пароходе, свободным как прежде.

Занимается заря. Пароход «Глеб Бокий», лавируя между указателей фарватера в виде больших крестов, медленно выходит из бухты Благополучия. Вот и последний мыс со сторожевым постом. Слева чернеют Заяцкие острова, а впереди, на еще не освещенном солнцем западе, чернели зубцами многочисленные каменные острова. Эти острова были, вероятно, такими же неприветливыми тринадцать лет назад, когда на носу парохода было написано не «Глеб Бокий», а «Архистратиг Михаил».

Я не могу оторваться от вида моря. Чудесный ветер дует мне прямо в лицо и я не могу насытиться его свежими струями. Страшные Соловки остались за кормой. Мы подвигаемся на запад к матерiku.

Я жадно пил новые ощущения и был весь во власти необъяснимой, необузданной радости.

Опять подхожу к ящикам, вынимаю и начинаю ласково гладить моих длинноухих питомцев. Они чувствуют умелые руки, живо успокаиваются и начинают тыкать своими мордочками мне в лицо.

Вот он — Попов остров. Та же пристань. Три года тому назад отсюда, полные отчаяния после первых истязаний и бессонных ночей, мы уезжали на Соловки с надеждой увидеть лучшее. Сколько осталось из нашего этапа живых, сколько легли на Ново-Сосновой, на торфе и погибло от тифа! И я, едущий обратно, чему я радуюсь?

Однако, мрачные мысли только на мгновение мною овладевают. Во мне замолкает все, кроме жажды свободы.

Мои ящики с животными бережно выгружают на деревянную пристань. Пароходный чекист дает мне указания — оставаться на пристани до прихода экспедитора.

На опустевшей пристани остался только я с ящиками. Пароход казался совсем безжизненным. Не видно людей и около пристани. Здесь лагерная зона и посторонних людей нет.

Пришедший экспедитор направил меня на пригородную железную дорогу. Я должен ехать в Кемь, зарегистрировать там документы и, по возвращении, ждать приемщиков кроликов на пристани у ящиков.

Иду вдоль пристани мимо складов и просто бунтов всяких тюков с товарами и материалами. За пристанью начинаются постройки. Вот, наконец, настоящие, свободные люди. На меня никто не обращает никакого внимания. Вид встречных детей, настоящих, резвых детей, после трех лет общения только с поверженными в горе и несчастье людьми, вызывает в душе целую бурю. Я с трудом могу удержать слезы и ускоряю шаги.

Пригородная станция ветки Попов остров находится в сараеобразном помещении. Внутри накурено и людно. Я покупаю билет, выхожу и сажусь на скамью у станции. Через некоторое время подходят несколько женщин и садятся рядом. Невольно прислушиваюсь к разговорам. они гадают: пустят ли их на страшный остров на свидание.

Мимо проходит небольшой этап. Группа истомленных заключенных в запыленных и грязных одеждах. Сзади кляча с грудой жалких арестантских вещей и сидящими на этих вещах двумя инвалидами, не могущими следовать пешком.

Женщины смотрят на них со слезами.

— Вот и наши где-нибудь также горе мычут.

Я стараюсь отвернуться и скрыть свои невольные слезы. Мы, жившие среди ужасов в местах, где жизнь не имеет цены, не плакали в самые трагические моменты каторжной жизни, ибо окаменело сердце в страданиях и огрубели чувства в несчастиях. Здесь же, при виде этих слез, я почувствовал себя вновь человеком, о котором тоже где-то плачут.

Захолустный городишко Кемь показался мне столицей. Я внимательно всматриваюсь в лица прохожих, упиваюсь ощущением свободы и даже, дойдя до лагерных барачков перепункта «на мху», не почувствовал себя пленником. Первое ощущение свободы меня совершенно опьянило.

Комендант «на мху» был из обыкновенных заключенных и делал все просто, без придинок.

Я вернулся на пристань и начал сдавать кроликов приемщикам. Их было двое: один среднего роста и усатый, имел деловой вид. Другой высокий и худощавый с несколько театральными жестами, говорил жиденьким тенорком. Усатый называл его Тимофеичем, а Тимофеич почтительно величал усатого Семеном Петровичем.

— Наденьте халат, Тимофеич.

Тимофеич надел халат, а Семен Петрович, оказавшийся ветеринарным врачом, стал осматривать мою длинноухую компанию. Он хмыкал, почему-то особенно тщательно осматривал уши кроликов и хмурился. Я заметил, что он совсем не имеет понятия об этих длинноухих. Всю жизнь имел дело с крупным рогатым скотом и лошадьми, а тут, пожалуйста, кролики.

Сначала осмотр шел чрезвычайно медленно; потом эта процедура, очевидно, надоела Семену Петровичу и приемка быстро закончилась. Ветеринар ушел, оставив нас вдвоем с Тимофеичем.

Он сначала нерешительно поглядывал на меня, осторожно и недоверчиво расспрашивая, кто я такой и за что попал в лагерь, сколько лет сижу.

У меня от соприкосновения со свежими людьми и свободой сразу выветрился дух осторожности. Я почувствовал к Тимофеичу такой прилив нежности, что не мог удержаться от откровенности насчет каторжных тягот. Мы с ним долго беседовали по душам. В заключение Тимофеич затосковал:

— Когда же это все кончится? Хоть бы там начали, а мы бы вас поддержали.

Бедный Тимофеич не знал, есть ли где-нибудь спасительные берега в этом взбаламученном коммунистическом море и ждал помощи от нас, контрреволюционеров, зажатых в каторжные тиски!

Сдав кроликов приемщикам, я имел до отхода парохода еще полсутки, Счастливым случай помог мне найти в Кеми Александра Ивановича Сизова. Он мне очень обрадовался. Разумеется, начали вспоминать своих сокамерников, одноэтапников Многие погибли, но некоторым, в том числе и Александру Ивановичу, повезло. Он здесь в Кеми сделался правой рукой большего начальства.

— Перемены большие предвидятся в лагерях, — рассказывает Александр Иванович. Лагерное начальство теперь в панике. ГПУ меняет свой неизменный курс и поэтому случаю самые ярые его помощники в заплечных делах, как водится, расплачиваются за свою ретивость. Завтра с пароходом и к вам эти вести придут. Можно сказать, по внешнему, революция сверху происходит. Лагерный быт и система будут перестраиваться на коммерческую ногу.

Для нас обоих было ясно: новый политический ход ГПУ ведет только к изменению внешней формы его лагерной деятельности. Содержимое же этой новой формы остается старым. Вся политика социалистического нашего отечества во главе угла имеет одно: сохранить лицо. Внешне — все, как у порядочных соседей. Взять хотя бы ГПУ. Учреждение, как учреждение. И следствие производится, и дела ведутся как и полагается судебному учреждению. Вот только внутреннее содержание этой формы государственной деятельности несколько иное, чем у соседей. Начать с того, что полуграмотный следователь по делам, часто кончающихся смертным приговором, ведет просто дознание, а не следствие. Это дознание имеет целью из мелких, не преследуемых законом проступков — создать попавшему в подвал гражданину выдуманное дело. С этой целью допрашиваются свидетели и лжесвидетели, обычно тоже сидящие в подвале, но только те, которые могут дать обвинительный материал. Никакого состязательного начала, как это полагается во всяком юридическом процессе, здесь и в помине нет. Выдержка людей в подвалах имеет целью вывернуть человека на изнанку, подавить его психику, лишить его возможности проявлять свою инициативу в будущем. Такой людской материал вполне пригоден для эксплуатации, как рабочий скот.

Александр Иванович не строил никаких иллюзий относительно перемен в нашей судьбе. Доказательством этому недоверию служил все усиливающийся, небывалый приток людей в лагерь. На воле шла коллективизация, как раз именно теперь разыгрывались самые драматические сцены злодеяний темных сил в деревне.

С невеселыми мыслями возвращался я на Соловки. Потухла радость, пропала воля к жизни. Опять из моря выползли колючие вершины елей, забелели постройки Кремля и бывших гостиниц.

Что я мог привезти моим друзьям по несчастью? Ничего! Видел людей на свободе и сам был на свободе. И все.

3. ТУФТА ВОРОШИЛОВСКОЙ КОМИССИИ

На другой день после моего возвращения пришли взволновавшие весь лагерь вести. Михайловский, вернувшись из Кремля, с упоением рассказывал нам все им там виденное и услышанное. Он даже перестал, как обычно, опасно оглядываться и говорил, не стесняясь.

— Посмотрели бы вы на эти растерянные лица. Сумрачные олимпийцы-чекисты забегали, как мальчишки: все чуют грозу и не могут понять, откуда она.

— Но какой бум был в двенадцатой роте. Там всегда много шпаны, всегда более или менее шумно. И вдруг вваливаются человек пять чекистов. Ротный выбегает на середину и орет свое: «Встать! Смирно!» Все смолкает. При наступившей тишине один из чекистов, с портфелем и при чекистских регалиях, изгоняет все начальство:

— Начальствующие лица — ротные, взводные, воспитатели, десятники — немедленно удалиться!

Тех как дрыном ^[15] ошарашило. Уходят, а сами оглядываются.

Тишина настала, какой никогда не бывало в двенадцатой роте. Даже самые отпетые леопарды выползли из своих нор.

— Товарищи.

Сенсация разрастается. Чекист товарищами назвал — неслыханное дело!

И полилась плавная, как граммофонная пластинка, речь. Чего тут только не было. И международная буржуазия и контрреволюционная организация, подкапывающаяся под основы власти, устраивающая из исправительных трудовых лагерей застенки. Полились крокодиловы слезы о всех потопленных, убиенных и зарытых живыми. Чекист, оказывается, слышит впервые о всех этих зверствах, творимых левою рукою ГПУ, между тем, как благодетельная правая ничего не подозревала. Ух, как расплылось негодование оратора на «палачей». Да, да, так прямо и крыл «палачами». Вот просветление нашло. И сейчас же изъяснил тайну, откуда взялись палачи и зачем они палачествовали. Оказалось — ГПУ здесь не при чем. Это все провокация враждебных советской власти буржуазных сил: палачи из тайных противосоветских организаций пробрались в лагерь... чтобы, заняв видные места в администрации, выматывать жилы и забавляться истязаниями. Пролетарское правосудие найдет их и сметет с пролетарской дороги.

— Товарищи, я обращаюсь теперь к вам, как равным. Комиссия, высланная из Москвы по делу о зверствах в лагерях, обращается к вам за помощью. Вы должны помочь ей установить угнетателей рабочего класса и выдать всех палачей. Припомните, кто может, имена и фамилии истязателей, где и кого они истязали, и пролетарское правосудие не только скажет вам спасибо, но и поможет вам, путем сокращения ваших сроков, скорее закончить время изоляции и возвратиться обратно в семью трудящихся.

— Чекисты сели за отдельными столиками. Ждут. Братва молчит. Потом начал один. Следователь принялся задавать ему нарочито наводящие вопросы. Тот, конечно, открыл брехало. И пошло. Возле следователей образовались хвосты, и началась потеха.

— Посмотрели бы вы Кремль теперь. Право, стоит посмотреть. Раньше бывало только одиночных людей видишь, а теперь все повылезало, и бродят толпы.

— Сейчас же после допроса являются в тринадцатую роту стрелки с чекистом-следователем и арестуют Чернявского и Шманевского. Братва ликует. «Параши» одна другой фантастичнее циркулируют по толпам заключенных. Начальство ходит как в воду опущенное. Головкин, против обыкновения трезвый и злой, как собака. Однако, в карцер никого не садит.

— Последний же акт этого действия разыгрался на пароходе. Комиссия собралась ехать обратно. Вошли на пароход. Начальство, конечно, их провожает. Зарин, начальник Соловецкого отделения уже, должно быть, в душе радовался: ссыпалась, мол, беда. После второго свистка он начал прощаться. Однако, председатель комиссии руки ему не дает: «Зачем? Вам придется поехать с нами».

— Так без всякой помпы были арестованы Зарин и Головкин. Теперь у нас новый начальник лагеря. Знаете, который был заведующим КВЧ? Молодой такой, подтянутый, чекист Успенский. Его и назначили. Теперь он ездит по всем командировкам и наводит порядки.

— Что это за комедия — никак не пойму. Но, братва, братва! Посмотрите — это настоящий семнадцатый год. Запрещение разговаривать и собираться в кучи перестало действовать. Всюду кучки людей и разговоры: лагеря, мол, переходят из ГПУ в комиссариат юстиции, будут зачеты рабочих дней, досрочное освобождение и еще тысяча и одна небывица. Братва мечтает о тюремном режиме в лагерях. Шпана, конечно, начала соображать насчет шамовки ¹¹⁶ и свободы рук. На начальство не обращают никакого внимания. Ротные в рабочих ротах сразу научились говорить. Ругаться нельзя, а весь их лексикон состоял из ругательств. Даже дневальные перестали сторожить выход и гнать посторонних. Что-то новое, невиданное, неслыханное назревает.

* * *

Рабочие — строители питомника митингуют на Лисьем острове. Сам Прорехин ходит, как ягненок, около толпы и делает вид, будто все это так и должно быть.

«Оратель» Пятых главенствует и в центре кружка с большим азартом рассуждает о пайках:

— Не должно быть бесконтрольного расхода. Мы получаем свои сухие пайки, а при варке, может быть, их остается только половина. Обязательно нужно выбрать уполномоченного из нашего брата. Пусть при нем закладывают в котлы.

Хитрый калмык Субирда сообразил куда тянет Лятых.

— Ну, ну, знам, знам. Повар теперь один жрет, а тогда ему надо еще и дежурного кормить.

— Ясно: воровать сообща будут.

Пошел спор. Жарко спорили плотники, наслаждаясь новым режимом. Так и чудится: вот сейчас выскочит «братишка» с расстегнутым воротом и начнет громить буржуазию.

Мимо толпы проходит новый начальник лагеря Успенский. Его почти никто не знал. Только стрелок-чекист Прорехин вытянулся и отдал честь.

— Что тут такое?

— Насчет пайков, гражданин начальник.

Успенский дружелюбно кивнул и быстро пошел дальше в Главный дом к Туомайнену.

— Вот, это начальник — сказал Пятых.

Бандит Калабуха презрительно посмотрел вслед Успенскому, выругался и сплюнул.

— Дурочку валять начал. И по морде его видно. Толк с них один. Вот если бы он от работ избавил, да паек прибавил...

— А ты что думаешь, — может и прибавит. Пятых всецело за новый режим, Микешка хлопнул по плечу Калабуху и радостно заявил:

— А ты думаешь, я теперь работать буду? Да, загнись она, работа! Ротный ругать и бить не может. А мне что, слабо, вместо работы, лежать на нарах. Шабаш. Пусть у них серые волки работают!

Шпана загоготала. Видно было: работать эта братия не будет.

— Что вы по этому поводу думаете? — спросил я у стоящего рядом со мною Найденова.

— Легковерные люди, вот что я думаю, — ответил он, улыбнувшись.

* * *

Божо рассказывает.

— Успенский явился к Туомайнену неожиданно и начал нервно ходить по кабинету. Туомайнен сидел за столом. На лице у него трудно прочесть как и всегда: рад он или печален.

Успенский говорит:

— Нужно сразу изменить эти недопустимые порядки. Это позор. Этого терпеть больше нельзя. У вас лисицы и собаки едят лучше, чем заключенные. Я не потерплю такого безобразия.

Он стукнул кулаком по столу и опять забегал по кабинету. Туомайнен молчал. Дверь осторожно приоткрылась. Жена Туомайнена Полина Андреевна мягко спросила:

— Обедать будете, товарищ Успенский?

Успенский хотел было не обратить внимания. Туомайнен встал.

— Ну, дело можно и после обеда закончить. Оба вошли в столовую.

Полина Андреевна хорошо знала чекистские повадки и всегда во время вмешивалась в разговор неуравновешенного начальства с её уравновешенным супругом.

После обеда, уже значительно смягший, Успенский ходил по питомнику, посетил бараки строительных рабочих, распекая уже не Туомайнена, а производителя строительных работ, Ивана Михайловича Родионова.

* * *

Я пошел к Прорехину. Он сидел, как обычно, за письменным столом. И вся обстановка была та же самая, так же внушительно на столе стоял телефон, но не было чего то такого, самого важного, что делало Прорехина грозным.

— Что скажете, товарищ Смородин?

Какая необыкновенная встреча: в товарищи даже попал... Однако, я, по-старому почтительно докладываю:

— Нужно идти в Кремль в отдел снабжения по поручению заведующего пушхозом.

— Что-ж, можно. До какого часа? Может быть, и после проверки останетесь? До одиннадцати хватит?

Какая необычайная любезность! Даже могу манкировать такой священной обрядностью, как проверка.

С легким сердцем, нагруженный тысячью поручений от сотрудников, иду через биосад.

По дороге от биосада в Кремль встречаю профессора Диденко. Он направляется в СОК. Разговариваем о новостях. Профессор рассказывает:

— Ну, теперь что ни день, то новость. Опять какая то комедия начинается. В Москве комедианты еще почище. Разгромили все физиологические и бактериологические лаборатории. Вся старая профессура сидит. И ведь не дукайте, будто случайное дело какое. Все это заранее приготавлилось. Начали с реформы преподавания. Собственно, дело касалось технической его стороны. От каждого профессора потребовали составления подробных программ-конспектов, надлежаще хронометрированных. Ведь это труд какой! Только теперь выяснилось для чего эта мера. Садят всю профессуру в подвал, а на их место своих выдвиженцев-младенцев. Те по конспектам и шпаргалкам кое-как и бредут. Дело как будто, не останавливается.

— Для чего же вся эта комедия, профессор?

— Нельзя же, батенька, всю профессуру посадить, чтобы все соседи это видели. Лицо надо сохранить, вот что. А их у них три: одно для Западной Европы, одно для внутреннего употребления, и третье — для себя, то есть для правящих. Многоликое божество. Для чего понадобилось садить в лагеря бактериологов, зоологов и генетиков — дело темное.

Мы идем мимо биосадского озера по Муксомольской дороге. Стоит чудный весенний день. Даже тепло стало. Деревья в несколько дней успели одеться листвой, и всякая травка спешит использовать короткое полярное лето.

Профессор — ширококостный украинец с висячими усами, помахивает палкой и задумчиво продолжает:

— Вот только одно для меня неясно: куда это многоликое божество бредет? Теперь опять назревает процесс украинцев. Среди студенческой молодежи открывают сепаратистическое движение. Собственно, сепаратизм то вызывается желанием освободиться от большевизма. Открыли большую организацию так называемого СВУ — Союза Вызvolения Украины. Полны тюрьмы молодежи.

— Может быть, это такое же дело, как ваше?

— Э, все дела здесь, в конце концов, туфта.

Дело профессора Диденко — совсем анекдотическая история. Собралось у почтенного профессора по случаю семейного праздника несколько родственников и друзей. Как полагается, поели, наговорились, выпили, отвели, так сказать, душу. Однако, лукавый не дремал. Один из друзей в конце ужина произнес маленький спич с похвалой хозяину. И в похвале этой оратор немного перехватил. Помянул о национальных стремлениях украинского народа, а также, что, мол, если произойдут известные политические перетурбации, вы будете нашим избранником на высокий политический пост. За это, конечно, было выпито и затем за веселым галдежом забыто. Однако, следующую ночь и все дальнейшие ночи Диденко провел в подвале ГПУ, а в результате получил три года Соловецкого концлагеря. Разгадывать сложную загадку, кто из близких был провокатором, Диденке уже надоело и он старался об этом не думать.

Мы расстались перед Кремлем. Я отправился в сельхоз повидаться с Матушкиным.

* * *

В сельхозском бараке, за столом, где некогда встречал нас покойник Петрашко, пили чай Александр Иванович Демин, Матушкин и Веткин. Александр Иванович, продолжая начатый разговор, повествовал о Толстом.

— Конечно, если бы Лев Николаевич жил в наше время, он не остался бы безучастным к происходящему. «И меня к стенке» — непременно сказал бы он.

Веткин весело подмигнул:

— Ну, ну, уж вы скажете, Александр Иванович. Толстой? Да, ведь, он был помещик, аристократ, капиталист. Пожалуй, его поставили бы к стенке и без приглашения.

Мы смеемся. Александр Иванович сердится. Когда он и Веткин ушли на работу, я говорю Матушкину.

— Ничего не могу понять: что такое в лагерях происходит.

— Самая обыкновенная комедия. Называется она для широких партийных кругов «комиссией Ворошилова». Яко бы Ворошилов стал получать множество писем от красноармейцев, относительно их красноармейских отцов, истязуемых в лагерях, и возбудил дело о реформе лагерей. Делается это все, как-всегда, с коммунистическим вывертом. Ожидается большая волна расстрелов. Чернявского уже расстреляли.

Помнишь, как старался парень? В прошлом году застрелил в лесу четырех заключенных, собиравших ягоды. Теперь самому хозяева череп продырявили. Мобилизованы все палачи. Будет работа. Зарина прижали за заговорщиков. Ведь расстрелянных он провел приказом умершими от тифа. Струсил, сволочи. Но посмотри на наших русаков — как они обрадовались. И впрямь, ведь, верят, будто курс меняется. Может быть многие уже чемоданы увязывают.

— Утопающий за соломинку хватается.

— Нет, тут бесконечное легкоеверие, — возразил Матушкин. — Эх, дружище, кровью покупаем опыт и бросаем его, как ненужный, псу под хвост! Вот!

4. ГИБЕЛЬ ИМЯСЛАВЦЕВ

Приятно после долгой разлуки встретить соратника однополчанина, пожать его руку, ощутить это особенное чувство солидарности, созданное мелкою вязью событий, некогда пережитых вместе, приятно встретить его ласковый, ответный взгляд и с особым удовольствием узнать о его жизненных невзгодах и успехах. Но несомненно приятнее встретить на каторге одноэтапника, спутника в многотрудной тюремной жизни и соучастника страданий первых и самых трудных времен тюремной и лагерной жизни. Здесь в лагере судьба людей феерична. Пребывают все в одном качестве «заключенный», но судьба забрасывает кого на верхушку административной лестницы, кого в пекло рабочей роты или в братскую могилу. Трогательно бывает видеть, как какой-нибудь шпаненок; замызганный и обтрепанный на работах, с испитым лицом, трясет руку щеголевато одетому заву-одноэтапнику, тому самому заву, чьего взгляда боится вся братва.

Именно такая неожиданная встреча произошла у меня в лесу, на скрещении Савватьевской и Секирной дорог, там, где стоит уже несколько лет большой деревянный конный каток.

Только что я дошел до катка, по Секирной дороге подошел стрелок-охранник.

При виде ненавистной шинели я внутренне съежился от глухого чувства злобы и на лицо у меня набежали морщины.

— Семен Васильевич, неужели вы?

Я остановился в изумлении, смотря на охранника, радушно протягивавшего мне руку. Но как же обрадовался, узнав в стрелке Аркадия Ивановича Мыслицина!

— Вот не подумал бы, — бормотал я бледный от волнения. — Да каким это образом, Аркадий Иванович в таком вы странном одеянии, да из таких страшных мест идете?

Облачко набежало на лицо Мыслицина при этих словах. Он помолчал, словно не находя слов и убедившись, что дороги пусты и мы одни, продолжал:

— Судьба играет человеком... А вот я в игру весьма скверную попал.

В лагерях, по рассказам Мыслицина, его как бывшего чекиста, хотя и имеющего контр-революционную статью, зачислили в охрану. Работал эти годы на материке, но теперь,

вследствие усиления соловецкой охраны был переброшен на остров, потеряв приобретенный на месте прежней службы блат.

— Да, судьбы наши в этих проклятых местах бывают удивительно фантастичны. Вот мне, русскому офицеру, участнику гражданской войны на стороне белых, приходится быть и, можно сказать, содействовать, самому ужасному — расправе с безоружным, обреченном на смерть, изображать некую составную часть лапы ГПУ, тяготеющей над лагерями и Россией.

Он нервно расковырял папиросную пачку и как-то, словно глотая, начал втягивать в себя дым, захлебываясь и кашляя.

— Кругом проклятые стены. Что тут сделаешь? Проклятое время. Вот и теперь я иду на свободу. То есть, собственно, в ссылку, как и всякий соловчанин. И весь этот ужас уже позади. Но я думаю, до конца жизни не забыть мне того, что увидел я за два месяца хозяйничанья Успенского. Помните этих — «Бог знает»? Позавчера расстреляли их всех. Сто сорок восемь человек.

— Имяславцев? Неужели?

Я был поражен неожиданной вестью. В сознании тотчас выплыли эти стойкие сермяжные люди, не желавшие признавать антихристовой власти, не желавшие работать Антихристу.

Мы с Мыслициным отошли с дороги в лесную чащу и сели на мох за большим валуном. Он так мне обрадовался, так жадно хотел высказать мучившее его и угнетавшее.

— Так вот, о гибели имяславцев по порядку расскажу. Не дает мне эта картина покоя, а рассказать, облегчить душу от тяжести некому.

* * *

Их набралось сто сорок восемь. Большая часть из Терской области, с юга, остальные из Сибири и с Волги. Все, как один — крестьяне. Жили они на острове Анзере в полной изоляции, недалеко от другой группы изолированных церковных иерархов. Без малого год прожили они в такой изоляции, без всякой связи со своими близкими. Жили бы и теперь, если бы не Успенский.

На каторге, сами знаете, теперь «новый режим». Братва митингует. Начальство в панике. Впрочем, охранять теперь не надо: как ножом отрезало. Какой шпаненок побежит оттуда, где как никак кормят, а труда не требуют?

И вот, шпана первым делом отказалась от работ. Назревал большой скандал. При таких условиях дело ГПУ не только перестанет давать доходы, но потребует больших расходов.

Два месяца тому назад совнарком издал секретный декрет — расстреливать отказчиков от работ. На каждой командировке, согласно этого декрета, образованы «тройки» из чекистов. На всякий отказ от работ десятником и наблюдающим чекистом составляется акт. Тройка ставит на акт свою визу, и отказчик отправляется в изолятор на Секирную. А

оттуда — в братскую могилу. Братва митингует и приветствует «новый режим», а тем временем он держит на Секирной шесть палачей, и ежедневно находится им работа. И сам новорожденный начальник лагеря, Успенский, достаивает принимать в палаческих расправах личное и собственноручное участие.

— Так вот, на днях Успенский приказал составить акт об отказе от работ на изолированных имяславцев. И всех их расстреляли.

— Никогда не забуду этого ужаса, даже если бы и хотел забыть. Как раз в тот день я был наряжен в караул на Секирную. До сих пор удавалось брать иные посты, а тут не вышло. Пришлось идти.

Пост у дверей, — у притвора церковного. Оттуда выводили смертников, а стреляли в ограде. Человек восемь охранников принимали трупы, еще теплые, еще конвульсирующие, на подводы и увозили. Посмотрели бы вы на охранников-то: лица на них не было, — глаза растерянные, движения безтолковые, — совсем не в себе люди. Нагрузят воз теплым трупьем и как сумасшедшие, гонят лошадей под гору, — поскорей бы убраться подальше от сухого шелканья выстрелов. Ведь каждый этот выстрел обозначал расставание живой души с мертвым телом. Стреляли часа два. Восемь палачей и сам Успенский.

— Но самое страшное было там в притворе у нижнего изолятора. Смертникам связали руки еще наверху. Представляете вы себе эту толпу обросших бородами, кондовых мужиков со связанными назад руками? Они вошли и остановились в глубоком безмолвии. Палачи еще не были готовы и жертвы ждали. Сколько, не знаю. Но мне время показалось часа за два. Только один я, стоя внутри на страже у дверей, видел всю эту картину.

— Они стояли понурые, плечом к плечу и думали свою крепкую думу. Тишина такая — даже в ушах звенело.

— Вдруг дверь настежь. Вбегают два палача: еще жертву забыли в верхнем изоляторе — женщину — смертницу.

— Ведут они ее, а она визжит, упирается, словасловно выплевывает. Они буквально ее приволокли в притвор, бросили и ушли, дверью хлопнули. Женщина сразу перестала кричать. Увидев толпу сумрачных, тихих мужиков со связанными руками, она, должно быть, только теперь все поняла, — и уставилась на них остановившимися глазами.

— И еще сумрачнее стало в закрытом притворе. Молчат смертники, ни звука снаружи.

— Я их, этих страдальцев за веру видел еще раньше на Поповом острове в 1928 году. Это были крепкие, кряжистые мужики. Они и теперь те же. Но страдания наложили отпечаток на суровые лица, изрезали их морщинами. Кое кто подался, побледнел, высох. Вот один высокий, тонкий, смуглый, болезненный, — кожа да кости. А рядом старшой: огромный, дородный, рыжий бородач. Тот высокий, тонкий смотрел перед ним мальчиком.

— Сколько времени прошло в этой жуткой тишине — не знаю. Слышу тихий, словно вздох, шопот того высокого, болезненного:

— Помирать будем. Молитву бы на исход души. — Рыжий бородач встрепенулся, словно только проснулся. Хотел было перекреститься, но крепко связаны руки сзади. Еще разъедрнул руки и по лицу прошла судорога.

— Не терпит антихрист креста, руки вяжет. Крестись, братья, умом.

И полился тихий придушенный басок, такой далекий и такой проникновенный. То прорвется, угаснет, потопленный глотаемыми слезами, то вновь окрепнет ярким звуком, вспыхнет в тишине.

— Смертники подняли головы, бледные губы вторят молитве на исход души, глаза устремились ввысь — туда к Предвечному, за Кого здесь они отдают свою жизнь: — Помяни, Господи Боже, нас, в вере и надежде живота вечного погибающих за Тебя, рабов Твоих...

И каждый шептал имя свое свято хранимое от антихриста, оно теперь благоговейно возносилось ими пред лицом Предвечного. — правда Твоя, правда во веки. Аминь.

— Долго шептали и повторяли слова молитвы смертники. И опять водворилась тишина, снова прерванная шепотом болезненного: — Помрем во имя Иисуса Христа, за нас распятого. Мученического венца сподобимся. Помолись еще, брат. Над нами, убиенными уже, некому будет прочитать молитву. Прочитаем сами.

— И опять встrepенулся рыжебородый богатырь. Опять полился дрожащей струей мягкий голос и заворили ему все остальные: — Ей, Человеколюбче, Господи, повели, да отпустятся от уз плотских и греховных, и прими в мир душу раба Твоего. И опять каждый прошептал свое, святохранимое, одним Господом Богом знаемое, имя. И упокой его в ечных обителях Твоих. Аминь.

— У кого текут слезы по суровым лицам, у кого застыли они в глазах и застыл их недвижимый взгляд. А женщина то эта, вдруг, как рухнет во весь рост на каменный пол. Не выдержали нервы. Это была вдова недавно расстрелянного за неудачный побег советского поэта Ярославского. Она в Кремлевском дворебросила в Успенского, расстрелявшего её мужа, камнем. И теперь за это погибала.

— Слышу: снаружи топот. Идут палачи. Сильная рука рванула тяжелую дверь и первым вошел палач любитель, сам начальник лагеря, товарищ Успенский. Пожаловал лично расправиться с женщиной за камень...

— Еще не отзвучали слова молитвы, еще шепчут их бледные губы смертников... Успенского как обухом ударил этот шепот. Он повел плечами, нервно вынул наган и опять положил его в карман, прошел вдоль притвора в правый угол. Казалось — для него эти мужики, умирающие за веру, шепчущие слова молитвы, стали вдруг ненавистны, ибо всякое сопротивление его раздражало, как быка красная тряпка. Он привык видеть смертников бледными, трепещущими, уже наполовину ушедшими душой в иной мир. Шепот молитвы и сама молитва сковывали этих серых людей в одном стремлении и на Успенского повеяло холодком. Ведь не палачом же он на белый свет родился, где-то в душе должны быть следы прошлого. И это прошлое, очевидно помогло ему понять состояние погибающих верующих. Им овладело нервное настроение. Желая скрыть свое состояние, он закурил и через плечо бросил палачам распоряжение.

— Тем временем Ярославская пришла в себя. С трудом опираясь на стенку, встала и — прямо к Успенскому. А тот словно обрадовался случаю выскочить из жути, обругал ее самыми последними словами.

— Что? Теперь и тебе туда же дорога, как и твоему мужу. Вот из этого самого нагана я всадил пулю в дурацкую башку твоего Ярославского.

— Женщина как закричит, как задергает руками. А Успенский смотрит и смеется судорожным, наигранным смехом. Врет: совсем ему не весело.

— Развяжи мне руки, развяжи, падаль паршивая! — в истерике орала Ярославская, пяясь к Успенскому задом, словно ожидая, будто он и впрямь развяжет ей связанные сзади, руки. Потом вдруг круто повернулась, истерически завизжала и плюнула ему прямо в лицо.

— Успенский сделался страшен. Выплевывая ругательства, он оглушил женщину рукоятью нагана и — упавшую без чувств, стал топтать ногами.

— Началось... Брали с краю и уводили. Самого расстрела я не видал, слышал только сухие выстрелы палачей и неясный говор. Да порой вскрик кого-либо из убиваемых: — Будь проклят антихрист!..

— Не помню — как я добрался домой. И теперь хожу как в тумане... Подумайте: не насмешка ли судьбы? Вы же помните: я сын священника, человек верующий. И вот, именно мне выпало на долю — стоять на карауле при этом безбожном, чудовищном деле, при избиении Христовых мучеников. Срок мой кончается — досиживаю последние дни, но такая смертная тоска меня душит — жизни своей не рад. Не могу теперь без ужаса, без внутреннего холода смотреть на здешних людей, душу и сердце утративших.

* * *

На Мыслицине лица не было, в глазах его стояли слезы.

— Знаю, придет день и проснется в этих каменных сердцах совесть и позднее раскаяние о невозвратно утерянном душевном покое и гибели в нем всего светлого, чем жив человек. Знаю... Видал я их, этих погибших людей в раскаянии, но никогда бы я их не пожалел. Я тоже винтик эгой лагерной машины, но я никогда не пойду на убийство, даже под страхом собственной гибели. А ведь для них это почти удовольствие, особенно для Успенского.

Мы расстались. Я подождал пока Мыслицын скрылся за поворотом и только тогда вышел из-за закрытия. Нам нельзя было идти вместе. Несмотря на «новый режим» в лагере, заключенный не имел права разговаривать с охранником.

Подавленный рассказом о гибели имяславцев, я тихо брел по дороге, по пути, проходимому смертниками на Секирную. Только они оттуда уже не возвращаются, как вот я. Страшные места, страшные люди.

В моем сознании, помимо моей воли выплыла фигура подтянутого, одетого в чекистскую форму, Успенского, вспомнился его удар кулаком по столу и митинговый возглас:

— Вы зверей кормите лучше, чем заключенных!

5. НАДЕЖДЫ ВОСКРЕСАЮТ

Наконец, страшные места остались позади. Справа засинело море. Я свернул с дороги по знакомой тропинке взглянуть на места, где мы заживали с Матушкиным в первые годы соловецкого житья.

Все тоже. Сенокос закончен и сено сложено «в зароды». Берега пустынные, на обнаженном от сильного отлива морском дне зеленые водоросли, а в ямках под ними, вероятно, осталась мелкая камбала.

Тропинка извивается по берегу. На одном из её поворотов у самого морского берега штабель баланов (бревен). Наверху сидит усталый рабочий, укладывает последние стволы. Вглядываюсь — Мамакин, уральский казак. Ответив на приветствие, он продолжает возиться с бревном.

— Да, братишка, после такой работы баба на ум не пойдет. Нет, уж это так верно.

Мамакин закончил работу, осторожно слез со штабеля и, вытерев влажные руки, начал крутить папиросу.

— Что слышно у вас в городе нового? — спросил я.

— В городе? Да ничего особенного, — сказал Мамакин, затягиваясь. — Этап новый пригнали. Татарья этого самого из Казани понаперло. Все правительство ихнее приехало. Обвиняют в связи с Турцией. Только турок никаких не привезли. Разве что в подвалах шлепнули. Вот военных тоже много привезли.

— Каких военных?

Разных. И комбриги и начдивы, и мелочь ротная и взводная. Ходят в своих шинелях и кругом как зайцы осматриваются. Не нравится им здесь, должно быть.

Распростившись с уставшим Мамакиным, я направился в сельхоз. На дворе там было пусто. Из скаковой конюшни брел старик-ветеринар Федосеич, мурлыча что-то под нос. Любил старик стихи и пение, но музыкальный слух у него отсутствовал, и его пение походило скорее на какое-то кудахтанье.

Федосеич был мне рад и потащил к себе.

— Идем, идем. Я теперь обитаю вдвоем с зоотехником Кочергой. Недавно прибыл. Совсем свежий.

Мы сидим у Федосеича и я вытягиваю из неразговорчивого Кочерги новости. Военных пригнала сюда Рамзинская история. Рамзина, между прочим, спросили, на какие силы он думал опираться. Он, яко бы, сослался на южные войска. Этого было достаточно, что бы почти весь Киевский округ оказался разгромленным. Красные командиры, не чуввшие в себе ни сном, ни духом никакой контр-революции, очутились на Соловках в роли каэро. Конечно, среди них было много старых военных, служивших большевикам верой и правдой. Теперь их карьера кончена навсегда. Для них это может быть не ясно, но для нас непреложно.

Федосеич начал длинный рассказ о своей командировке в Москву. Отправил его лагерь туда в научные учреждения за сыворотками для прививок скоту, конечно, без конвоя. По приезде, при явке на регистрацию на Лубянку, его задержали, посадили в Бутырки и отправили обратно этапом в Соловки. Как разъяснилось впоследствии — существовало распоряжение о запрещении командированным заключенным прибывать в Москву без конвоя.

По обыкновению, с Федосеичем происходило множество анекдотических случаев. Шпана его боготворила, ибо украсть у Федосеича было нечего и, стало быть, причин для ссор не имелось.

— едем мы из Питера в Кемь, — рассказывает Федосеич. — Взобрался я на среднюю полку. Ночью просыпаюсь — вижу шпанята что-то копошатся. Помыли ^[17], оказывается, двух фраеров в соседней клетке и теперь что-то все жрут. Смотрю — протягивается ко мне рука и тычет в нос булку. Я отстраняю. Ворованная, мол. Недовольный голос бурчит: «А папиросы целый день, думаешь, какие курил? Что мы, фраера, что ли? У нас все ворованное. От мытья живем». Мне и крыть нечем, — закончил Федосеич.

— И булку, стало быть, взяли? — спрашиваю я.

Федосеич энергично мотнул головой.

— Нет, булку не взял.

Распростившись с сельхозцами, опять иду обратно на пристань у Варваринской часовни. Стоит ясная погода. Встречные озерки расцвечены желтыми кувшинками и обрамлены зеленым бордюром мхов и сорных злаков вперемешку с яркими лютиками.

Около теплицы сортоиспытательной станции копаются со своими шарами-зондами все тот же профессор Санин. На месте расстрелянного Чеховского никого нет и Санин работает один. Наполнив из металлического баллона газом резиновый шар, величиною в две человеческих головы, профессор выпускает его и начинает танцевать у своего инструмента наблюдая одновременно и секундомер в руке и шар в зрительной трубе инструмента и отсчеты высот.

Я молча раскланялся с профессором и прошел дальше в лес мимо печальных домов сортоиспытательной станции.

На Варваринской большие перемены: половины старых обитателей уже нет.

За столом сидит лесничий Бродягин и вырезывает из карельской березы портсигар. Когда-то тут за столом напротив сиживал владыка Илларион и вел тихую беседу со старым лесным волком — князем Чегодаевым. Владыка уже отошел в лучший мир, а Чегодаев где-то на материке.

По-прежнему лики икон смотрят со стен часовни и с расписанного потолка, по-прежнему течет жизнь заключенных, закинутых в эту часовню. Но для меня жизнь потеряла свою остроту и интерес. Я вдруг почувствовал приступ свирепой, необъяснимой тоски. Стены, проклятые стены, сдавливающие, обрекающие на гибель, начали давить меня. Казалось — я даже могу ощутить их и осязать их каменную несокрушимость.

Я вышел из часовни и направился на пристань. Там маячила одинокая фигура в сером бушлате. Я с радостью узнал в ней Найденова — этого крепыша несокрушимого.

— Я так и думал — совсем вы духом упали после зимних историй, — сказал он, глядя в мое лицо, видимо потемневшее от тоски.

— Да, проигрыш большой, что и говорить, — ответил я. — И ужаснее всего его неожиданность. Теперь, кажется, нет нам избавления.

— Все дело в хотении. Вот ведь бегут же отсюда люди безоружные. Шанс на успех ничтожен. И все же бегут.

— Да, если бы винтовочку, — вздохнул я. — Ведь эти палачи способны действовать оружием только против безоружных.

Найденов улыбнулся.

— В таком случае наше дело совсем не плохое. У меня есть две винтовки и некоторый запас патронов. Лодки в пушхозе также имеются.

Я с удивлением смотрел на Найденова. Тот продолжал:

— Винтовки я достал недавно и спрятал в лесу в надежном месте. Как достал — расскажу потом. Это мало вероятно как будто, однако, удалось без особого труда.

В таком случае после окончания белых ночей мы можем двинуть в леса. С винтовками можно зимовать и жить в любой лесной труппе. Оружие даст нам пищу, а кров мы сами устроим. Я этого дела мастер.

Вся моя тоска улетучилась сразу. Мы начали обсуждать проект побега, намечали даже приблизительно время. Шанс на успех был огромный, ибо оружие давало нам в руки все нужное для жизни, а поимка вооруженных людей в дремучих лесах вещь совершенно невозможная. Для меня, уже проделавшего четырнадцатимесячную сидку в лесах Прикамья, лесная жизнь не была новостью, и я отлично знал, какое значение для такой жизни имела винтовка.

Я не стал спрашивать Найденова о способе приобретения винтовок, разумеется они могли быть приобретены только от «своих людей», вероятно, в охране. А они, «свои люди» там несомненно были.

По кремлевской дороге к нам шел Пильбаум.

— Вы здесь? Идите ка скорее к директору. Он вас по всему острову ищет. Срочное дело.

На мой недоумевающий взгляд, Пильбаум отвел меня в сторону и рассказал в чем дело. Оказывается ГПУ желает заниматься кролиководством в широких размерах в Карельских лесах. И мне предстоит составить проект этого хозяйства.

На пристани Лисьего острова Михайловский ещё издали машет рукой.

— Идите к Карлуше. Дело серьезное. Туомайнен корпел над какими-то бумагами. Я сел на диван и приготовился слушать.

Ловкий человек этот Туомайнен. Он всегда ведет со мною хитрую политику. Разговаривая о каком-нибудь, незнакомом ему, специальном вопросе, сначала все выспросит, все разузнает. Затем, через несколько дней, приходит в крольчатник и с серьезным видом начинает давать инструкции по этому самому вопросу, добросовестно рассказывает мне все, что от меня же узнал, выдавая все это, глазом не моргнув, за свое собственное. А то был у него еще прием. Он хорошо знал мой вспыльчивый характер и пользовался этим. Начнет вдруг ни с того, ни с сего обвинять меня в неправильностях моей работы. Меня это, конечно, взорвет, и я принимаюсь горячо оправдываться, приводя доказательства, чертежи, выкладки, роюсь в справочниках. Ан, Туомайнену только того и нужно было: и не унижился до расспросов, и узнал все подробно.

Туомайнен отложил свою работу и начал давать мне задание, не обнаруживая сперва особых подробностей. Пришлось вытягивать их у него рядом вопросов.

В общем оказалось, что нужно запроектировать промышленное кроличье хозяйство в Карельских лесах с годовой производительностью в тридцать тысяч голов ежегодной продукции.

Я терпеливо выслушал его инструкции и, забрав нужные бумаги, пошел в крольчатник.

Константин Людвигович с Абакумовым работали у наружных клеток. Увидев меня в возбужденном состоянии, он было решил, что я поругался с Туомайненом.

— Ну, дружище, осенью, наверное, покинем эти места, — весело сказал я.

— Каким это образом?

Я показал ему задание.

— Хозяйство будет большое. А кто его будет вести? Специалист то, ведь только я. Быть нам обоим на материке.

Фортуна опять повернулась ко мне лицом. Теперь и винтовки нужны не будут. Удрать с материка будет на много проще. Ветром свободы повеяло. Я вновь воспрянул духом и был готов к борьбе.

6. КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ТУФТА

Николай Федосеевич Протопопов, главный сельхозский врач, обслуживал также и животных пушхоза. После смерти Чижа ветеринары не доходили с этапами до Соловков, очевидно, застревали в многочисленных материковых лагерях. Федосееич бывал у нас в пушхозе не реже раза в неделю. Заходил он и в крольчатник — посмотреть моих животных, называемых им не иначе, как «нелепыми».

Федосееич был верующим христианином и ни перед кем этого не скрывал. Вся его жизнь здесь в лагере — сплошной христианский подвиг. Он работал не покладая рук и делал это не для ГПУ, но из любви к животным. Впрочем, ничуть не меньше он любил и людей. Проницательный старик сразу чувствовал «лагерную сущность» своего собеседника и безо всякого труда узнавал сексотов. Однако, их он не боялся и относился к ним снисходительно. С людьми партийными Федосееич любил вести длинные беседы. Интерес к Человеку у него был огромный, как вообще и любовь к нему.

В откровенной беседе со мною, Федосеич рассказывает о нелепых партийных людях:

— Каждый человек с головой видит, конечно, партийное болото таким, как оно есть. Но выхода из этого болота у них нет. Вот вам — есть у меня приятель можно сказать — следователь ГПУ. Так тот прямо спрашивает, а куда он денется, если этого коммунистического болота не будет? Я, говорит, ничего не умею. А ведь при всякой иной, не коммунистической власти, от работников вообще потребуется меньше работать... Вот при советской власти он ценный работник. Здесь не надо меньше работать, но только способность заряжать туфту, ибо вся советская система сплошная туфта.

— Неужели ничего положительного вы не видите в коммунистическом творчестве? Ведь вот звероводство у нас даже в чекистском пекле идет хорошо.

Федосеич улыбается.

— Исключения из правила, конечно, встречаются. А тут, собственно, и исключения то нет. Просто хозяйство наше посадили на буржуазную почву — оно и развивается. Получается, стало быть, все равно туфта.

Федосеич начал философствовать на тему о советской туфте, о «коммунистической целесообразности», об отпадении буржуазных понятий о чести, совести, правде, как не оправдываемых коммунистической целесообразностью.

— Удивительна действенность всех этих партийных доктрин. Ведь большевики чистой воды материалисты. Но ведут они бои и несут жертвы во имя будущего. Вот тогда то наступит социализм и всем будет хорошо. А пока боритесь, кладите головы за социализм и прочее. Так вот, это жертвы их разве не альтруистическая погибель за други своя? Чистые материалисты, не признающие ничего сокровенного и таинственного в природе человека и в природе вообще и вдруг-на: садят на каторгу спиритуалистов только исключительно за их спиритуализм, за их влияние спиритуалистическими средствами на членов правительства!

* * *

В конце лета в пушхозе появились два новых ветеринарных работника: ветеринарный врач Почезерский из Петрозаводска и ветеринарный фельдшер Матисон. Почезерский был типичным, по выражению Горького о себе, «околопартийным» человеком, пользовался большим доверием в партийных кругах и даже получал заграничные командировки (в Финляндию) для закупки лошадей. Однако, кончил все же лагерем и сел ет.

Матисон оказался веселым малым. Ко мне он сразу стал относиться с большим доверием и охотно рассказывал о своей работе, о работе Коминтерна за границей, о своем провале и вынужденной эмиграции в СССР. Впрочем, дело его не только не сложно, но и шаблонно. Будучи завербованным в подпольный комсомол, он проявил большую энергию, ведя пропаганду и на этом попался. Пришлось партии его переправлять в СССР. Здесь, увидев коммунистические принципы в действии, Матисон пришел в себя от коммунистического дурмана и, как человек прямой, не стал скрывать своих трезвых мыслей. В одно не

прекрасное время его посадили на Лубянку и дали пять лет Соловков. Конечно, свободы ему уже больше не видать. Каждый прозревший является настоящим врагом системы. Чекисты это, конечно, знают и таких людей обезвреживают или содержанием на изолированных Соловках, или расстрелом.

О своей работе Матисон рассказывает.

— Коммунистическая партия у нас запрещена, но существует нелегально, пользуясь разными легальными прикрытиями. Работа латвийской компартии поставлена на широкую ногу. Я думаю так и в каждой стране, прилегающей к СССР. Приходилось мне встречаться с финскими и с эстонскими комсомольцами. В общем и по их сведениям способ работы политической у Коминтерна одинаков.

— Нет ни одной фабрики, завода и промысла, где бы не было тайной коммунистической ячейки. Конечно, такая ячейка ведет самую энергичную работу. Во первых, ведется тщательный шпионаж на производстве, собираются точные сведения чего, сколько и как вырабатывается. Во вторых, в ячейку стараются вовлечь побольше квалифицированных рабочих и специалистов. Сеть тайных коммунистических ячеек на всех производствах страны в случае войны будет играть огромную роль. Вот, например, в таком деле, как изготовление боевых припасов. Член комячейки, какой-нибудь третьестепенный мастер, по распоряжению из центра партии будет выполнять свою работу с незаметным вредительством: не довернет до надлежащего положения какой-нибудь винт или еще какую-нибудь мелочь будет делать не так, как требуется. От этих неуловимых и не учитываемых вредительств снаряды будут рваться не так как нужно, попадания будут не меткими. Если это касается аэропланного производства, навредить можно и еще того больше. Мало ли путаницы и беспорядков можно сделать таким тайным саботажем.

— Вторая задача комячеек — политическая работа. Членам комячеек вменяется в обязанность входить в разные легальные партии и их разлагать. Само разложение проводится по простой схеме, при обсуждении на рабочих собраниях различных политических и экономических вопросов, надо стремиться занимать крайнюю позицию и так или иначе, всякий животрепещущий вопрос запутать, оттянуть его разрешение. Если вопрос будет сдан в комиссию непременно постараться в нее войти и там принимать все меры к тому, чтобы вопрос запутать и извратить. Делается это с единственной целью ошельмовать своих политических противников, лишить их влияния в рабочей среде. Тайная пропаганда довершает дело привлечения рабочих симпатий на сторону коммунистов. Демагогия, ложь, провокация вот главные коммунистические орудия.

Я смотрю на Матисона с некоторым удивлением.

— Но, ведь вы, применяя эти способы, знали их сущность?

Комсомолец как-то съеживается.

— Конечно. Но, ведь, все это во имя идеи делалось. Все средства для достижения общего счастья казались хорошими.

— Ну, что-ж, вот теперь вы это хорошее увидели. Каково оно вам показалось?

— Каторжная жизнь — и ничего более, — с горечью ответил комсомолец.

7. ПОСЛЕДНИЙ ВЗГЛЯД НА ОСТРОВ СЛЕЗ

Двадцать второго ноября, в годовщину расстрела Петрашко, ударил мороз. Выпавший накануне снег твердо залег на зиму. Пароходы уже с трудом проходили по бухте Благополучия к Соловецкой пристани. Лагерная администрация торопилась закончить завоз продуктов и вывоз заключенных, подлежащих освобождению зимой.

В пушхозе настоящее столпотворение: готовятся к отправке на материк в новый, обширный лагерный питомник лисицы, соболя, кролики. Соловецкий питомник делится. Вместо Туомайнена остается заведовать питомником Каплан. Туомайнен ведет войну с административной частью из-за сотрудников, подлежащих в качестве незаменимых специалистов, вывозу на материк в новый питомник. Все это, конечно, контрреволюционеры высокой марки, и не в обычаях лагерной власти выпускать таких людей на материк. Меня и Михайловского отпустить категорически отказались. Туомайнен оказался в двусмысленном положении, приходилось начинать большое дело без специалистов. Наконец, в самый последний момент разрешили взять меня для сопровождения транспорта животных до нового питомника, с возвратом сейчас же на Соловки. Это было ошибкой со стороны лагерных чекистов. Попав на материк, да еще последним пароходом, я был оставлен в новом питомнике. Моя упорная работа в крольчатнике открыла мне дорогу на материк, в те места, откуда, за несколько месяцев перед тем, бежал в Финляндию топограф Ризабелли, вывезенный из Соловков для срочных работ по распланировке нового питомника и съемке окрестностей. Вместе со мною выезжали полковник К. Л. Гзель и А. Э. Серебряков.

Лодки, сломав забереги, подошли к пристани против крольчатника. Нужно перевезти транспортные ящики с животными морем до Варваринской часовни и оттуда на подводах отправить на морскую пристань.

Я, прощаюсь с остающимися. Выбираю минутку и забегаю к Найденову. Мы наскоро прощаемся. Найденов сообщает:

— Отсюда, из Соловков, на новый питомник отправляется большая партия плотников. Может быть, еще и увидимся.

Я крепко жму ему руку и иду в крольчатник. На моем месте остается в крольчатнике казак Абакумов с помощниками — китайцем Хейдеси и новым рабочим Петром Хвостенко, через год перекочевавшим также в новый питомник. Наскоро прощаюсь со всеми и сажусь в нагруженные лодки.

— Счастливого пути, — кричат с берега отплывающим на лодках.

— Скорого освобождения, — несетя в ответ с лодок.

В стороне стоит и смотрит на отправку группа строительных рабочих и среди них в наполеоновской позе — стрелок-чекист Прорехин.

Я был рад, что в последний раз вижу ненавистного мне человека и исчезающий за поворотами лодок между островами питомник.

На пароход «Глеб Бокий» мы грузились уже в темноте. Мне не пришлось, как весной, ходить к дежурному чекисту: командировочные бумаги были у меня в кармане. Новое веяние чувствовалось во всем. Грузчики не молчали, а весело разговаривали и даже шутили. На штампе моего документа стояло не УСЛОН, а УСИКМИТЛ (управление Соловецкими и Карело-Мурманскими исправительно-трудовыми лагерями). Я с

восхищением свернул бумажку с этим замысловатым штампом и бережно спрятал в карман: это пропуск на первые шаги свободы, ожидающей меня впереди.

IX. СОЦИАЛИЗМ СТРОИТСЯ

1. ОБЩИЙ ВЗГЛЯД

Большевицкий государственный корабль путешествует все двадцать лет коммунистического владычества по двум путям: государственному (нэп) и антигосударственному (мировая революция). Держа путь на мировую революцию, кормчий расшатывает и разрушает государственное хозяйство, морит голодом население, ибо действует только во имя и для целей мировой революции, но не на благо граждан. Дойдя до какой-то точки народного терпения, кормчий поворачивает корабль на фарватер нэпа, к «проклятому буржуазному режиму». Государственное хозяйство начинает лечить свои бесчисленные раны, народ перестает умирать с голоду. Наступает передышка. Во время хода по фарватеру «мировой революции» кормчий является безусловным вредителем по отношению к старому курсу, ибо разрушает все и вся. При повороте на фарватер нэповский — кормчий уже является вредителем идеи «мировой революции». Если, например, взять советские газеты 1924-28 годов (курс на нэп), то для теперешнего курса на «мировую революцию» они являются неприкрытой контрреволюцией, ибо горели энтузиазмом строительства государственности для блага граждан, для их лучшей жизни, совершенно умалчивая о мировой революции. Всех деятелей того периода можно посадить на Лубянку по обвинению во вредительстве делу мировой революции (замаскированная земельная собственность в деревне, торговля в городах и проч.). Таков в жизни «принцип коммунистической целесообразности».

Поворачиваясь, как ветряная мельница то «лицом к деревне», то «лицом к мировой революции», строители социализма, однако, тщательно скрывают и свое лицо и свои вихляния, маскируя все мероприятия по разрушению старых форм жизни под обыкновенные социально-политические мероприятия, обычные в правовых государствах. Между тем, эти мероприятия по введению «социализма в одной стране» проводились через заплочный аппарат ГПУ с применением великого кровопускания. Для постороннего наблюдателя в виде невинного перископа от тайных преступлений власти оставались только внешняя формы новой жизни, по виду почти не отличающиеся от форм старого. Однако, все эти старые формы оказываются наполненными «социалистическим содержанием», может быть, хорошим в теории, но отвратительным в жизни. Обманчивые внешние формы сохраняются только для одной цели — заявить всему миру: мы, мол, не восточные деспоты, не маккиавелисты, но стопроцентные социалисты.

В стопроцентности их, впрочем, сомневаться не приходится. Каждый внимательный наблюдатель узнает все черты социалистической доктрины в проводимых в жизнь в СССР социалистических мероприятиях. Иных черт, иного образа воплощенные в жизнь марксистские принципы иметь не могут, ибо все формы социализма для своего существования требуют не принуждения, но непременно насилия — так они чужды природе человека. И от того вся «социалистическая жизнь» является отвратительной гримасой. Укажу хотя бы на главный принцип — обычное государство печется о благе граждан и для этого блага, собственно, и создано. Советское социалистическое государство организовано и существует для совершенно чуждых государству целей — мировой революции. Впрочем, её осуществление означает только приход к некоему бгалу. Далее и мировая революция пойдет перманентно к проведению в жизнь принципов, чуждых всякому нормальному человеческому общежитию. Коммунизм ведь не высшая форма человеческого общежития, а самая низшая. Если у нас в Европе следы

первобытного коммунизма исчезли, то у народов Южной Америки его можно проследить и исторически и географически ^[18].

Правительство социалистического государства является, собственно, инородным телом в народно-хозяйственном организме. Оно может быть только диктаторским, ибо всякая иная власть будет неизбежно сметена ни надлежаше сдавленными человеческими устремлениями граждан. Оно не может быть избираемо, как на западе, ибо тогда ни один коммунист не попадет в парламент. Гражданин, освобожденный от опеки ГПУ, наплюет на мировую революцию, а захочет быть только сытым и гарантированным от чекистской мясорубки.

Если теперь представить себе частную собственность в рамках такой государственности уничтоженной, какое значение тогда примут понятия «государственная власть, личность». Да, вот особенно — государственная власть. Схематически она воплощается в образ некоего гипотетического фермера, владеющего фермой величиною в целое государство, а население превращается в обыкновенных рабочих, существующих только своим заработком. Кроме этого фермера — работодателя и хозяина жизни рабочих, работу получить нигде нельзя. Средства к существованию дает только фермер и при том в размере, какой он, фермер, находит для себя выгодным и приемлемым. И если рабочая сила в социалистическом государстве голодает, мрет от голода, не есть ли это вина только одного этого фермера, обладателя всех жизненных ресурсов?

В 1933 году этот фермер вывозил из своей фермы за границу и продавал хлеб, предоставив восьми миллионам рабочих своей фермы просто умереть с голоду.

Так вот, всей экономией правит единый кулак, состоящий на верхах власти из изуверов от социализма, руководящийся принципами так называемой «коммунистической целесообразности». Содержание этой целесообразности меняется в зависимости от того, кто эту целесообразность применяет к делу: если бандит — целесообразность бандитская, если изувер — изуверская, но она, в тоже время есть всегда и коммунистическая, ибо и бандит, и изувер действуют в интересах коммунизма. Лживость такого дадаистского принципа изувечивает все государственное строительство коммунистов и накладывает свой дьявольский отпечаток на всю жизнь. Общественная деятельность граждан — рабочих фермы — заключается в участии в собраниях, возглавляемых часто совершенно им неизвестными людьми. Такие собрания обсуждают только вопросы, поставленные на обсуждение коммунистической ячейкой, то есть управляющим кулаком. Впрочем, и это обсуждение заключается только, главным образом, в изыскании средств выжимания пота из рабочих, под видом «социалистического энтузиазма». Голосование заранее составленных резолюций производится по формуле: «Возражений нет? (молчание). Принято». Кто же может голосовать против или возражать, если это возражение сейчас же отразится на его судьбе: возражающий или противодействующий будет уволен немедленно с работы, его семья, да и он сам могут умирать с голоду, ибо в стране нет частного капитала и частного труда — все в руках того же фермера. Даже такие вопросы как раскулачивание односельчан проводились через общие собрания граждан и списки подлежащих раскулачиванию принимались единогласно. Кто же будет голосовать против даже и раскулачивания близких и родственников, чья, дерзкая рука поднимется в знак протеста? Ничья. Ибо это ведь и не борьба. Каждый знает: судьба обреченных решена не здесь и никто не в силах ее изменить. Так вот, под бурю аплодисментов членов партии и активистов развертывалась широкая кампания по физическому истреблению крестьянства. Таков этот строй, созданный на принципах человеконенавистничества.

Не менее отвратителен и главный аппарат, поддерживающий этот строй — ГПУ. Все важные мероприятия правительства проводятся в жизнь, в конце концов, этим аппаратом, состоящим из палачей. Именно этим аппаратом целиком и полностью была проведена так называемая «коллективизация», стоившая крестьянству миллионов замученных мужчин, женщин и детей в подвалах, на спецпоселках, ссылке и каторге.

Деревня принесла огромные жертвы Молоху революции. Эти жертвы, в конечном счете, исчисляются десятками миллионов. А между тем, именно старая русская деревня должна почитаться самой социалистической из всех деревень мира. Вот что сообщает об этом Г. П. Сазонов:

«Когда однажды Крепу, организатор и душа Ролондской земледельческой кооперации, автор сочинения об умиротворении и упорядочении Ирландии и об утшении господствующих в ней революционных начал при помощи этих предприятий, услышал о характере русского землевладения и земледелия (о трехполье и чересполосице! М. Н.), у него засверкали глаза, и он воскликнул: «Нет страны в Европе, более, чем Россия, подготовленной к кооперативному земледелию. Русские должны этим воспользоваться. Рабочий вопрос грозным громом пронесется над Европой, но угроза не заденет России. В её земле, общине и артели — её великий громоотвод».

Беспощадное время вдребезги разбило эти бредни знатоков. Искусственно созданная после освобождения крестьян в 1861 году крестьянская земельная община и была, и осталась только ярмом на шею русского крестьянства, о чем свидетельствуют её общие черты.

I. Хозяином и распорядителем земли в русской деревне являлось общество, но не крестьянин, коллектив, но не единоличник.

II. Земля делилась между крестьянами уравнительно на срок (3612 лет). При каждом переделе участки земли попадали в другие руки, ибо мертвых выключали, народившихся вписывали в число разверсточных единиц. Для достижения справедливости в разверстке земли, каждый хозяин получал по полосе(участочку) в хорошей, в средней, в плохой, в ближней, в дальней и т. д. земле общественного надела. В результате вся земля была в чересполосном и при том временном пользовании. Мне пришлось в Тетюшском уезде Казанской губернии встретить село, где у каждого двора его земельный надел был в сорока семи местах.

III. Крестьяне были связаны общим севооборотом. Сей то, что сеют другие. Само хозяйство общины было организовано так, что если не будешь следовать этому правилу — не соберешь урожая... Общий севооборот (обычно трехпольный) и чересполосица закрепощали хозяина, убивали личную инициативу, оставляя, впрочем, для этой инициативы почти невесомый в общем хозяйстве небольшой приусадебный участок (двор, огород).

В 1907 году был издан «указ девятого ноября». Для его проведения в законодательном порядке потребовалось прибегнуть к политическому трюку — распустить государственную думу и государственный совет на три дня и в эти три дня провести в жизнь указ, поведший к постепенной ликвидации крестьянской земельной общины и освобождению крестьянина из под её опеки. Указ давал право членам общины выходить из неё (добровольно или по суду) и вместо многочисленных полосок получить свою землю или одним общим участком, вместе с усадьбой (хутор), или без усадьбы, остающейся на прежнем месте(отруб).

Политический трюк для проведения в жизнь этого исключительного по полезности для деревни закона, потребовался из-за ложного убеждения «столпов общества» в малоземельи крестьянства. Именно в выдуманном сплошном малоземельи, а не в общинном ярме искали и, конечно, при своей предубежденности, находили корень всех деревенских несчастий «столпы общества». Я бы мог рассказать об этом липовом малоземельи много интересного, но это отвлечет нас от нашей цели. Замечу только — малоземельность настоящая существовала только как исключение из общего правила, воображаемую же малоземельность порождала архаическая община. Вот один из таких ярких примеров — село Дивное Ставропольской губернии с его земельным наделом в девятнадцать десятин на мужскую душу. Дивенцы тоже жаловались на малоземелье, ибо при большой площади общего земельного надела (75000 десятин) на дальние полосы приходилось ехать верст за сорок и эти дальние полосы часто бросались неиспользованными, отчего и получалась искусственная урезка площади надела, а для «залежной системы хозяйства» — малоземелье ¹¹⁹.

Получив в наследство от «проклятого царского режима» общину уже порядочно разрушенную столыпинским законом, большевики и пальцем не шевельнули, чтобы эту общину реформировать. Мужик по-прежнему ездил по своим полосам, кое где получил небольшие прирезки земли из помещичьих участков. Лучшие помещичьи участки отошли горлохватам и проходимцам, организаторам липовых коммун. Усевшись на лучшие земли, забрав что можно из кормов, живности и мертвого инвентаря, оставшихся от помещиков, эти липовые коммуны, съев все запасы, расползались и умирали, а земля поступала в фонд государственных имуществ (ГЗИ). ГЗИ сдавались в аренду, использовались для организации убыточных «совхозов» или просто впустую лежали.

«На другой день после пролетарской революций» крестьянин был совершенно отрешен от права распоряжения своей землей. Оно по убогому «закону о социализации земли» перешло к земельным органам. Какой при этом получился кабак — не стоит и говорить.

Как бы там ни было, но через три года после рождения на свет первого социалистического закона, предусматривающего, между прочим, кроме коллективизации крестьянской общины, передел земли во всероссийском масштабе, крестьянское хозяйство, несмотря на прирезки частновладельческих земель, пришло в полное расстройство. Чудовищное сокращение посевной площади, небывалая до того убыль рогатого скота — вот результат хозяйствования власти, превратившей всю страну в одну общину. Эгида общины была заменена эгидой совета, не изменившей ни в чем общинных порядков. Крестьянское хозяйство оказалось накануне краха на другой день после экспроприации в его пользу частновладельческих земель. Стране грозил голод, а большевизму гибель. И ничего не оставалось «строителям новой жизни», как вернуться на путь, указанный Столыпиным. И они на него вернулись. Закон о трудовом землепользовании 1922 года (земельный кодекс) является по существу столыпинским «Положением о землеустройстве», жульнически прикрытым громкими революционными фразами (вместо «личной собственности на землю» в «Положении» — «постоянное пользование» в «кодексе», вместо домохозяин — «дворохозяин», вместо сельское общество — «земельное общество» и т. д.).

За пять лет применения земельного кодекса крестьянское хозяйство в экономическом отношении сделало громадный шаг вперед, вернувшись к довоенному хозяйственно-экономическому уровню. Изобилие плодов земных — вот что дала земельная собственность, названная в земельном кодексе «постоянным пользование», могущим быть прекращенным только по суду и за указанные в законе преступления. Вспомните Шульгинские описания России (кстати сказать, изданные госиздатом в большом количестве для «ширпотреба») с постоянным припевом при описании советской

действительности: «Как прежде, чуточку похуже». Хотя хозяином земли по земкодексу вновь стало общество, но хутора и отруба приобрели бесспорное право гражданства и в общине стал продолжаться начатый указом 9 ноября 1907 года процесс её распада, задержанный революцией — сначала робкий (дробление общины на поселки и выселки), а затем бурный, вылившийся в клич: «Дашь хутора, дашь отруба».

Сеятель воспрянул духом и с благожелательностью стал смотреть на изменившуюся в его глазах советскую власть, во многом ей содействуя. Однако, при возврате власти к курсу на социализм только в течении двух лет от этого благосостояния ничего не осталось. Путем насильственной коллективизации и раскулачивания деревня экономически была совершенно разгромлена.

Понятие о советском «кулаке» ни в какой степени не соответствует этому термину. Крепкий, инициативный крестьянин, составляющий стержень трудового крестьянства, ничего общего с кулачеством в нашем смысле не имеющий, — вот кто такой советский кулак.

Самый процесс раскулачивания не является актом простого ограбления. Ограбление здесь играет второстепенную роль, ибо изношенный за годы революции инвентарь не имеет почти цены, запасы одежды истрачены. Нет, не экономические приобретения двигали власть на грабеж крестьянства, а скрытая цель физически уничтожить «мелкобуржуазную стихию». Это именно так, ибо, если у инициативного крестьянина имеется имущество — его грабят, называют кулаком, если же имущества не имеется, то такого бедняка подвергают одинаковой с кулаком участи, но называют «подкулачник». После ограбления кулак и подкулачник вместе со всей семьей отправляется на спецпереселение, в ссылку или на каторгу (концлагерь).

Только за два года было раскулачено пять процентов крестьянских хозяйств по первому разряду. Это значит, четыре с половиною миллиона людей были лишены всего своего достояния и переброшены на гибель в глухие места севера и, частью (один миллион) в концлагеря.

В 1929 году палачи деревни дошли до геркулесовых столпов. Крестьянство, разрозненное и неорганизованное отвечало на злодеяния восстаниями и партизанским террором. Понадобилась для злодейской власти передышка в виде лживого письма Сталина («Головокружение от успехов») обвиняющего в злодеяниях (мягко называемых «перегибом палки») низовой аппарат, действующий всецело под руководством партийного центра.

В 1929 году передышка длилась всего несколько месяцев, и в 1930 году прошла «сплошная коллективизация» — кровавый период, идущий до 1932 года и закончившийся злодейским умерщвлением голодом восьми миллионов крестьян. Осенью 1932 года все крестьяне, не вошедшие в колхозы, были ограблены до зерна представителями центральной власти (не низового аппарата.) На юге грабеж произвел известный Лазарь Каганович. Обреченными на голодную смерть оказались: раскулаченные по второму разряду (15 % или тринадцать миллионов едоков), подкулачники (5 % или четыре с половиною миллиона едоков). Из этих восемнадцати миллионов обреченных на голодную смерть действительно умерло около восьми миллионов. В подавляющем большинстве погибли русские, затем идут киргизы, менее пострадали татары и северные инородцы. Совсем не пострадали не занимающиеся сельским хозяйством евреи.

Так было разгромлено крестьянство. Крестьянин превратился в колхозника. С 1930 года крестьянство начало наводнять лагеря и стало использоваться на всякого рода «фараоновых сооружениях». Заплечная машина не останавливается ни на минуту, тюрьмы и подвалы полны всегда.

Лживая власть все время вынуждена заниматься провокацией для сваливания вины в своих постоянных неудачах на кого-то третьего. Обычно, при крупных неудачах создается так называемый «показательный процесс». Люди — статисты этого процесса, доводятся специально-чекистскими приемами до невменяемого состояния и клеветают на себя, обвиняют себя в преступлениях ими не сделанных, то есть принимают на себя преступления власти.

Подоплека этого приема с раскаянием заключается в самих социалистических методах ведения хозяйства. Хозяйство (каждое, в частности и государственное по совокупности) планируется в расчетах на нормальный рабочий день и нормальную производительность машин и механизмов. Так называемый «промфинплан» составляется в каждом хозяйстве и, по отделам промышленности, во всесоюзном масштабе. Если эти планы составлены идеально, то что с ними будет при применении метода ударной и стахановской работы? Конечно, от плана этого ничего не остается. Но дело не в нарушении плана, а в колоссальной изнашиваемости машин и механизмов от ненормального «ударного» и «ураганного» использования.

Любого инженера, работающего по промфинплану, сотрясаемому ударничеством и прочими вредительскими деяниями, можно обвинить во вредительстве. От того и самый способ изготовления в недрах ГПУ вредительских дел весьма прост. На всяком производстве вредительская государственная система делает разрушения, тщательно регистрируемые сексотами ГПУ. Все это, конечно копится и лежит до какой-нибудь массовой вредительской кампании. Арестованному инженеру обвинения предъявляются по такой схеме.

1. Механизмы от варварского обращения и перегрузок изнашивались и дают бракованную продукцию.

Что может возразить инженер против такого факта? Ничего, как только этот самый факт подтвердить.

2. Как глава технической стороны предприятия инженер допустил это изнашивание и следовательно он вредитель.

Инженер будет оправдываться, указывать на директивы и распоряжения сверху.

Чекисту только этого и надо. Теперь последует стереотипный вопрос:

— А вы об этих вредительских распоряжениях доносили в ГПУ?

Конечно, инженер не доносил. А раз это так, значит сознательно допускал вредительские акты и, стало быть, является вредителем!

Далее в пассив такому инженеру вносятся все нераскрытые преступления по вредительству на заводе, все аварии и многое из имеющегося в запасе осведомительного отдела ГПУ.

Так вот и создаются вредительские процессы с раскаяниями и полными признаниями.

Такова природа вредительских дел.

1930 год был годом по преимуществу коллективизаторским, вредителей в лагерях было не много, зато появилась масса крестьян.

2. КОНЦЛАГЕРЬ В ТАЙГЕ

«Глеб Бокий» с трудом добрался до пристани на Поповом острове и мы выгрузили ящики с животными и запасы кормов прямо на пристань. Мороз все усиливался. Здесь на материке настоящая зима — все покрыто снегом.

Ночью животных погрузили в три товарных вагона. Первые два я запер на замок, а в третьем поместился вместе со всеми спутниками, Гзелем и Васей Шельминым в небольшом пространстве между клетками.

Незабываемые ощущения нового наполняли меня, да и моих спутников, по-видимому, тоже, неизъяснимой радостью. Поезд мчится куда-то в ночную тьму, останавливаясь на глухих полустанках и захолустных полярных станциях. На любой остановке мы могли исчезнуть и нашего отсутствия не заметили бы, по крайней мере, сутки. Но снега засыпали все пути и карельская тайга вплотную надвинулась и к путям и к станциям. Куда идти в эту тайгу без лыж, без компаса? А вот это ощущение возможности вырваться наполняло радостью. Только до теплых дней остается обождать. Летом тайга даст приют и скроет от преследователей.

На вторые сутки станция Медвежья гора приняла наши три вагона на одном из своих тупиков. Мы с любопытством осматривались. Смотреть было в сущности не на что, но нас радовал каждый пустяк, особенно же одиночные, незнакомые прохожие, пробиравшиеся по тропинкам. Отсюда нам предстояло ехать еще двадцать два километра в глухую карельскую тайгу на самый берег Онежского озера.

Медгора — впоследствии столица Беломоро-Балтийского лагеря, совсем небольшой поселок. Хотя в нем и красовались два двухэтажных дома, однако, судя по казенной архитектуре, они принадлежали железной дороге. Главная Медгорская улица, увы, односторонняя, вела от вокзала к болоту и начинающемуся тут же шоссе... Сидя «наверхотурьи» груженого кроличьими и транспортными ящиками автомобиля, я с любопытством посматривал на однообразные карельские пейзажи. Мы ехали по довольно широкому шоссе среди глухих лесов. Только две карельские деревушки попались на нашем пути. Шоссе шло к старинному городу Повенцу. Но мы, не доезжая до Повенца пяти километров, свернули прямо в тайгу на узенькую дорогу. Поездка принимала совсем фантастический характер.

Из глухой тайги на одном из поворотов глухой дорожки неожиданно вынырнул людской муравейник-командировка. «Срок восьмой квартал». Здесь я впервые, лицом к лицу, столкнулся с новыми формами лагерного быта. Это был типичный для «каторжного социализма» лагерь, возникший в девственной тайге, где не только не было никаких построек, но даже и тропинок.

Первая тысяча заключенных была выгружена из вагонов на станции Медвежья гора в августе месяце и шла двадцать два километра прямо в тайгу. Здесь прямо под открытым небом и начали они свою многотрудную жизнь. Первые дни строились в болотистом

грунтеземлянки, просто сараи и, наконец, палатки. Сплошные двухэтажные нары давали возможность поместиться каждому человеку только при условии расположения вплотную, то есть, обычная для советских переполненных тюрем норма — восемьдесят, девяносто сантиметров (по ширине) на человека, считалась достаточной и здесь.

Мы ехали по улицам «полотняно-земляночного» города. Палатки, по-видимому, были пусты, ибо обитатели находились, конечно, на работе. Наш грузовик свернул опять в лес екам и, наконец остановился перед стройкой. Большая поляна, расчищенная от растущего леса, занята разбросанными всюду кучами, штабелями, россыпью всяких сортов строительных материалов. Большую же часть поляны заняли возводимые из этих сырых материалов сооружения, частью уже похожие на дома, частью еще бесформенные. Перед одним из таких сооружений наш грузовик остановился. Быстро соскочив на землю, я первым делом побежал посмотреть нет ли тут хоть какой-нибудь закуды для наших животных. Судя по некоторым признакам, мы находились около строящегося крольчатника. Проем без дверей вел в длинный дощатый коридор, только что, очевидно, покрытый. Я был рад хоть и этому пристанищу и вместе со своими спутниками принялся поскорее перетаскивать ящики в коридор, кормить животных. Нам нашлось помещение тут же, в одном из только что слепленных на скорую руку отделений крольчатника.

Предоставив компаньонам устраиваться с жильем, я пошел на поиски начальника лагпункта — агронома Сердюкова. Мне было нужно добыть кормов для животных и оформить наш приезд. Увы, агроном Сердюков оказался, в конце концов, хуже чекиста, ибо был он из коммунистов. Продовольствие для животных он дал мне с большим трудом.

— Какое мне дело до ваших животных? — говорил Сердюков. — Вы же не делали сюда заявок на корма.

— Да, но ведь я прошу только об отпуске кормов заимобразно, на несколько дней, до перевозки сюда наших запасов, — возражаю я.

Сердюков знать ничего не хотел. Ларчик с его противодействием, впрочем, открывался весьма просто: до него дошли слухи о разногласиях Туомайнена с некоторыми влиятельными чекистами, а по сему случаю Сердюков находил выгодным Туомайнену пакостить. Типичный продукт «марксистского вывиха мозгов», агроном Сердюков (и не плохой агроном!), зачеркнув у себя всякого рода буржуазные понятия и чувства, вот вроде чести и совести, действовал в делах государственных, руководствуясь показной «коммунистической целесообразностью», в личных же своих делах и отношениях, он разрешал себе все, что могла вынести его небрезгливая натура: ложь, провокацию, предательство и многое другое из коммунистически-чекистского арсенала.

Я возвращался опять в строящийся зверосовхоз вместе со встретившимся мне в конторе новым работником питомника, приглашенным еще Туомайненом — старым егерем князя Путятина, Трушниним. Старик, попавший сюда с самого основания командировки, услужливо показывал мне строящиеся сооружения.

Высокий, плотный, дощатый забор с метровым «фундаментом» из горбылей в земле, уже вырос вокруг нового питомника, рассчитанного на пятьсот пар лисиц. Рядом строился «главный дом» для администрации, а по другую сторону дома — стройные ряды соболиных клеток, также обнесенных высоким забором. Сзади питомника, ближе к Онежскому озеру, маленький питомник изолятор для больных животных и тут же дом для ветеринарных надобностей: аптека, лаборатория. Но самое большое здание было заложено тотчас же за соболятником: маточные корпуса крольчатника длиной в двести с лишним

метров и во всю их длину сеть кроличьих выгулов с крытыми ходами, длиною в сто пятьдесят метров каждый. Предполагалось ежегодно выращивать здесь тридцать тысяч кроликов. Через три месяца упорной работы до наступления зимы были сделаны только некоторые здания, часть питомника. Но работа не останавливалась и зимой — не в обычаях ГПУ соблюдать сезоны. У чекистов строительный сезон продолжается круглый год. В наскоро сколоченных из сырого леса зданиях затапливались железные печки, и шла в мороз даже кирпичная кладка. Можно представить себе вид этих сооружений, сляпанных зимой! Покосившиеся, разошедшие постройки требовали капитального ремонта после первого же лета.

Зимой командировка строителей помещалась в палатках, землянках и, наскоро сколоченных, дощатых сараях с двухэтажными нарами. В постоянном полусумраке этих сараев, среди копошащихся групп людей, таких же, как и он сам, «кулаков», текла жизнь работника строительства, мерзнувшего часов десять-двенадцать на морозе и не имеющего возможности спать иначе, как не раздеваясь и ничего с себя не снимая.

Жизнь этого приполярного пункта начиналась с шести часов. Дневальный около дежурки ударял в колокол, снятый с древней церкви в Повенце, и все приходило в движение. Охотников умыться, конечно, было мало. У кипятильников быстро вырастали очереди. В воздухе стояло крепкое слово. Шпана всюду была перемешана с каэрами и, как-всегда, бранилась самыми последними словами. Вторая очередь вырастает за утренней кашей (со следами масла). Так из очереди в очередь путешествует ошалелый каторжанин и едва успевает наскоро поесть и выпить кружку горячего кипятку.

Ровно в семь, после поверки, начинается развод на работы — как везде делается он в лагерях. Перед строем рабочих выходят десятники, вызывают согласно составленных накануне нарядов — заключенных, составляют из них группы и дают им задание (обычно — урочное). Отправляющиеся в лес получают пропуск, отмечаются у дежурного стрелка и идут, если они воскики, к завгужу ^[20] в конюшни-землянки за лошадьми.

В двенадцать часов три удара в колокол собирают всех работающих, вновь вырастают очереди около кухни и кипятильни. В шесть вечера в последний раз дается кипяток.

Как и всюду в лагерях — на командировке есть «красный уголок» с портретами и бюстами вождей, газетами и книжным шкафом с «массовой» литературой, то есть брошюрами по вопросам, изложенным в «азбуке коммунизма».

Командировкой ведает начальник, обычно из чекистов. В его распоряжении находится и охрана — «вохр».

Но задачи охраны теперь совершенно иные, чем в старосоловецкия времена. Она несет сторожевую службу и в жизнь заключенных и работу не вмешивается.

Тотчас за командировкой проведена от берега Онежского озера до небольшой речки — граничная линия и прорублена просека. На просеке стоит два поста («двепопки») — вот и вся охрана. Настоящую же охрану несут вне лагеря опергруппы путем расстановки засад.

Старосоловецкие обычаи отошли в область преданий. Больше уже никого не убивают за сапоги, а при действительном убийстве (даже при побеге) ведется дознание — не было ли предумышленного убийства. Только в специальных командировках, как вот на Куземе (неисправимая шпана из малолетних) остается режим расстрелов, но и его, этот режим, хранят в тайне. Теперь на сцену выплыл иной фактор — тяжелый, трудно выполнимый

урок. С выполнением урока связана выдача самого необходимого продукта — хлеба. Борьба за хлеб ведет к потере трудоспособности, к опусканию на дно лагерной жизни и к смерти в одной из лагерных морилен, как вот на острове Анзере. Истребление людей пошло в увеличивающейся прогрессии, но чекисты оставались в стороне: людей губила созданная чекистами лагерная система.

Иным стал и строй лагерной жизни. Например, роль ротных командиров совершенно переменялась. Если раньше ротный был на одной ноге с чекистом, то теперь он стал козлом отпущения за неполадки по обмундированию и кормежке заключенных, беспардонная шпана не ставит его и в грош, ругает самыми последними словами, обращается к нему со всякими требованиями о своих нуждах. Практически, конечно, от всех этих требований командир отделяется ссылкой на аппарат, а ругатель все равно идет на работу и без обуви, ибо, если он не пойдет, то не получит хлеба.

Так постепенно уходила в область преданий старая каторга, на её смену шел «каторжный социализм».

3. КОЛЛЕКТИВИЗАТОРЫ И КОЛЛЕКТИВИЗИРУЕМЫЕ

Раннее утро. В большой комнате с окнами под потолком, похожей на сарай и предназначавшейся для кроликов, спят на деревянных топчанах и сенниках мои компаньоны: Гзель, Серебряков, Вася Шельмин и бывший завгуж соловецкого сельхоза Виктор Васильевич Косинов, перешедший теперь на работу в питомник. Я смотрю на большое сырое пятно на потолке. Оно сильно уменьшилось против вчерашнего. Эту комнату закрыли потолком только третьего дня и от топки железной печи стены и потолки отпотели, а теперь понемножку подсыхают.

На соломе, около железной печки, спят четверо белоруссов-крестьян, рабочих крольчатника: Говоровский, Волотовский, Сементковский и Пинчук. Я выхожу из комнаты в холодный коридор, не имеющий даже еще и дверей, брожу между транспортными ящиками с кроликами. Вносить их в теплое сырое помещение — значило бы погубить. Но и здесь им не легче; клеток нет и они сидят в узких отделениях транспортных ящиков, не будучи в состоянии даже лечь во всю длину.

Из дверного проема коридора появляется фигура молодого человека в черном пальто.

— Вам что?

— Мне бы хотелось устроиться сюда на работу, — говорит он, развязно растягивая пальто и доставая из внутреннего кармана бумажку.

— Где вы теперь работаете?

— В КВЧ. Да там какая работа? Никакой работы нет... Мне бы хотелось научиться настоящему делу.

Это мне понравилось. Бумажка оказалась заявлением от имени Степана Гонаболина.

— Ну, что-ж, я поговорю с директором.

Спустя несколько минут в коридор вошел высокий брюнет в полупальто и шапке-малахае. В руках — папка. Поздоровался со мною и отрекомендовался Ричардом Августовичем Дрошинским.

— Я встречал эту фамилию в Казани. Не вы ли были в семнадцатом году комиссаром от совета в Казанской губернской чертежной?

— Это мой брат. Он расстрелян большевиками. Я, собственно, сел в лагерь за отправку его детей в Польшу.

Дрошинский также хотел работать в крольчатнике.

Тем временем проснулись рабочие и мы принялись за работу.

Мы взяли себе за правило сначала кормить животных, а затем уже завтракать самим. На питомнике проверок не было и мы распределяли работу как было удобнее для нас.

Мои новые рабочие работали усердно, ибо кормились вволю. В моем распоряжении были хлеб, мука, овощи и даже молоко. Разумеется, я не ходил в ИСО справляться могу ли я брать для своего пропитания из кроличьих продуктов, но ел сам и кормил своих рабочих. Тут же на железной печке мы варили свой обед и все вместе ели.

— Вы не знаете — кто такой Гонаболин? — спросил я у Косинова за едой.

— Кажется из «своих» (т. е. из шпаны), — неуверенно сказал он.

Пришел Туомайнен. Он поселился в Повенце и сюда только приезжал.

— Дело скверное, — говорю я ему. — Если не будет доставлено для кроликов клеток — животные передохнут.

Туомайнен пожал плечами.

— Это дело фибролитной фабрики. Почему она не доставляет клеток я не знаю.

У Туомайнена были какие-то счета с кем-то из лагерного начальства, и он, как будто, даже был доволен скверным оборотом дела с клетками.

Новых людей он принять разрешил и через несколько дней они перешли в наше помещение в сектор крольчатника.

* * *

Ричард Августович Дрошинский, сын ссыльного поляка, считал себя казанцем, Он прожил в Казани долгое время и, конечно, сидел в Казанском подвале. Его рассказы о расстрелах в почти родной мне Казани, были для меня неожиданностью. Оказалось: десять лет спустя после крестьянского вилочного восстания, начавшагося в Заинской волости Мензелинского уезда, возглавленного мною и Миловановым. Милованов был

изловлен и ему учинен в Заинске показательный суд. Суд приговорил его к десяти годам концлагеря, вероятно, потому, что я не был расстрелян и сидел в Соловках. Как водится, в волне после этого процесса, были расстреляны многие тысячи крестьян ничуть не причастных к восстанию, уже забытому за давностью.

— В 1930 году подвалы были набиты до отказа, — рассказывает Дрошинский. Вели все новых и новых. Спросишь при удобном случае — кто такие, — ответь — один вилочники. И каждую ночь их группами расстреливали в известном вам сарае.

И так, мы с Миловановым, два главаря восстания, активно боровшиеся с властью, — оставлены живыми, а обыкновенные рядовые, большею частью неграмотные крестьяне, гибли под пулями палачей, по чекистским «оперативным заданиям».

Но таков чекистский шаблон. За главным процессом над всякого рода вредителями, каэрами и диверсантами идет волна подвальных избиений с гибелью множества ни в чем неповинных людей.

— При мне было расстреляно много монахов, — продолжал Дрошинский. — Вот я вам на днях покажу: у меня тут есть восчик один. Парень молодой из монастырских послушников. Два его родных дяди и один монах из Семиозерной пустыни расстреляны были на его глазах.

Федя Бородулин действительно не потерял своего послушнического облика и остался застенчивым и богобоязненным молодым парнем.

— Поступайка к нам на работу, — сказал я, хлопнув его по плечу.

— Да, не знаю как, — мнетса Федя. — В клетках они, как арестанты, эти самые кролики. Жалко их.

— Вот, чудак, так ведь их иначе и держать нельзя — на воле они здесь зимой погибнут.

Впоследствии он все же перешел на работу в крольчатник.

У нас были установлены ночные дежурства для охраны животных, находящихся в коридоре без единой двери. Дежурный через известное время ходил между ящиками и затем сидел около железной печки и поддерживал в ней огонь. Как только железная печь переставала топиться, в нашем сыром, наскоро сколоченном помещении становилось холодно.

Обыкновенно дежурный из белорусской четвёрки делал все обстоятельно и время зря не терял. Он водружал на печку большой котелок и ночью варил горох; Когда снедь оказывалась готовой, дежурный будил остальных из своей четверки и вся четверка, общими усилиями опоражнивала котелок. После этого ночного пиршества дежурный начинал варить новую порцию гороху к завтраку, а остальная братия ложилась спать. Долгая голодовка по подвалам, тюрьмам и этапам так истощила этих здоровяков, что им еще долго пришлось здесь восстанавливать свои силы. Как же чувствовала себя остальная масса лагерного люда, так-же голодавшая, да еще и выбивающая здесь трудный урок!

Иногда и я сживал у этой железной печки и в беседах постепенно узнал историю всей «четверки».

Самый старший из них — Пинчук, попал сюда как кулак, не желавший идти в колхоз. Волотовский (комсомолец и активист) бежал, но неудачно из колхоза. Говоровский получил пять лет лагеря за соперничество с неким сельским секретарем комячейки в соискании благосклонности некой комсомолки. Победителем оказалась секретарь, ибо сумел его упрятать в лагерь и тем завоевать комсомолку. Сементковский бежал из спецпоселка.

Волотовский весьма неохотно рассказывает про свои приключения, но все же рассказывает.

— У нас село не такое и большое, — нехотя повествует он, — и расположено недалеко от границы. Актив у нас был большой. Как только началась кампания по коллективизации — мы, почитай что, всех соблазнили в коллектив идти. Потому — у нас до коллективизации ненадежный элемент каждый год понемногу отправляли в ссылку. И вот приходит распоряжение нашему всему селу переселиться на Кубань. Обещали нам там дать дома, хозяйства на ходу, отобранные от тамошних кулаков. Ну, и вот привозят нас туда в пустое село. В том селе ни одной-то живой души нет — пустое совсем село. Может быть кого убили, а кто с голоду умер: только в иной хате или бо на дворе мертвецы были. Ну, а хаты для житья не гожи совсем... Привезли нас уже осенью, холода начались.

— Почему же жить нельзя в хатах? — интересуюсь я.

— Да хаты те поломаны: печи разрушены, не только окон — косяков — ни дверных, ни оконных — нет. А там в лес не пойдешь — лесов там нема. Да и починки в тех хатах столько — лучше наново построить.

— Как же устроился ваш коллектив?

— Да так и устроился. Бабы плачут. Хозяину ни к чему приступить нельзя — неизвестно с какого конца дело начать. И опять неизвестно: на долго сюда пригнали, али бо нет. По Кубани, да и у нас, такое шло — не разобрать... Тех туда погнали, этих сюда... А тут еще надо на колхозную работу идти... Ну, я посмотрел — толку на тех местах не будет... Что там в том колхозе горе мыкать? Взял я, да и утик в город... Да малость оплошал: документ свой старый оставил. По документу меня нашли, да в лагерь и отправили...

Было ясно — парень что-то не договаривал о своих активистских грехах.

Пинчук и Сементковский говорили о своем деле мало и неохотно. Оба они были ограблены при раскулачивании и семьи их полностью погибли в спецпоселках от голода. Про происходящее на воле оба рассказывают с печалью. Тюремь полны и беспрерывно идут этапы в лагеря и ссылку. Все заключенные голодны: помогать им некому — семейства разорены и уничтожены... В тюрьмах сплошь крестьяне. Губят их, как скот и нет конца этому горю.

* * *

Молодой человек Гонаболину, вел себя примерно. Ничто не обнаруживало в нем ярого комсомольца, сексота и вора. О своем комсомольстве он всегда говорил вскользь. Я, по своей доверчивости, относился к нему хорошо, помогал, чем мог. Однажды ночью, помогая мне в работе с животными, он рассказал о себе.

— Не жизнь у меня была, а жестянка. Отца я не знаю, матери не помню. Вырос в воспитательном. А там попал в беспризорники. Одно время в Ленинграде даже на кладбище зимовал. Заберемся компашкой в какой-нибудь склеп, да и живем. Железную печь достанем — и совсем хорошо выходит. Но, однако, на юге зимовать куда лучше выходит. Так и катались зайцами: зимой — на юг, а на лето — в столицу. Любил я в столице жить.

— А сюда как попали?

— За раскулачивание. Видите ли, записался я в комсомол. Ну, устроили меня на службу по броне. Везде ведь есть броня для комсомольцев, в любом учреждении. Послали меня потом в деревню раскулачивать кулаков...

Стал я жалеть, не до чиста обирать... Донесли, конечно, на меня. Я было оправдываться, до скандала дело дошло. А меня сюда. Спасибо еще пятьдесят восьмой статьей не наградили.

— Здесь в лагере кулаки знают о вашей работе по раскулачиванию?

— Нет, нет... — поспешно сказал Гонаболин. — Я об этом только вам говорю. Что вы: тут как узнают — того и гляди голову проломают.

— Значит есть за что? — спросил я.

Гонаболин вздохнул.

— И наше положение, — развел он руками, — раз посылают, как не поедешь? И еще хорошо — в лагерь попадешь... А ведь можно просто пулю получить.

— Ого, дело, стало быть, серьезное.

— Да, уж лучше бы беспартийным остаться, — вздохнул Гонаболин.

— Стало быть и беспризорники попадают теперь в лагеря? — спросил я.

— Сколько угодно. Теперь уже не поедешь под вагоном в собачьем ящике, — живо арестуют. Если по первому разу попал — значит в исправительную колонию, а если вторично, то в лагерь.

4. БЕРНАРД ШОУ. ПОЭТ КАТОРГИ

В наше общежитие стал заходить иногда знакомый Дрошинского, Перегуд, бывший священник, тщательно скрывающий свое звание. Он приносил с собою всегда ворох всяких новостей. Как только мы оставались одни, он их выкладывал. Надо отдать справедливость — его осведомленность была изумительна. Однажды в феврале 1931 года, он пришел со значительным видом и, улучив минуту, шепнул мне:

— Новости замечательные.

— А ну?

— Происходит что-то странное. Весь Паракдозский и Ухтинский тракты — самый центр лесозаготовок — очищаются в самом срочном порядке от заключенных. В двадцать четыре часа уничтожаются все лесозаготовительные командировки, сносятся наблюдательные вышки. Людей целыми поездами увозят в неизвестном направлении.

И у нас на командировке стало тревожно. Откуда-то прибыло большое подкрепление нашей охране и охрана торчала всюду. Нам строго воспретили отлучаться с места работ и следили за нами неотступно.

Каторжане притихли. Хорошего из этих таинственных приготовлений никто не ожидал. Боялись, как бы дело не закончилось общей расправой. Может быть эти слухи распространяли чекисты?

Только спустя две недели мы узнали в чем дело. В «Известиях» появилась смехотворная статья Бернарда Шоу о его путешествии в Советскую Россию. Он пространно повествовал, как в буфетах на всех попутных станциях мог доставать все необходимое, наблюдал даже изобилие припасов, выбрасывал из вагона коробки, банки, свертки с провизией, врученные ему друзьями при отъезде из Англии. Писания эти понятны: почтенный старец, очевидно, не был жуликом, а, стало быть, не имел понятия о быстроте и ловкости рук чекистских жуликов. Приготовить несколько бутафорских буфетов и станционных базаров с продажей продуктов на иностранную валюту было ведь совсем просто. Значительно труднее было убрать лагерь из района лесозаготовок и перебросить их в другое место. Но и это было выполнено, чтобы оставить в дураках Бернарда Шоу и его спутников.

Именно тогда у чекистов возникла мысль использовать освободившиеся от прекращения лесозаготовок толпы заключенных на проведение в жизнь старинного проекта (1867 г.) соединить Белое и Балтийское моря водным путем посредством канала от Онежского озера к Белому морю. Ко времени приезда, «знатных иностранцев» на станции Медвежья гора на всех лагерных учреждениях и бараках с заключенными появились новые вывески;

— Беломоро-Балтийский канал.

Между тем работы на канале начались спустя, только несколько месяцев после отъезда Бернарда Шоу и не сразу.

Чекистам надо было «доказать вздорность обвинения» будто они на заготовку экспортного леса употребляют в качестве рабочей силы заключённых. И они это доказали с большой пользой для себя и ловкостью, так что даже Бернарда Шоу нельзя обвинить в соучастии и укрывательстве чекистских злодеяний.

Вскоре мне пришлось встретиться с заключенными, переброшенными в срочном порядке с Парандовских лесозаготовок. На нашу командировку они были присланы для осушительных работ.

Я подошел к группе землекопов.

— Вы с Парандова?

— Да. С тридцать седьмой, — ответил высокий, несуразный парень с веснушчатым лицом.

— Натерпелись, должно быть, с переселением?

— И не скажите, — говорит парень тенорком, — думали на край света увезут, а оно — повезли, повезли, да в лес, да в лес. Верст двадцать пешком перли. В какие-то пустые бараки пришли. Мудрено, — закончил он, почесав затылок.

— Ты, Карп Алексеевич, рассказал бы это самое в стихах, — посоветовал парню сухощавый старик, по-видимому, кулак, втыкая лопату и одоляясь у Карпа Алексеевича табаком. — Он это может, — обратился старик ко мне.

— Вы пишете стихи? — удивился я, приглядываясь к нескладной фигуре парня.

— За это и сижу — усмехнулся Карп Алексеевич.

— Он свои стихи на память жарит, — продолжал сухой старик. — Ну, чего не начинаешь?

Карп Алексеевич бросил лопату и, посмотрев на меня светлыми глазами, сказал:

— Ну, вот хоть на мотив «Грансваль, Грансваль» есть у меня.

И зачитал наизусть звучное, полное огня, стихотворение. И по мере того, как он читал, его настроение передавалось слушателям. Истомленные работой, оставив свои лопаты, молча слушали ближайшие рабочие эти звенящие их слезами, горящие их скорбью, звучные строфы, с частым припевом:

Глумится сила темная

над Родиной моей.

Карп Алексеевич Поляков, человек, едва умеющий писать, не имеющий понятия о законах стихосложения, был поэт — Божьею милостию!

Я постарался вытащить его со дна и устроить в крольчатнике.

5. НАШИ БУДНИ

Месяцы шли за месяцами, а клеток для кроликов все нет. Животные сидят все еще в транспортных ящиках. Начался падеж.

В первый месяц пало десятка полтора, в январе уже пятьдесят, а в феврале двести. Развилась самая ужасная кроличья болезнь — лептоспироз. её возбудитель — биполярный авоид относится к чумным бактериям.

— Для нас это дело может кончиться скверно, — говорю я старику Федосеичу, — кроликидохнут идохнут. В конце концов в крольчатнике останемся в живых вы да я.

Федосеич разводит руками.

— Что же тут можно сделать? Если бы были клетки для кроликов, тогда другое дело. Будем бить тревогу.

Мы били тревогу — писали Туомайнену рапорты и снимали шкурки сдохлых кроликов. Трупы их варили и кормили ими сельхозских свиней.

Наконец, наехали с Медвежьей горы чекисты, начался вокруг падежа кроликов «бум». Конечно, начали искать виновников вредителей и дело пошло бы обычным чекистским порядком. Но кто-то сверху потянул за невидимую нитку, чекисты смолкли и исчезли с горизонта. Появились кроличьи клетки и кролики пересталидохнуть... Однако, опять объявилась напасть с другой стороны — через несколько месяцев кроликов стало так много, что не хватало опытных рук для работы в крольчатнике... Нужно было как-то приготовить опытных людей.

Туомайнен собрал, по обыкновению, совещание с участием представителей культурно-воспитательной части. Поднят был вопрос об организации курсов по подготовке кролиководов и звероводов. Долго обсуждали программу курсов, способ обучения и, конечно, забыли самое главное — людей. Пришлось мне об этом напомнить.

— Все это очень хорошо: будут у нас вечерние двухмесячные курсы, но будут ли в состоянии люди, выполнившие тяжелый урок, еще и учиться. Затем есть еще и второе затруднение: нам нужны люди для будущего расширенного хозяйства и теперь, сразу, всех курсантов использовать мы не можем. Но и упустить обученных людей тоже нельзя.

Выхода, как будто, не находилось. Наше начальство, как и вообще всякое советское начальство, не желало брать на себя никакой ответственности. Но все же, в конце концов, решили принять на курсы больше того количества людей, какое теперь требуется для обслуживания крольчатника и уменьшить на время курсов их рабочий урок.

Выяснилось еще одно неожиданное обстоятельство: на курсы можно было принимать, по классовому принципу, только уголовников.

Я не стал по этому поводу разговаривать: сама жизнь заставит сделать обратное. Уголовники большей частью неграмотны и к учению не стремятся. Будут учиться, следовательно, в большинстве каэры. В виде опыта, по моему настоянию, решили принять на курсы и в крольчатник на работу четырех женщин.

Постройки, между тем, росли как грибы. Одним из первых зданий была возведена кроличья кухня, могущая обслуживать тридцать пять тысяч кроликов.

В кухню вели широкие двухстворчатые двери справа и слева. Через эти двери, пересекая кухню и проходя по всему коридору вдоль крольчатника, шел рельсовый путь для вагонеток. Рельсовым путем кухня делилась на две неравные части: правая — небольшая площадка со столиком дежурного, дверями в селекционную комнату, кроличью контору и лестницу на мансарду, — левая состояла из двух половин — собственно кухни и моечного (дезинфекционного) отделения. В кухне вдоль вагонеточного пути длинный оцинкованный стол в виде прилавка, с весами. Далее отопительные приборы. На полу кухни большие кадки обрезы для замешивания кормов. Далее в углах — машины для рубки корнеплодов, дробления жмыхов. Соседнее моечное отделение сообщалось с кухней широким окном для подачи оттуда чистой дезинфицированной посуды. Мы жили пока в конторе, а рабочие в селекционной комнате.

После последней раздачи кормов кроликам мы собираемся в нашу комнату. Солнце еще светит, а дальше будет белая ночь. Я лежу на своей постели, помещающейся у большого двухсветного, единственного окна комнаты и разговариваю с забредшим к нам Федосеичем.

Федосеич рассказывает про своих бутырских спутников — новороссийских инженеров.

— Инженеры, как инженеры. Русские, конечно. И ничем особенным от своих коллег не отличаются.

— Ты хочешь сказать, Федосеич — типичные инженеры.

— Ну, да. Обвинили их видите-ли вот в чем: при постройке различных сооружений в Новороссийском порту, они проектировали эти сооружения так, что их можно было использовать для других целей, например, поставить тяжелое орудие.

— Обвинение, как обвинение, — сказал я. — Чем оно хуже, например, обвинения бактериологов в культивировании ими у себя в лабораториях «бактерий для истребления рабочего класса»?

— Да, это верно. Но, вот новороссийским инженерам пришлось выступить перед особой комиссией, назначенной Сталиным для ревизии ГПУ на местах. Председатель этой самой комиссии Серго Орджоникидзе. Начал он ревизию как раз с Новороссийска. А, нужно сказать, инженеры уже полный подвальный курс прошли — через конвейер, всякие чудеса в решетке видели и, конечно, уже чувствуют и поступают не как нормальные люди. Так вот, перед тем как предъявить инженеров комиссии, ГПУ отпустило их прямо из камеры домой — к женам и детям. Обезумели люди от счастья.

— А вы бы, Федосеич, не обезумели, — лукаво подмигивает Карп Алексеич, копающийся у печки.

— Не от чего, друг, вот что. У меня семьи нет. Я на свете один.

Федосеич продолжил рассказ о допросе побывавших дома инженеров в присутствии экспертов. Допрашивал сам Орджоникидзе.

— Правда ли, будто вы вредители? — спрашивает председатель.

— Правда, — отвечает каждый по одиночке и все вместе.

Орджоникидзе даже опешил. Ему спешит на выручку эксперт.

— Позвольте — вы говорите, что устраивали фундаменты для цистерн и бассейнов с целью использования их для артиллерии. Но разве вообще эти фундаменты по-другому устраиваются? Разве вообще всякое бетонное основание нельзя использовать для артиллерии?

Инженеры дружно стоят на своем вредительстве. Так и в Соловки с этим приехали.

Федосеич закуривает махорочную папиросу, вставленную в прокуренный, старый мундштук. Я начинаю ворчать на него за порчу воздуха.

— Ага, вот и еще курильщик мне в помощь, — обращается Федосеич ко входящему Константину Людвиговичу. В руках у него маточник с кроличьим гнездом.

— Подождите, — отмахивается тот и начинает вынимать из гнезда маленьких крольчат.

Федосеич некоторое время молча наблюдает, поглядывая на Константина Людвиговича, занятого кроликами.

— А что, господин полковник, если бы вашим солдатам показать вас за таким занятием?

В глазах у Федосеича мелькают веселые огоньки.

— Посмотрите какой, — говорит Гзель, поднося барахтающегося малыша почти к самому носу Федосеича.

Федосеич отстранился:

— Дурачье лопухое вырастает и больше ничего.

Ричард Августович пришел со своим приятелем капитаном Карлинским. Они усаживаются и пьют чай с пресным кроличьим пшеничным хлебом, выпекаемым, главным образом, для людей.

— Замечательный хлеб, — хвалит Карлинский.

— Не для спиритов, — шутит Федосеич.

— И не для сказателей веселых анекдотов, — парирует Карлинский.

Федосеич официально сидел за рассказы противосоветских анекдотов (десять лет концлагеря!), Карлинский вместе с группой спиритуалистов сидел за свой спиритуализм. Срок у него был шпанский — три года.

Мы дружно рассмеялись. Вошедший как раз в это время Перегуд остановился.

— Не стесняйтесь, отец Александр, проходите, — сказал Дрошинский.

— Будетъ вам, Ричард Августович, сказки рассказывать, — с неудовольствием заметил Перегуд.

— Что нового? — спросил я.

— Ничего особенного. Да мне не до новостей. Жену жду на свидание. Не знаю, где найти помещение для неё.

— В чумном отделении лисятника, — смеется из своего угла Дрошинский.

— Там места забронированы для социал-демократов, — сердито отзывается Перегуд, уходя прочь.

Два приятеляполяка продолжали свои споры за чашкой чая. Убеждения их диаметрально противоположны: Дрошинский безбожник, Карлинский — наоборот, и при том еще

спиритуалист. Карлинский оперирует по преимуществу фактами из своего обширного спиритуалистического опыта. Дрошинский старается его высмеять. Изредка в их разговор вмешивается Федосеич.

— Вы совершенно зря не верите никаким рассказам Карлинского, — замечает он. — Вот уже тот факт, что он сидит исключительно за свой спиритуализм, за вредительство властям спиритуалистическими средствами, говорит за признание спиритуализма даже людьми, верующими в диалектический материализм.

Дрошинский скептически улыбается.

— Весьма слабое доказательство. Здесь в лагерях не за преступления сидят. Был бы человек, а статья найдется.

— Не думаю, чтобы то была случайность, — возражает Федосеич. — А Чеховской на Соловках, Пальчинский и вообще, московские спиритуалисты — тоже случайность? Не слишком ли много случайностей? ^[21]

6. КАТОРЖНЫЙ СОЦИАЛИЗМ

Лагерная жизнь делала все более и более крутые повороты. Сначала сильно сократилась охрана, которая теперь несла, главным образом, караульную службу. Серое стадо заключенных вдруг получило производство в ранг «лагерников» и права рабочих социалистического отечества. Общие собрания рабочих, производственные совещания, тройки и всевозможные комиссии твердо вошли в лагерный обиход. Во главе всего стала незаметная ранее организация КВЧ (культурно-воспитательная часть). Выгонка пота из заключенных была поставлена этой почтенной организацией на должную высоту. Группу рабочих стали называть бригадой, а старшего рабочего бригадиром. В моду вошел бригадный способ работы. На сцену выплыло «социалистическое соревнование». Бригады заключали между собой договор (понуждаемые к тому КВЧ) о повышении урочной выработки. КВЧ, заключавшее эти договоры вело точный учет работы, содействуя выкачке из рабочих всех сил в порядке «соцсоревнования». В зависимости от результатов этого соревнования давались разрешения на свидание с приезжавшими в лагерь близкими, право на дополнительные письма (сверх разрешаемого одного письма в месяц), на премиальное денежное вознаграждение и прочие блага. Жизнь усложнялась. У заключенного, отягченного работой и «культ-нагрузкой» совершенно не оставалось времени для себя. Грамотные и имеющие образование, должны были учить неграмотных, участвовать в спектаклях, читать лекции. Все это считалось «культ-нагрузкой». Наконец, в руках КВЧ оказался еще один стимул к выкачиваяю пота — зачет рабочих дней. Каждые три месяца, проведенные заключенным в ударной работе, могли считаться КВЧ за четыре, пять и даже, в отдельных случаях, более.

В лагерной работе вводился общий для всего Союза порядок, но рабочий понуждался к работе из всех сил столь энергичными средствами, как голод и зачет рабочих дней. Создавалось вопиющее противоречивое неравенство в положении между рабочими и привилегированными людьми, — администрацией и специалистами. Специалисту, нужному в работе, предоставлялись всякие льготы, включительно до жизни в лагере с семьей. Рабочему — ничего. Усиленная работа быстро переводила его в разряд инвалидов, и рабочий выходил в тираж. Ценность рабочего равна нулю, ценность специалиста — огромна. Однако, не нужно думать, будто положение специалиста в этой системе прочно. Во всякое время и всякий специалист может очутиться на дне в роли рабочего.

Доведённую до апогея эту систему мне пришлось наблюдать на Беломоро-Балтийском канале и там же я узнал настоящий вкус хлеба социализма.

Производственные совещания были средством понуждать специалистов к более энергичной работе. На этих совещаниях специалисты и бригады делали доклады о своей работе и о плане предстоящих работ. С критикой должны были выступать бригады и рабочие. В конце концов дело шло опять таки о наиболее действительных способах выкачивания пота из рабочей массы, а в среде начальственной и полуначальственной сводилось к склоке и подсиживанию.

Шаблон социалистического строительства требовал проведения всякой работы кампаниями. Всякой работе предшествовала подготовка кампании, а затем и её проведение. Так, например, после гибели большей части крестьянского скота в колхозах — всесоветский фермер спохватился и решил большевицкими мерами возродить животноводство. Началась животноводческая кампания. Центральные и местные газеты заполнены специальными статьями по животноводству, написанному, конечно, не специалистами, а людьми партийными, твердо верящими в основное положение всякого коммунистического мероприятия: для коммуниста невозможного не существует. Читать большинство этих статей было бы забавно, если бы они помещались в сатирических журналах, а не в «Известиях» и «Правде». В статьях этих отыскивались новые корма для скота, рекламировалось кормление безлистными ветками, мхом. Тут же можно было ознакомиться с химическим составом новых кормов, но о переваримости и физиологически полезной энергии ни слова ^[22]. Одно время эта газетная кампания, наконец, докатилась до вопросов вывода новых пород и форм сельскохозяйственных животных. Было написано по этим вопросам много несообразного, нелепого и, разумеется, не научного. Эти вопросы автоматически сделались предметами обсуждений производственных совещаний. На нашей командировке они стали муссироваться в примыкающей к зверосозхозу сельскохозяйственной ферме(сельхозе).

Бригады селхоза на производственном совещании, возглавленном агрономом-коммунистом Сердюковым, занялись обсуждением вопроса о выводе новых форм и пород сельскохозяйственных животных. Но, рассуждая о скрещиваниях различных животных, бригады в объекты своих опытов включили и разводимых у нас зверей. Пришлось им свои предположения послать к нам в зверосовхоз. Каким образом обсуждались эти вопросы чистой биологии я не знаю, но список опытов начинался с перечисления заданий. Сельхозцы хотели иметь:

1. Корову с мясом кролика и с мехом соболя.
2. Овцу с мехом черно-серебристой лисицы.
3. Свинью с кожей лошади.

Список этот был довольно длинен, но я, к сожалению, его не запомнил.

Федосеич, рассматривая список, долго думал, к какому элементарному руководству по генетике отослать авторов этих измышлений. Я посоветовал ему просто послать их к черту.

7. Я ОТКЛАДЫВАЮ ПОБЕГ

Весной, проходя мимо строящегося крольчатника, я лицом к лицу встретился с плотником Найденовым.

— Давно ли здесь? — удивился я.

— С первым пароходом, — сказал он и, кивнув на крольчатник, заметил: — Вы, я вижу, раздуваете здесь кадило на страх врагам.

— Есть такое дело, — ответил я, смеясь. — Вот сожалею — не все предусмотрели мы с вами перед моим отъездом сюда. В ящиках с кроликами можно было вывезти все, что угодно. Хотя бы и винтовки.

— бесполезное это теперь дело — бегство. Коммунисты одной ногой уже стоят в гробу. Такие эксперименты, как насильственная коллективизация во всероссийском масштабе, зря не проходят.

Мы пошли ко мне в крольчатник, в укромный уголок.

Найденов методически стал развертывать передо мной картину происходящей в деревенской России драмы. Я в душе чрезвычайно удивлялся его поразительной осведомленности и сказал, в конце концов, об этом Найденову. Веселые глаза его заулыбались.

— Если все в мире подчинено волнообразности, то волна жестокости родит волну отмщения. Так вот и мы в этой волне отмщения. Наша осведомленность хороша не только потому, что у нас не плохая связь, но этому благоприятствует и сама структура организации. Когда-то вместе с вами я хотел идти на риск побега с Соловков. Я вам тогда верил, да и теперь верю. Знаю, как вы освещены и в ИСО.

На мой удивленный взгляд Найденов продолжал:

— Мы отлично осведомлены о работе ИСО, ибо даже в вашем маленьком ИСО имеем своего агента. Вас, между прочим, освещают как активного и агрессивного контрреволюционера. Берегитесь. Волотовский — сексот. У вас есть в крольчатнике и другие сексоты, рангом поменьше, но этот находится около вас и освещает каждый ваш шаг. Туомайненен также под большой слежкой, но дело о нем в Москве..

— Драпать из лагеря теперь никак не могу вам посоветовать. Назревают великие события, и каждый патриот должен принять в них участие. Все силы большевики бросили на деревню. Происходит последняя схватка — или деревня, или они. Кулак, держащий всю власть, сжат с максимальным напряжением. Ловкий удар по нему сразу обезглавит коммунистическую заплечную машину. Нам ли уклоняться от боя в столь решительные дни?

Я хотел спросить Найденова более подробно о его организации, но удержался. А Найденов продолжал говорить о близком возрождении России. Представить себе по-настоящему эту захватывающую картину возрождения Родины можно только находясь здесь, в местах наибольшего сжатия человеческих устремлений — в лагере.

Я с удовольствием смотрю на крепкую фигуру Найденова, заражаюсь его верой в близкое избавление и оставляю мысль о побеге.

8. ЕДУ В ПЕТРОЗАВОДСК

Зоотехник питомника Серебряков отсидел девять лет, — год ему скинули «по зачетам». Его выпустили на свободу, продав предварительно «Союзпушнине». В этой организации он стал инструктором по звероводству и ездил по питомникам крайнего севера. На освободившееся место Туомайнен назначил вновь прибывшего заключенного, крупного коммунистического деятеля из Союзпушнины, Емельянова, бывшего эсера, знакомого еще с довоенной ссылкой. Емельянов, типичнейший продукт коммунистического болота, — сразу освоился со своим новым положением, — сделался прежде всего агентом ИСО. Узнав о неладах Туомайнена с лагерным начальством, Емельянов решил использовать благоприятную обстановку и самому занять его пост. С этой целью он потихоньку стал подкапываться под Туомайнена.

Дела звероводного хозяйства шли по внешности хорошо, лисицы давали рекордные приплоды, соболя стали регулярно размножаться в неволе, кролики, оставшиеся в живых после эпизоотии, умножились до внушительной цифры. Слава о питомнике распространилась по заинтересованным в этом деле советским кругам, и в хозяйство наше стали приезжать научные работники, политические деятели, высшие сановные чекисты из Москвы и Петербурга.

— Придется тебе, Смородин, ехать в столицу Карелии, — Петрозаводск, — сказал однажды мне Туомайнен. Там у Карелпушнины не идет дело с кроликами. Ты сможешь наладить. Я за тебя поручился. Не подведешь?

Через несколько дней я шел в Медвежью гору за командировочными документами для поездки в Петрозаводск.

Впервые после вывоза с Соловков я один с пропуском в кармане шел по лесной дороге. Километра через два дорога выходила на широкий тракт из Повенца в Медгору. Мне оставалось еще пройти двадцать километров.

Вот она свобода — совсем близко. Стоит мне пройти несколько километров за Медвежью гору и я буду вне власти ГПУ. С удовольствием всматриваюсь в лесную чащу, дышу теплым весенним воздухом, готов кричать от радости. По дороге иногда попадаются «вольные», едущие в разных направлениях. Они с любопытством смотрят на незнакомого человека. На мне нет ничего лагерного — я в штатском, но они чувствуют инстинктивно во мне чужого.

Около дорожного моста из-за кустов выходит охранник и требует пропуск. Пока он читает бумажку, я всматриваюсь в его лицо. Подавая ее обратно, он кивает головой. Какая необычайная разница с прежними порядками.

В управление вторым отделением СИКМИТЛ'а, куда относится наша командировка, по обыкновению людно и накурено. Мне быстро приготовили документы и выдали путевые деньги. Оставалось только начальнику подписать мой личный документ. Секретарь Якименко исчез где-то в лабиринте дверей. Через полчаса он, вызвав меня к себе в кабинет, коротко, сказал:

— Идите обратно.

— А путевые деньги?

— Сдайте.

Я был в полном недоумении. Туомайнен, выслушав мой доклад, начал звонить по телефону, с кем-то вести разговоры.

Только на следующей неделе после вторичного путешествия я получил, наконец, документ с пометкой на нем: «Следует без конвоя».

На железнодорожной станции Медвежья гора была обычная сутолока. Я вмешался в толпу, жадно всматривался в лица встречаемых, прислушивался к разговорам.

В вагоне по преимуществу крестьяне и советские служащие. Я расспрашиваю о житье в деревне. Комсомольцы и вообще молодежь рассказывала об успехах коллективизации. Крестьяне предпочитали отделиваться общими фразами:

— Идет коллективизация, как же. Только вот посеять толком не успели...

В Петрозаводске, на станции, в бывшей жандармской дежурке, скучающий чекист прочитал мой документ и сказал, куда явиться на регистрацию.

Иду по улицам Петрозаводска. В толпе прохожих на меня никто не обращает внимания, — это меня радует. Иду я совершенно машинально, свертывая из одной улицы в другую, останавливаясь перед афишами, читаю всякие объявления. Вот большая церковь. В ограде построены какие-то дощатые сараи. В церковь входят и из неё выходят люди, по большей части с папиросами в зубах. Над воротами церкви доска с надписью:

— Столовая № 2 Петрозаводского нарпита.

Ветром наносит противный запах, присущий советским столовкам. Я ускоряю шаги и ухожу к Онежскому озеру на пристань. Здесь базар. Десятка полтора баб и стариков продают кошачьи порции масла, яйца и крупу в маленьких мешочках. Цены на все убийственные: масло двадцать рублей кило и в таком же роде все остальное. При заработке в пятьдесят рублей в месяц, чернорабочий разумеется, и мечтать не мог купить что-либо на этом базаре. Продукты питания выдаются ему по карточкам и, разумеется, в совершенно недостаточном количестве. Стояла глухая пора разгара коллективизации. Изголодавшийся обыватель был весь погружен в гадания о том, по какому талону и когда будут выданы какие-нибудь дополнительные пайки или пуговицы, нитки и прочие предметы «ширпотреба».

Я внимательно всматриваюсь в лица. Ни одной улыбки. В толпе нет веселого шума: все серо, однотонно.

Часа через два я зарегистрировался у какого-то сосланного сюда советского сановника и направился к месту работы.

Над воротами, в длинном и сером заборе, у самого берега Онежского озера, я отыскал нужную мне вывеску: «Карелбаза кролиководства».

Обширный, размером в несколько гектаров участок местами засеянный злаками, местами поросший травой. Посреди большой серый дом: крольчатник карелбазы со складами и квартирой зава.

Базой заведывала комсомолка, бывшая замужем за немцем, бывшим русским офицером-артиллеристом, ныне красным командиром в отставке.

Невеселые были дела в карелбазе. Уже третий год, как одни и те же пятьдесят самок сидят в клетках, а приплод большею частью гибнет, не доживая до реализационного возраста. Комсомолка кончила московские курсы кролиководов, училась там целых четыре месяца. Ее напичкали разного рода знаниями, мало относящимися к кролиководству и не научили работать с кроликом... Был уже июнь месяц, на дворе росли высокие травы, а кролики не получали зеленого корма.

— Почему же вы им не даете травы? — недоумеваю я.

Комсомолка говорит что-то мало вразумительное о своем недосуге. После, когда мы узнали друг друга поближе, она созналась: боялась отравить кроликов. Она не имела никакого понятия о травах — главном питании кроликов.

Вечером мы втроем пошли в кино. Демонстрировался длиннейший фильм с участием предателей эсеров и эсдеков, с раскаявшимися инженерами-вредителями, работающими на социалистических стройках и прочей дребеденью советского агитационного хлама.

— Понравилось, — спрашивает меня комсомолка на обратном пути.

— Нет, — откровенно сознался я.

— Почему? — удивляется комсомолка.

— Я видывал настоящее, хорошее кино прежнягавремени.

Комсомолка помолчала, потом, взглянув на молча шедшего рядом мужа, сказала:

— Эмиль никогда не рассказывал мне про прежнее кино. А уж как бы мне хотелось посмотреть.

Муж поспешил перевести разговор на другую тему.

Две недели проработал я в крольчатнике, привел животных в порядок, научил комсомолку необходимым приемам по уходу за кроликами, ознакомил с рациональным кормлением. Дело кролиководства в карелбазе имело все шансы на развитие. Однако, вышло совсем наоборот. После моего отъезда комсомолку командировали на другую работу, а новая работница принялась за дело по-своему и крольчатник влачил вновь жалкое существование, как и большинство крольчатников в Союзе.

С тяжелым чувством ехал я обратно в лагерь. Одно меня утешало в моей печали: развязка близка. Атмосфера вокруг коммунистов была накалена и взрыв мог произойти каждую минуту.

9. СКЛОКА НАЗРЕВАЕТ

Емельянов действовал энергично. Его секретно агентурные доносы содержали множество сведений, большею частью вымышленного характера, о питомнике, о сотрудиниках-казрах, будто бы тайно собирающихся в бактериологической лаборатории, чтобы обсудить

способы вредительства. Сведения эти попадали Туомайнену через его агента имеющего близкое-касательство к ИСО. И Туомайнен начал оборонительную войну.

После разгрома научных учреждений в 1930 году, в лагерях оказалось много старой профессуры и вообще работников науки. Туомайнен постарался извлечь некоторых из них с общих работ и, прикрывшись их авторитетом в вопросах рационального ведения хозяйства и здоровья животных, хотел повести наступление на группу Емельянова. Отношения Туомайнена к лагерному начальству оставляли желать лучшего: его только терпели. Однако, съездить директора не могли по двум причинам: во первых, он вольный, а во вторых, у него есть блат в ГУЛАГЕ.

Начальник сельхоза Сердюков оказался также в рядах противников Туомайнена и даже очень не прочь был бы занять его место. Назревала типичная советская склока со сложной интригой и множеством участвующих персонажей.

Звероводное хозяйство, между тем, развивалось, лисицы давали рекордные приплоды, кролики заполнили все сооружения громадного крольчатника, обслуживаемого ста двадцатью рабочими. В крольчатнике велась борьба по ликвидации последствий прошлогодней эпизоотии путем выделения элитного и абсолютно здорового стада. Однако, Емельянов в своих доносах в ИСО всякий раз подчеркивал свои указания на вредительский характер работы в крольчатнике и лисятнике, на искусственное заражение стада.

Туомайнен, опираясь на научных работников, писал по начальству бесконечное количество всяких рапортов, снабженных работами разных производственных троек, возглавленных каким-нибудь из заслуженных ученых с европейским именем. Ни одна зооферма в мире не имела такой плеяды научных работников, как Повенецкая зооферма ГПУ. В 1932 году в хозяйстве работали.

Б я л ы н и ц к и й-Б и р у л я А. А, профессор-зоолог, 75 лет. Осужден на пять лет концлагеря.

В о с к р е с е н с к и й Н. М., профессор Киевского университета по кафедре генетики. расстрел с заменой десятью годами концлагеря.

К о н д ы р е в Л. В., профессор, известный специалист по коннозаводству (зоотехник). Пять лет концлагеря.

П о л я к о в Н. А. Профессор-зоолог (орнитология). Пять лет концлагеря.

В и н о г р а д о в а-Ш и р я е в а Н. И. Профессор-геоботаник. Пять лет концлагеря.

Л ю б у ш и н А. А., профессор ветеринарного института, бактериолог. Три года концлагеря.

Б е л и к о в А. П. Профессор-бактериолог. расстрел с заменой десятью годами концлагеря.

Н е в о д о в А. П. Профессор-бактериолог. Расстрел с заменой десятью годами концлагеря.

Л а п и н с к и й П. Г., профессор (физик). Пять лет концлагеря.

Кн. Ч е г о д а е в, ученый лесовод. Пять лет концлагеря.

Не подумайте, однако, будто эта ученая компания была призвана учредить на зооферме университет. Каждый из них делал свою скромную работу, по большей части не имеющую никакого отношения к его специальности. Так, например, физик Лапинский был одно время пастухом в сельхозе, а потом писцом в канцелярии. Виноградова-Ширяева была статистиком в крольчатнике, Капустин (инженер-архитектор) завхозом в крольчатнике, князь Чегодав в качестве рабочего-звероведа кормил лисиц, в лаборатории педагог Малышева работала как санитарка, а художник Ваулин был просто сторожем. Первоклассные русские ученые занимали места рабочих и читали («культнагрузка») лекции пестрой обывательской толпе, согнанной в красный уголок все той же пружинной КВЧ, а на кафедрах в вузах изощрялась «коммунистическая смена».

Звание профессора теперь в СССР мог получить всякий. По этому поводу остряки приводили вопрос из анекдотической советской анкеты:

— А если вы не занимали командных должностей, то в каком вузе читали лекции?

Старые культурные силы были разбросаны всюду по лагерям. Очень часто можно было встретить среди канцеляристов и счетоводов профессоров-экономистов. Юристы и историки были рады и канцелярской работе. Все же это лучше, чем тяжелые физические работы. Ту же участь несли и священники. Они вынуждены были даже скрывать свое звание, дабы избавиться от травли хулиганов-уголовников. Среди них наряду с мучениками за веру, встречались иногда и агенты ИСО. Так, в крольчатнике из четырех священников — два (оба — живоцерковники) были агентами ИСО: Васильев и Воскресенский (из Чистополя).

Удалить сексота с производства дело не легкое, но иногда это удавалось, как вот в приводимом далее, случае с Васильевым.

Прислали как-то на работу в крольчатник несколько женщин и среди них ругательницу Туньку. Попала Тунька в селекционное отделение, где работал Бялыницкий-Бируля с помощником Васильевым и несколькими рабочими. Тунька, как только ввалилась в отделение, загнула трехэтажное ругательство и, обратившись к Васильеву, сказала:

— Ну, чортова башка, чего тут у вас работать? Васильев вскипел и тоже выругался не хуже Туньки.

Завязалась у них перебранка. Васильев звал на помощь.

— Профессор, профессор, что же это такое?

Из дальнего угла спешит старый Бируля.

— Что у вас тут такое? — говорит он, поднимая на лоб очки.

— Да вот тут еще вас только не хватало, профессор кислых щей, — заявляет Тунька, подбоченившись фертом.

Бялыницкий беспомощно машет руками, приговаривая:

— У, невоспитанная... у, невоспитанная.

Тунька еще раз обругала Васильева и заявила:

— Не желаю работать с этим... — он обругал беззащитную женщину.

Обыкновенно на подобные хулиганства никто не обращает внимания, но тут Туомайнен воспользовался случаем и потребовал у ИСО удаления с работы агента, «ругавшего беззащитную женщину».

На другой день Васильев исчез с командировки навсегда.

10. СКЛОКА РАЗВИВАЕТСЯ

Строящийся Беломоро-Балтийский канал начинался от Онежского озера у Повенца, в шести километрах от зверосовхоза. Обслуживающая постройку трехсот тысячная армия заключенных образовала Беломоро-Балтийский лагерь или, сокращенно, Белбалтлагь, с управлением в Медвежьей горе. Наше звероводное хозяйство было изъято от УСИКМИТЛ'а и причислено к Белбалтлагу. Чекисты, враждебные Туомайнену, перешли также в Белбалтлаг и восстановили против него лагерное начальство. Зверосовхоз должен был ожидать всяких репрессий и они, разумеется, не замедлили.

Прежде всего управление лагерем потребовало от хозяйства откомандирования на канал большей части мужчин и замены их женщинами.

На командировку начали прибывать этапы женщин. В них «кулачки» и монашки были перемешаны с проститутками, воровками-рецидивистками, хипесницами. Были тут и комсомолки, и бывшие партийки, и учительницы.

Эта женская толпа резко отличалась от прежней соловецкой. В той было много аристократок, а в этой их не было совсем. Но зато прибавился новый элемент: бывшие попутчицы коммунистов на поприще углубления революции.

Появились на работах женские бригады, вступающие в соцсоревнование с бригадами мужчин. Женским нашествием был больше всех доволен поэт Карп Алексеевич Поляков. Его жиденький тенорок можно было слышать всюду, даже там, куда поэту не полагалось ходить. Я стал укорять его за пристрастие к женщинам.

— Великое это дело — женщина в нашей жизни, Семен Васильич. Хоть поговорить и то приятно. Да, и кто с этим не согласится? Вот, скажу я вам, пришлось мне однажды в моих скитаниях попасть к скопцам. Порядочно прожил я у них. И уж стали они меня уговаривать принять обряд. Совсем, как видите, я им понравился, да и самому мне интересно было. И вот, однажды, вижу я, как в уединенном месте встретился ихний оскотенный молодой парень с девкой... И стоят это они рядком. Что, думаю, могут они делать, этак обнявшись? Подошел я ближе и вижу — целуются они, да как-то не по-настоящему: языки держат друг у друга во рту. Вот видите — какова сила любви. Ничто ее не утушит.

Я махнул на поэта рукой.

Мне было трудно справляться с большим хозяйством. Моего помощника Гзеля срочно послали на Соловки. Оставленный в крольчатнике Соловецкого питомника Абакумов угробил кроличье стадо. Гзель должен был поправить дело. Вместо Гзеля со мною

работал агроном Михаил Николаевич Юренев. Но он плохо ладил с женщинами, и я часто вспоминал неопценного в этом отношении Гзеля.

Работа начиналась в семь утра. Кухонная бригада работала с пяти часов. Она приготавливала корма, развешивала их и в ведрах развозила на вагонетках по секторам крольчатника. Секторов было тринадцать, затем два обширных отделения: селекционное и откормочное. Без четверти семь все собирались в большое помещение кухни, рассаживались на барьере у вагонеточных путей, курили, обменивались новостями.

По сигнальному удару колокола рабочие устремлялись в свои отделения и начиналась утренняя раздача воды и корма. После раздачи шли на три четверти часа завтракать. В десять часов опять сигнальный звон на раздачу овса, в двенадцать комбинированный корм, в три подкормка и в семь опять корм на ночь. В промежутках надо было успеть вычистить клетки, оправить гнезда, осмотреть животных, отделить больных, проделав еще множество всяких мелочей.

Некоторые отделения работали и ночью — часов до двенадцати, до двух — по покрытию самок сразу целого отделения. Кролики появлялись на свет у большинства самок через месяц. Бывали дни, когда на протяжении трех дней рождалось в крольчатнике по три тысячи маленьких. Всех их надо было немедленно рассортировать, оставив матери пять-шесть штук. Остальные шли в отбор и отдавались лисицам.

Постоянная оправка гнезд, наблюдение за правильным кормлением подсосных кроликов давали огромную работу. Только благодаря такой работе и такому уходу, у нас дело шло блестяще, несмотря на интриги Емельянова и недоброжелательство лагерного начальства.

* * *

Из Москвы стали приезжать в хозяйство целые экспедиции чекистов, советских писателей и коммунистических вельмож в сопровождении киносъемщиков.

Я жил в крольчатнике наверху и занимал отдельную комнату. Однажды ночью просыпаюсь от необычного света в комнате. Привстаю. Ко мне подходят чекисты — начальник ИСО и его помощник.

— Где ваши вещи? Оденьтесь.

Встаю, одеваюсь, предъявляю свои вещи. Чекисты все пересматривают, перечитывают уже цензурированные письма, отбирают ножи, бритву, хотя все это продается в лагерных ларьках. Перерыв все и обыскав меня, чекисты удалились. Такая операция производилась всегда перед приездом высокого начальства.

Действительно, на другой день запыхавшийся поэт Карп Алексеевич, вбежав ко мне наверх, сообщил:

— Приехали. Автомобилей понаехало!

— Кто приехал?

— Начальство из Москвы.

К крольчатнику направлялась целая ватага чекистов. Впереди шел среднего роста седоватый Ягода — главный палач русского народа. Рядом с ним толстый и представительный секретарь Троцкого Степухович, заключенный в лагерь на пять лет. Далее следовали члены коллегии ГПУ, утверждающие смертные приговоры, главные инспектора лагерей Коган и Раппопорт. Между ними шел начальник Белбалтлага Александров. За ними валила целая толпа чекистов высоких рангов.

Степухович знакомил Ягоду с хозяйством, рассказал его краткую историю и попросил меня продемонстрировать животных. Раппопорт неожиданно обратился ко мне самым любезным тоном:

— Ну, Смородин, ваших кроликов теперь признали.

Видя мое недоумение, он пояснил:

— Начинается кампания за внедрение кролика в советское хозяйство. — Степухович проявлял необычайное проворство. Он затмевал своей фигурой и короткого Когана и медлительного Раппопорта. Фотографы то и дело снимали его с Ягодой. Впоследствии, однако, он за это поплатился. Мстительный Коган перевел его на общие работы на канале.

Ягода — нервный и сухой, равнодушно рассматривал жестким взглядом и хозяйство, и животных, лишь изредка бросая короткие фразы:

— Это нам надо... Так продолжать.

Окружающие ловили каждое его слово. Стоило ему взглянуть в сторону любого чекиста, как тот молча вытягивался.

В доме директора, у Туомайнена произошла схватка с начальником лагеря Александровым. Туомайнен начал жаловаться Ягоде на притеснения со стороны лагерной администрации. Александров энергично оборонялся и, в общем, победа осталась за ним... Московское начальство уехало в Москву и Александров начал принимать срочные меры, чтобы съесть Туомайнена.

11. ОПЯТЬ НА ДНО

По сигналу из центра по всему пространству Советского Союза началась кроличья кампания. Нужно было в срочном порядке организовывать кроличьи совхозы. Строители социализма, засучив рукава, принялись за новое дело. Однако, оно шло, и не могло не идти, из рук вон плохо. На лицо не оказалось даже настоящих любителей кролиководства, а специалистов по промышленному кролиководству не было совершенно. Туча брошюр и листовок по кролиководству вносили в дело только путаницу. Кролики гибли массами. В местах заключения уже появились кролиководы-вредители, сидевшие за «сталинских быков», как острили крестьяне.

Между тем в Повенецком зверосовхозе численность кроличьего стада достигла пятнадцати тысяч голов (тридцать тысяч ежегодной продукции). В хозяйстве были свои кадры опытных промышленных кролиководов, подготовленные на целом ряде курсов.

Члены Карельского правительства, во главе с Гюллингом, посещавшие неоднократно крольчатник, обратились к Туомайнену с просьбой организовать в Повенецкурсы для подготовки кролиководов для Карелии. С одобрения ГУЛАГ'а Туомайнен принял это предложение и поручил дело мне. Туомайнен собственно этим ходом произвел некую диверсию. Я не мог делать два дела: вести курсы и хозяйство. Следовательно, нужно было меня хотя на время в крольчатнике заменить. Туомайнен вытребовал с Соловков Михайловского, приказал ему принять питомник пушных зверей, а Емельянову принять крольчатник. Емельянов все время писавший доносы, оказался в затруднительном положении. Теперь от него потребуют лучшей постановки дела. Между тем из крольчатника уже были взяты мои лучшие ученики: Чавчавадзе командирован в Москву, в Николо-угрешский совхоз, Дрошинский в Свирский пограничный военный совхоз, Гзель — в Соловецкий питомник. Оставался только агроном Юренев, человек новый. Однако, Емельянов храбро принялся за дело, пользуясь помощью вновь появившегося на зверхозском горизонте провокатора, ветеринарного врача Белякова, мечтавшего устроиться в питомнике на месте простяка Федосеича. В крольчатнике началась обычная коммунистическая вакханалия. Налаженное с таким трудом хозяйство быстро стало приходить к упадку в руках невежественных сексотов. Туомайнен, собственно, этого и хотел, чтобы отомстить своим врагам.

Каждое утро ходил я в Повенец в отведенную для кролиководных курсов школу. На обширном школьном дворе был устроен прямо под навесом временный практический крольчатник на сто десять производителей. Здесь проходили практические работы курсанты. Крольчатником ведала одна из моих учениц — бригадир Полина Грачева. Она знала свое дело до тонкости, была из лучших работниц. её приветливые синие глаза, милое русское лицо и московская простая речь никогда не навели бы на мысль, будто она сидит в лагерях за воровство. А между тем она была воровка-рецидивистка.

Пятьдесят курсантов были командированы на Повенецкие курсы крупными карельскими хозяйственными организациями. В большей своей части они были или комсомольцами или коммунистами. Среди них — десятка полтора женщин.

Под вечер около животных оставались только двое дежурных. Закончив работы, мы ведем тихие разговоры о нашей жизни, о будущих условиях работы.

— Как бы не попасть на ваше место, — вздыхает комсомолка. — Как начнутдохнуть кролики — и не оправдаешься.

— Что-ж, и в лагерях люди живут. На свободе хлеба иной раз не достанешь, а в лагере паек каждый день, — утешает комсомолец.

Эту зависть к заключенным я встречаю не впервые. Ее высказывали и крестьяне к советские служащие.

Времена были тугия. Курсантов кормили кое-как. Присмотревшись к курсантам, я нашел среди них не мало людей, скрывших под личиной комсомольца или комсомолки совсем евших от ужаса людей искать спасения где-только можно...

Два месяца промелькнули незаметно. Курсанты благополучно выдержали экзамен и разъехались. Я вернулся на работу в зверосовхоз...

Туомайнен продолжал вести неравную борьбу с лагерным начальством, но просчитался. Во время его отъезда в служебную командировку в Москву, Александров произвел в зверосовхозе чистку и лишил Туомайнена ближайших сотрудников-заключенных.

В один из октябрьских холодных дней 1932 года ко мне вошел стрелок.

— Смородин, Семен Васильевич, — прочитал он по записке.

Я понял все. Значит настала и моя очередь.

Мне дали полчаса на сборы. Я собрался, наскоро простился с пораженными неожиданностью происходящего друзьями и отправился с вещами в дежурку. Там уже поджидал меня Федосеич. Я взглянул на его согбенную дряхлую фигуру и забыл про свои несчастья. Я еще полон сил, а из него лагерь уже вымотал все силы и теперь толкал старика в могилу.

Через час мы в сопровождении конвоира ехали на грузовике в Медвежью гору. Нас отправляли на канал на общие работы. Я попадал снова на дно лагерной жизни в одно из самым гиблых каторжных мест — Белбалтлаг.

Х. БЕЛБАЛТЛАГ

1. СНОВА НА ДНЕ

В глухом сумраке октябрьской ночи завыл гулкий свисток. Дневальный, дремавший возле железной печки, при свете маленькой лампочки, встрепенулся и начал торопливо подкладывать дрова. Серая масса на верхних и нижних нарах закопошилась человеческими телами, прикрытыми грязным, серым лагерным тряпьем. Васька Шкет принялся перекликаться с группой «своих» на верхних нарах прямо против железной печки, пересыпая слова невозможной руганью, входящей в обиход шпанского разговорного языка. Угрюмые «кулаки» потирали заспанные лица закорюзлыми руками, поправляя смявшиеся за ночь шапки. Спали прямо, как есть, одетыми с шапками на головах. Мокрая обувь подсушивалась кое-как у железной печки и надевалась на ночь снова.

Кое кто, выскочив из палатки в сумрак ночи, с котелком, наполненным с вечера водой, освежает заспанное лицо, вытираясь тряпкой. Большинство, забрав котелки и чайники, идет вставать в очередь за утренней кашей и кипятком.

Федосеич сел на край нар и, по обыкновению, начал курить, непрерывно перхая и кашляя, как, впрочем, и большинство лагерников. Он равнодушно смотрел на муравейник, пахнущих потом, табаком и заношенной одеждой, людей.

— Какая станция, Федосеич? — спросил я, присаживаясь к нему.

— Шиши, — равнодушно отвечает Федосеич.

Это мы делаем вид, будто едем в поезде. Я забираю котелки, чайник и, минут через двадцать возвращаюсь с кипятком и завтраком. Мы принимаемся за мятую картошку без всякой приправы.

Вокруг нас возбужденное настроение. Все ждут «октябрьских дней». Седьмого ноября исполнится ровно пятнадцать лет после октябрьского переворота, и в воображении измученных людей встают заманчивые картины освобождения из этих гиблых мест по общей и широкой амнистии.

В сером полусумраке рассвета снова загудел свисток. Наш бригадир Пермяков, здоровый и крепкий крестьянин лет тридцати пяти, направляется к выходу. Мы, члены бригады, группируемся около него. Он осматривает нас и сразу замечает кого нет.

— Где Петюшкин? Опять копаются!

— Иду, иду. Не потеряюсь, не бойся, — ворчит Петюшкин, выходя откуда-то из-за угла палатки.

Наша бригада землекопов, из восемнадцати человек первой, «лошадиной» категории по здоровью, идет к воротам лагпункта. Туда же направляются ручейки людей из всех остальных палаток. У ворот мы выстраиваемся по два и подходим к самой калитке. Вахтер, молодой парень, одетый как и все, в бушлат и черную шапку, открывает калитку, считает людей и возвращает пропуск бригадиру.

Мы идем по дороге, увлекаемые потоком людей, мимо построек, разбросанных в редком лесу. Около здания электростанции, с высокой трубой и большими освещенными окнами, дорога спускается вниз, навстречу шуму водопада. Пешеходный мост, подвешанный на стальных канатах, перекинут через реку Выг (через Маткожненский порог). Вода бьется между громадными замшелыми валунами, ниспадая гривой холодной пены на отлогий берег внизу. Поток людей непрерывно течет по мосту, раскачивая его своей тяжестью.

Немного повыше висячего моста, перед самым порогом, через реку перекинут временный мост для конной тяги. За ним сереет громада насыпной плотины, забетонированной у русла реки. Это знаменитая плотина номер двадцать девять. Воды, вытекающие из озера Выг, собираются здесь в искусственный водоем с выходом в четырнадцатый шлюз. Параллельно порожиному Выгу от четырнадцатого до пятнадцатого шлюза в сплошном граните прокладывается канал сто восемьдесят шестой — около двадцати двух метров шириною и в четыре метра глубиною. К этому каналу, к его оконечности у шлюза пятнадцатого и шла наша бригада. Нам задано было возить на тачках песок из карьера, расположенного за километр от канала.

По дороге к карьере рабочие вытаскивали из-под мха, из кустарника и всяких нор и ям спрятанные там накануне лопаты. Бригадир наградил лопатой и меня.

Песчаная выемка (карьер), с отвесными песчаными стенами, наполнилась людьми разных бригад. Мы бросились к валявшимся тут же, брошенным вчера после работы тачкам, наскоро, как попало, поправляя расшатанные колеса и прибывая камнями отлетевшие доски. Надо было спешно выполнить урок: наложить и вывезти двадцать пять тачек песка, то есть сделать двадцать пять километров с грузом и столько же без груза. Пятьдесят километров марша. Это стопроцентное выполнение урока, дающее право на получение шестисот граммов хлеба. При плохом лагерном приварке удовлетворялась только наполовину потребность в питании. Кто желал получить больше — должен был вывезти больше тачек.

В воздухе стоит сильная отборная ругань. Крепкие и привычные давно уже наложили тачки и катят их по проложенным доскам, а мы новые, все еще копаемся и налаживаем. Я решил первый день не нажимать — ко всему присмотреться и привыкнуть.

Первая тачка стоила мне больших трудов. В моих неловких руках она шла плохо, поминутно срываясь с узких досок. Приходилось давать дорогу следующим сзади и, выждав момент, ставить тяжелую тачку на доску и снова везти, напрягаясь изо всех сил, пока она не свалится с доски.

Еду мимо регистратора тачек. Счетчик насмешливо кричит:

— Что же ты это полтачки везешь? Я ведь только полные считаю.

Молчу и везу песок дальше по шаткому временному мосту через сооружаемый канал. Внизу под мостом, на глубине метров семи — камни. Делаю последнее усилие, сжимаю ручки тачки онемевшими руками и качу ее по гнущимся доскам. Вот и конец. По наклонным сходням быстро скатываюсь в людской муравейник, под крики и ругань, сваливаю песок совсем не туда, куда надо, быстро оттаскиваю тачку в сторону и останавливаюсь, тяжело дыша, с трясущимися от натуги руками и ногами. Меня гонят, не давая отдохнуть:

— Не занимай места. Марш дальше!

Я поднимаю пустую тачку, тащу ее по мягкому песку приплюснутой насыпи и, задышавшись от нового напряжения, снова втягиваю ее на доску. В общем потоке, не останавливаясь, быстро иду к карьере. Ноги дрожат и подгибаются, а перед глазами черные круги и звезды. Иду и даже не воспринимаю окружающее: вижу только узкую доску и слышу хлипающий звук катящегося тачечного колеса.

А между тем вокруг кипела жизнь. Канал был заполнен людьми, которые тянули из него на тачках тяжелые камни. Непрерывный поток подвод вывозил песок, стучавшие как тракторы мотовозы лязгали вагонетками, груженными камнями для плотины. Тут же в гранитном ложе канала, сотни молотков били по железным бурам, пробивавшим скважины в каменной массе для будущих взрывов. Десятки перфораторов, работающих сжатым воздухом на бурении скважин, строчат как громадные швейные машины. В разных концах канала ухают взрывы. На сигнальных постах сигналисты вызывают подвешенным куском рельс то предупреждение, то тревогу. День и ночь кипит это пекло. На смену дневным бригадам приходят ночные. На шлюзовых сооружениях и на столбах в канале загораются тогда электрические лампы, а при взрывных работах светить прожектор. Технические приспособления, включая сюда каменные подъемники — гайдеррики, исполняют только одну сотую часть работы. Все остальное делается людской тягой, руками людей: киркой, топором, ломом, лопатой.

В двенадцать часов привозят «премиальный завтрак»: бурду без хлеба. Мы жадно съедаем эти несколько ложек горячей жидкости и минут двадцать отдыхаем. Я стараюсь отыскать глазами Федосеича. Куда сунули старика? Обращаюсь к бригадиру:

— Где мой компаньон, старик?

— Старик то? Да вон он ходит вдвоем с попом Сиротиним: ломанные тачки собирают в кучу.

Я узнал издали Федосеича, медленно движущагося на своих слабых, старческих ногах. Мне жалко его до слез.

К вечеру я, что называется, был без рук, без ног. Наша бригада, в испачканной одежде и обуви, остановилась перед воротами второго лагпункта. Мы с Федосеичем попали на Маткожненский узел седьмого отделения Белбалтлага, в самые гиблые места на тяжелые физические работы — на неопределенное время. У ворот лагпункта, встретившись после работ, мы делимся впечатлениями. Старик храбрится:

— Пустяки, работа не трудная. Это ничего.

Я смотрю на его измученное лицо, вымазанные в грязи руки и сапоги, и тоже соглашаюсь:

— Это ничего. Заживет.

Вахтер впускает нас внутрь ограды. Мы идем вдоль забора, к которому выходят улицы этого «полотнянного города». Делаются палатки очень просто. Из досок и тонкого леса выводят остов (каркас) палатки, размером шесть метров на двадцать. Внутри устраиваются два ряда двухэтажных нар. Каркас обтягивается брезентом, в палатку ставят две железные печки — и помещение для ста двадцати жильцов готово. Кроме палаток на лагпункте были и бараки, но главная масса обитателей лагпункта проживала круглый год в палатках.

На втором лагпункте было около четырех тысяч душ, а в седьмом отделении около двадцати тысяч. Впоследствии, к концу строительства — в «ураганные дни» — цифра эта удвоилась.

Усталые и изнуренные люди добрались до своих мест на нарах. Бригадир принес и роздал нам обеденные карточки трех цветов: для недоработавших урок, для выполнивших его и для ударников, то есть выполнивших не менее ста десяти процентов урока.

Я попросил соседа захватить мой с Федосеичем обед, а сам лежал в грустном размышлении: на сколько времени хватит у меня сил для такой работы. Выводы были совсем не утешительны.

Мой сосед, кулак Семен Кузьмин, посмотрел на меня участливо.

— Уходился? Тута работа тяжелая. Ну, только зря вы так работаете. Надо ко всему приспособляться.

Он дал мне несколько практических советов, как можно «заряжать туфту» даже и там, где смотрят за рабочими в оба... Со временем я действительно выучился заряжать ее по всем правилам каторжного искусства.

Вечером Федосеича перевели в команду слабосильных, и я с великим сожалением расстался с моим другом.

* * *

Итак — я вновь на дне, в самой гуще рабочих, как было пять лет тому назад, на Соловках. Но какая разительная перемена в толпе и в настроениях! Какая вопиющая нищета, какие неукротимые приступы злости при пустяковых столкновениях рабочих друг с другом. Я не мог без глубокого отвращения наблюдать картину раздачи пищи. У кухонных раздаточных окон, гремя котелками и переругиваясь, выстраивались длинные очереди истомленных, голодных людей. Зачастую более нетерпеливые шпанята пытались протиснуться поскорее к окошку, но встречали яростное сопротивление ближайших. Завязывалась злая перебранка. Большинство, добравшись до окна, ставили котелок внутрь, а сами танцевали у окна, стараясь заглянуть внутрь, и тянули нудными, просящими голосами:

— Дай побольше, товарищ. Что-ж ты воду одну льешь?

Повар обычно молчит, либо отвечает:

— Воду?.. А соль не считаешь?

Получив котелок бурды и тухлую рыбу, счастливец идет быстрым шагом к себе на нары, глотая голодную слюну и на ходу нюхая с наслаждением вонючую, отвратительную рыбу. Из неё ничего не пропадает, даже внутренности будут съедены. Картофельная шелуха, выброшенная на помойку, и та мгновенно исчезает в протянутых за нею руках.

«Кулаки» мрачны и злобны. Они дают тон толпе. Крестьянин, никогда не голодавший, обиравший город в голодные годы, здесь лишен всего и, главное, хлеба. Они вырваны из родных мест с корнем, всей семьей, им уже никто не пришлет ни посылку, ни малую толику денег... В толпе немало попутчиков, помогавших большевикам углублять революцию. Много узбеков. Большинство их попало сюда в связи с басмаческим движением в Узбекистане и гибли они здесь, на севере, массаами.

Голод кладет на все свою суровую печать. Здесь все молчит, говорит только голод. Вся толпа отмечена этой проклятой печатью и в любой кучке, собравшейся у кипяtilьников или кухонных окон, слышится не разговор, а голодное рычание.

Среди этой толпы выделяются люди уже переставшие бороться за жизнь и постепенно умирающие. Это так называемые «пятисотки», люди, получающие пятьсот граммов хлеба в сутки и продолжающие работать. В отчаянии бродят они по пустым помойным ямам, подбирают всякую падаль, пробуют есть самые несъедобные вещи, глядя на встречных гаснущими, равнодушными глазами. Большая часть из них получила инвалидность здесь, на канале, и в муках, дни за днями — идут к смерти от голодного истощения. Если такой свалится — его и в лазарет не берут, а отправляют в «слабосильную команду» умирать среди таких же, как он обреченных. Если он будет в состоянии еще таскать ноги и что-нибудь делать — ему выдают пятьсот грамм хлеба в сутки, если же силы совсем оставят слабосильника — паек ему снижается до двухсот грамм. И эта юдоль ждет каждого, истощившего свои силы на работе.

По моим подсчетам ни одна категория рабочих не получала хотя бы минимально необходимого количества пищи. Согласно февральского приказа Фирина — не работавшие непосредственно на канале получали в дневном пайке тысячу шестьсот больших калорий. Между тем, потребность в пище, едва поддерживающей организм у среднего не работающего человека выражается в двух тысячах четырехстах калориях, для землекопов и грузчиков она доходит даже до трех с половиною тысяч.

Через несколько месяцев ударной работы человека трудно узнать, до того он изнашивается. Уже глубокой зимой мне случилось встретиться со знакомым еще по Соловкам фельдшером, работавшем в центральном лазарете отделения. Он рассказывал ужасные вещи. Зимой в лазарете бывали дни, когда в мертвецкой насчитывалось по пятидесяти-шестидесяти покойников. Особенно много гибло узбеков, не переносящих сурового климата. По нашим расчетам выходило, что за год на канале погибло пятнадцать процентов людского населения, а двадцать процентов получило инвалидность. Из трехсот тысяч заключенных, стало быть, погибло на постройке канала за пятьсот пятьдесят дней работы, сорок тысяч, а шестьдесят тысяч получили инвалидность.

* * *

Дни идут. Я втянулся в работу, усвоил кое-какие приемы заряжать туфту и в общем получал кило хлеба в день. Голод добирался и до меня. Не всегда мне сопутствовала удача, иногда приходилось получать всего шестьсот грамм. Силы мои, набранные в зверосовхозе, начали понемногу истощаться.

Я продолжал работать на канале: то на вывозке песку для дамбы, то на выборке камней из канала. С камнями было совсем скверно. После взрывов скал оставались большие каменные глыбы, которые надо было разбивать молотом, иначе и на тачку не погрузить, и не вывезти.

Как-то раз подошел ко мне молодой человек в желтом плаще и шапке-малахайке и спросил меня о моей специальности. Я сказал. Он меня немного ободрил:

— Нам как раз нужен землемер. Только я не знаю, крепко ли вы тут сидите. Попробую похлопотать.

Прошло недели две. Молодой человек, оказавшийся по моим расспросам гидротехником, ходил мимо и ни слова не говорил о своих хлопотах. Я понял: очевидно — мстительное начальство загнало нас с Федосеичем безвозвратно на физические работы.

Но однажды утром бригадир обратился ко мне:

— Смородин, тебя вызывают в контору. Пойдешь сегодня туда, за канал.

Я вышел вместе с бригадой, перешел через висячий мост и отправился далее через канал. На другой стороне канала, на пригорке, недалеко от кузницы разыскал я, наконец, контору.

Там было пусто. На столах спали двое, очевидно, ночные работники-канцеляристы. Из кабинки в углу конторы вышел молодой парень, знакомый мне еще по Соловкам:

— Здравствуй Василий. Не знаешь ли, кто меня сюда вызывал?

— Наверное гидротехник Полещук. Он скоро придет.

В это время в контору вошел миловидный юноша в пиджаке.

— Вы Смородин? Так вот — будете работать здесь. Пока что — неофициально: не отпускают. Будете числиться по-прежнему рабочим и жить в бригаде.

Он дал мне работу, усадил за столик в углу и ушел.

— Василий, кто это?

— Шварц, Яков Еремеевич. Студент топограф.

Через некоторое время пришел Полещук в сопровождении другого юноши. Поздоровались. Юноша отрекомендовался студентом Введенским. На каторгу попал «как разложившийся элемент». Мы с ним стали работать вместе.

За четыре месяца работы на канале я совершенно отвык от теплого помещения и теперь, очутившись за столом у теплой печки, насилу преодолевал дремоту. Приходилось не раз выходить на мороз и там встряхиваться. Спавшие на столах канцеляристы в серых лагерных бушлатах встали и принялись за свои работы. К полудню уже все столы были заняты и работа шла полным ходом: щелкали счеты, шелестела бумага.

Во время обеденного перерыва к нашему столу подошел сухощавый, испитой человек в очках. Введенский назвал мне потом ничего не говорящую фамилию Шашкин, профессор экономист.

— Вы, кажется, недавно попали в эти места? — спросил он меня.

— Как сказать... Сюда, на второй лагпункт, недавно, месяца четыре, а вообще без малого шесть лет.

— Значит, вы помните еще старосоловецкия времена? — спросил он, глядя на меня с почтением.

Начались расспросы о Соловках, нашли общих знакомых.

Шашкин, как и я, был снят с общественной работы (в управлении) и теперь радовался своему новому назначению счетоводом.

— Хоть голодно, да спокойно — срока не прибавят. А там, в этом управленческом бедламе, того и гляди — попадешь в междуначальственную интригу и получишь хорошее удлинение срока.

Впоследствии я узнал от него не мало интересных данных о новых лагерях и количестве людей в Белбалтлаге.

Вечером я снова пришел на работу.

— Как бы мне навести справку о моем компаньоне? — сказал я Введенскому. — Он был переведен куда-то месяца три тому назад.

Введенский начал наводить справки по телефону, но все было тщетно. След Федосеича затерялся.

Я жил по-прежнему в палатке, в бригаде землекопов и то работал в конторе, то на разбивке канала и частей шлюзов. Со мною работали в качестве рабочих при разного рода измерениях пять человек: два священника — один с крайнего севера из-за Сургута — Павел Богомолов, — другой с Кубани — Василий Преображенский. Оба, конечно, одеты и острижены, как и все. Татарин из Мензелинского уезда уважал меня как земляка. Кроме этих трех были: якут Аросев и урянхаец Кубаничка.

Каждое утро мы спускались в канал. Я находил теодолитом ось канала, делал от неё разбивку, намечая «бровки» берегов канала, и обозначал места сооружений. А ночью все это взрывалось вместе с камнями и утром приходилось начинать все сначала.

Однажды вечером к нам в палатку вошел незнакомый человек в хороших сапогах, что было редкостью, и назвал мою фамилию. Я выбрался с нар и подошел к нему.

— Я ветфельдшер Первушин. Ветврач Протопопов просит вас к нему зайти.

— Где он?

— Около ветеринарной лечебницы. Увидите землянку там направо.

— А где же Николай Федосеич был до сих пор?

— На общих работах. Хворост заготавливал на шестом лагпункте. Теперь будет работать в качестве врача у нас в ветлечебнице.

2. ОПЯТЬ НА ПОВЕРХНОСТЬ

Я остановился у двери небольшой землянки, пораженный видом Федосеича. Он лежал на деревянном топчане, в своем арестантском бушлате и спал. Над самой его головой горела тусклая лампа, отбрасывая неверный свет на изможденное и изрытое глубокими морщинами лицо. Я сделал шаг к нему, прикоснулся к его неуклюжим сапогам и, не в силах сдержаться, заплакал. Измученный Федосеич продолжал спать. Молчаливый Первушин сидел в углу.

— Давно он пришел? — спросил я шепотом.

— После обеда.

В землянку вошел старший врач и разбудил Федосеича. Старик мне ужасно обрадовался. Мы с ним обнялись и, по уходе врача, засыпали друг друга вопросами. Федосеич, как всегда, говорил о своем житье свое неизменное «ничего» и находил все сносным.

— А какие люди встречаются! — говорил он, посасывая папиросу. — Довелось мне помещаться на одних нарах со священником, отцом Алексеем Перевозчиковым. Даже беспардонная шпана при нем не ругалась. Все его уважали.

— Что-ж, это бывает. Помните покойного владыку Иллариона?

— Так ведь тот был архиепископ и человек во всех отношениях необыкновенный. А это — простой священник из рабочих... И ничем внешне не выделяется. А вот мощь духовная. И каждому то он поможет: кому словом, кому делом. Чуть увидит: выбивается из сил человек, сейчас и поможет.

Я смотрел на милое лицо моего друга и чувствовал, как в этом угасающем человеке теплится неугасимый огонь любви, не им зажженный, но им сохраненный.

Первушин тем временем вышел из землянки.

— Знаете кто этот фельдшер? Это сын бумажного фабриканта. Судьба его замечательна. Помните был побег с Малой Муксольмы? Это вот он и удирал. Карелы, конечно, выдали. И получил он за это два года Секирной. Правда, он там работал на кухне. Ничего парень. Допустили его потом на Соловках кончить лагерные фельдшерские курсы. Ну, блат имел небольшой. Вот и жив остался.

Впоследствии мы поближе узнали друг друга и Первушин, всякий раз как я приходил в землянку, угощал меня: то даст студня из конских ног, отрезанных у павших лошадей, то вкатит большую деревянную ложку рыбьего жира. Ведь нельзя представить себе, как приятно было глотнуть, хотя бы и рыбьего жира при полном отсутствии в пище каких бы то ни было жиров, при развитии в организме алчного голода именно на жиры. Да, впрочем, известно, что самый вкусный сахар имеется только в концлагерях.

Я, как работающий в конторе, был освобожден от проверок и мог выходить и по ночам, часто этим пользовался и пробирался к Федосеичу ночью через огромный карьер. Когда-то тут была песчаная гора. Теперь вместо неё большая впадина. Внизу копошатся люди и лошади. Среди идущего оттуда однообразного шума слышится песня. Поет молодой узбек звучным и приятным голосом. Мне случалось слышать его и на канале, в осенние, дождливые дни, и зимой на плотине, и вот теперь, февральской ночью, свежий голос поет ту же мелодию. Не понятны мне слова песни, но её тоску я чувствую своим сердцем.

Иду дальше по высокому нагорью к воротам лагпункта. Справа, среди первобытных лесов горит электричество. Слышны далекие сигналы и глухие взрывы, то ухающие, то рассыпающиеся дробью. Электростанция работает день и ночь не останавливаясь, и теперь из её широких окон льется в зимний сумрак яркий ровный свет.

* * *

Яков Еремеевич Шварц и Введенский — недогрызшие «гранит науки» советские студенты, я и нивеллировщик, молодой болгарин Бобров, всю ночь напролет сидели над вычислением количества каменной массы, вынутой из тела канала за месяц.

В спешной работе мы не заметили, как пролетела ночь. Наконец, вычисления закончены, определено по фактическому измерению сколько именно каменной массы вынуто рабочими из тела канала. Оставалось только сравнить соответствует ли наша цифра количеству, показанному бригадирами. Увы, как и всегда разница процентов на тридцать-сорок. Мы все отлично знаем в чем тут дело. Каждый рабочий стремится зарядить туфту, показать выполненным невыполненный урок. Однако, вслух полагалось удивляться несходству и искать ему какие-то объяснения. Мы долго ищем всяческих способов как-нибудь закрыть эту зияющую дыру, кое что придумываем и оставляем дальнейшее для инженера — начальника лагпункта. Он тоже будет долго ломать голову как бы так замазать неувязку, чтобы не очень то она топорщилась своею наглою откровенностью. Инженер должен что-то придумать, ибо за это несходство будут тащить в ИСО прежде

всего его. С рабочих и бригадиров взятки гладки: хлеб за работу получен и съеден. И инженер будет думать. А в ИСО об этом несходстве давно уже знают, как знают и о том, что мы все это несходство будем покрывать. Но такова уже эта окаянная советская машина — каждый тянет свою лямку и движется к какой-то своей личной драме: если это на воле происходит — впереди может быть концлагерь, если же в концлагере — впереди удлинение срока и еще тысяча и одна административная прижимка.

В конторе в это раннее утро кроме нас никого не было. Даже сторож Василий заснул и железная печка, согревавшая контору, затухла.

Я с Бобровым вожусь около затухшей печки, стараясь разжечь. Как только дрова вспыхивают, к нам подсаживаются и оба студента.

— Что же вы теперь думаете о канале? — обратился я к студенту топографу, равнодушно сосущему папиросу.

— Не кончим канал не только этой зимой, но и летом. Тут и гадать нечего.

— С кого-то шерсть полетит, — заметил я. Скрипнула входная дверь и в контору вошел гидротехник Полещук в своем неизменном плаще. Вид у него был измученный. Севши на скамью у печи, после взаимных приветствий, Полещук сказал:

— Хорошую ночь сегодня провел. Строил улитку шлюза номер четырнадцать. Вот доложу я вам — адская работа.

— По обыкновению она вас захватила как работа интересная. Не каждый сезон приходится гидротехнику иметь дело с такими сооружениями, — заметил дружелюбно Введенский.

— Да, вы правы, работа захватила. Люблю самостоятельность. А вот эти две ночи мне никто не мешал.

— Кто же вам будет мешать? Не прорабы же из военных Рамзинского призыва! — сказал я..

В ответном взгляде гидротехника я прочел недоумение по поводу моей наивности и незнания всех глубин советской действительности.

В конторе началась утренняя работа. Наша топографическая компания направилась на отдых — каждый к своим пенатам: я на второй лагпункт, Введенский и Бобров на первый, а Шварц в сельхоз при первом лагпункте.

На спуске с горы меня догнал Полещук, и мы пошли вместе. Мне хотелось продолжить разговор об энтузиазме в строительстве. На мои вопросы Полещук задумчиво сказал:

— Не в энтузиазме дело. Энтузиазм вещь, так сказать, казенная. Какой может быть энтузиазм на принудительных работах у голодного человека, не чающего, как выработать урок? Нет, уж такого энтузиазма, конечно, ни у кого нет. Что касается моего личного отношения к работе, то к энтузиастам меня причислить никак нельзя. Но и равнодушным ко всему происходящему я не был и не собираюсь быть.

Полещук помолчал, как бы подыскивая выражения.

— Вы смотрите на происходящее немного не так, как я... Вы видите здесь только зло, насилие и несчастье. А я как-то об этом стараюсь не думать. Знаете, привыкнешь — и ужас становится повседневностью. Вот как на войне.

Мы переходили по временному мосту через строящийся канал. Полещук даже приостановился, смотря на месиво из людей внизу канала.

— Меня захватывает сама работа. Вот сделать такое крепкое долговечное сооружение на пользу Человеку.

— Какая польза от этой фараоновой стройки? — скептически заметил я.

— Конечно, человечество могло бы обойтись и без пирамид, но вот они есть и они свидетельствуют о стремлении людей сделать нечто, служащее неким связующим звеном прошлого с настоящим. Ведь мы знаем: не вечны-же большевики, загнавшие нас в эту дыру. И впоследствии, смотря на эти сооружения, мы, или вернее, наши потомки будут думать не только о жестоких страданиях здесь людей, но и о работе изобретательного ума строителя, создавшего в этих пустынях эти сооружения почти голыми руками. И кем?.. Вот вам пример — эта грандиозная плотина номер двадцать девять создана юристом, любителем инженерного искусства. Я вот чувствую, как будет тянуться от прошедшего к будущему некая нить...

— Все будет разрушено, — сказал с внутренней досадой я. — Уйдут в вечность большевики, и разрушатся их фараоновы сооружения.

— А Человечество останется и будет жить, — с неожиданным подъемом продолжал Полещук. — И вот эта мысль о торжестве Человечества и дает силы и энергию. Пусть Россия сейчас в большой беде и несчастиях. Но она умереть не может и будет жить, что бы не случилось. И здесь, строя эти сооружения, я работаю вовсе не Ягоде или Сталину, а народу. Нам в будущем это все пригодится.

Мне не хотелось идти в холодную палатку и я, перейдя мост, распростился с Полещуком и направился к Федосеичу.

Старик сидел на своей постели усталый и ошарашенный. В уголке суетился фельдшер Первушин.

— Работа была ночь напролет, — сообщил Первушин, и Николай Федосеич утомился. Совсем себя не жалеет.

Федосеич морщит и без того сморщенный как печеное яблоко лоб и энергично возражает:

— Это моя обязанность. Я должен был быть на приеме.

Вспомнив разговор с Полещуком, я улыбнулся:

— Вот мне один энтузиаст сказал, что канал останется потомству и по сему случаю он проявляет в строительстве даже не казенный энтузиазм. А вот конский состав пожалуй потомству не останется.

Федосеич махнул рукой.

— Какое там потомство. Пожалуй весь конский состав Белбалтлага пойдет в котлы красной армии. Скота не остается ничего и конина теперь находка.

Федосеич вздохнул.

— Жаль мне животных. При таком идиотском использовании лошадей и плохой кормежке — весь конский состав приходит в совершенную негодность. Вот и приходится работать из всей мочи, как-то поддержать животных. А как поддержать? Участь у людей и лошадей здесь одинакова. Мы ведь лошадям тоже формальное освобождение даем и, как и медики, имеем некий лимит количеству подлежащих освобождению на каждый день «его же не преjdeши». Вот и соображаешь, как бы шилом море нагреть. Весь этот конский состав надо бы перевести на хороший корм и месяца на полтора освободить от работ, да полечить его как следует медикаментами, а не водицей — вот как мы. Гибнут лошади, гибнут их бывшие раскулаченные хозяева.

— До войны у социалистов существовала поговорка — «чем хуже, тем лучше».

— Эх ты, лохматый, — сказал Федосеич, переходя сразу на дружеский тон.

— Да, разве это для нас формула? И разве она верная? Вот делали хуже, а теперь стало лучше? Нет, друг, хотят нам эту самую формулу привить, создавая вредительские процессы. Однако, все эти бесчисленные вредители оказываются в кавычках. Сколько их перед моими глазами прошло, но ни одного настоящего вредителя я не видал. А посмотреть бы хотел. Ты вот, лохматый, кроликов разводил не только добросовестно, но и с любовью. А почему ты их не морил, почему не занимался вредительством? Да просто потому, что вредительство это вещь вообще не чистоплотная. Занимаясь вредительством, будешь вредить не советской власти, а себе самому и своим ближним.

— Однако, чем же можно вредить советской власти в таком случае? — смеясь спросил я.

— Не беспокойтесь, она сама себе вредит, — также смеясь ответил Федосеич.

Первушин поставил перед нами на стол традиционный чайник кипятку, дал мне большую деревянную ложку рыбьего жира. Я достал из кармана небольшой кусочек хлеба, хранимый для этого случая и с удовольствием стал есть хлеб с рыбьим жиром.

Федосеич сообщает новости:

— Вчера наш главный врач ездил в Медгору и привез целый ворох новостей.

— Когда же закончим канал? — спросил я.

Федосеич махнул рукой.

— Не кончим. На верхах начался по этому поводу шумер ^[23]. Говорят о непрочности положения начлага Александрова. Беда Александрова в том, что каналом начал интересоваться сам Сталин. Представьте себе, в Медгоре в столярно-механических мастерских был сооружен громадный барельефный портрет Ягоды. Портрет предполагалось водрузить на фронте нашей плотины номер двадцать девять. Канал будет назван именем Ягоды. Теперь, оказывается, поступило новое распоряжение — назвать канал Сталинским. Теперь те же студенты ВХУТЕМАСа делают портрет Сталина.

— Почему это такой большой урожай на студентов в наших гиблых местах? Ведь современный студент всецело продукт советский и «прошлаго» у них, как вот у нас грешных, не имеется, — интересуюсь я.

— Очевидно, настоящее не благополучно, — ответил Федосеич. — Больше всего среди них так называемого разложившегося элемента. Впрочем о своих делах они предпочитают помалкивать. Отдельваются сказками о разложении и распевают, когда поется, есенинские песенки.

4. КУЛАК КУЗЬМИН

В нашей палатке было пусто и холодно. На нарах лежал мой сосед Семен Кузьмин с отдавленной камнем ногой. Дневальный куда-то отлучился, попросив за баракком посмотреть Кузьмина. Скучающий «кулак» был доволен моим приходом. Его угнетала непривычная тишина и голодное безделье.

— Что слышно у вас в конторе? — спросил меня Кузьмин. — Не думают ли начать отправку на «Москанал»? Ведь сам Александров обещал дать работу полегче и срока сокращать.

— За эти обещания Александров сам получит пожалуй срок. Какие там отправки и льготы? Надо на нашем канале еще работать и работать. На «Москанале» и без нас работников много. Теперь нам здесь перцу зададут.

Кузьмин вздохнул. Я достал кое-какие свои запасы и начал закусывать. Кузьмин лежал не шевелясь, даже дыхания его не было слышно. Конечно, его начал особенно сильно мучить голод. Кузьмина, как не работающего, перевели на пятисотку и он, больной, вдвойне страдал. Я дал ему немного хлеба и селедки. Он взял с благодарностью и, бережно откусывая маленькими кусочками, молча ел.

— Есть ли у вас родные, Кузьмин? Вы как будто и писем не получаете? — спросил я.

Кузьмин смотрел остановившимся взором куда-то в пространство, словно вспоминая.

— Должно, что померли все, — сказал он, наконец. — Сам я убежал из ссылки, со спецпоселка, значит. В живых только жена, да парень оставались. Остальные померли.

— Когда вас раскулачили?

— Зимой в прошлом году. Весь наш уезд Острогжский тогда раскулачили.

Кузьмин тяжело вздохнул и зашелестел бумагой, делая папиросу.

— Подумаешь теперь и сам себе не веришь, чтобы такое могло и в яве случиться, — сказал он, закуривая.

— Как же это произошло?

Кузьмин глянул на меня заблестевшими глазами и сказал. — Здесь молчать — самое лучшее. Ну, вы, я вижу, человек хороший, так вот и послушайте, как мы горе мыкали.

* * *

— Коллективизация настояще началась у нас в 1929 году. Соберут это общее собрание, обсуждают колхозный вопрос, и тут же ячейка предлагает раскулачить трех-четыре хозяев, действительно, самых богатых. Коммунисты, комсомольцы и весь актив хлопают, а мы это молчок — мимо нас проезжает. Раскулачили по первоначально небольшую часть, позабирали у них все, а самих раскулаченных с семьей — в ссылку.

Приходит это тридцатый год. Чужим, доходит дело и до нас — середняков. Надо волей или неволей идти в колхоз. Но, однако, все еще держимся, ждем. Народ кругом чисто отчаялся: видит — нету ему выхода.

И пошло тут пьянство несусветимое. То-есть, такого пьянства не видано никогда. На поминках своих, не иначе, пили. Идут мужики в колхозы и губят все свое имущество: пускай гибнет. Скот истребляют, колют под дугу, жрут все, словно на заговенье. В полях появились бесхозяйственные лошади. Выгоняет ее хозяин за околицу — иди, куда хочешь, абы не попала в колхоз.

Народ начал буйнать. Стал кое где убивать присланных коммунистов.

Потом дело дошло и до восстаний. В нескольких уездах, слышно, народ поразгонял коммуны, поубивал все колхозное начальство — и опять на старый лад повернул. Однако, вышло оно наоборот.

В тридцать первом году почали нас сплошь загонять в колхозы. ГПУ выехало на места. Вроде настоящая война началась. В каждом участке и из нескольких волостей — оперсектор называется — свой отряд гепеушный, ну, и, конечно, сексотов тьма. Так вот и принялись тогда они раскулачивать.

— Первым делом — весь комсомол мобилизовали, и являются, конечно, на двор для раскулачивания. Опись делают всему добру хозяйскому. Отбирают начисто все. Оставляют сами лохмотья. Ежели на тебе надет зипунишко не порванный — сними и вот тебе лохмотья. Детишки малые кричат, бабы плачут. Потом это обязательно ночью, да еще и в мороз приходят, да так в одних лохмотьях и гонят прочь из избы. Сгоняют всех в старые, нежилые хаты. Гонют это раскулаченных с семьями ночью по улице, а на углах везде комсомол с оружием. А по селу такое происходит — и не расскажешь: собаки без хозяев воют, кошки мяукают, кругом разоренье, бабы плачут. А тут комсомол тех собак и кошек бьет и в утиль отправляет ^[24].

— Гонют это нас по морозу в Острогжск. Все мы в одних лохмотьях, в худой обуви, голодные. Пригнали и прямо в собор. Два там собора. Так оба собора и набиты битком. И не выпускают. Тут кое кто приходит к собору. Жалуют, подают что ни есть. Хлеба дают для ребятишек, одеженку там какую. Жалуют и плачут об нас. Ну, а помочь настояще — кто же может?

— И стали это нас целыми поездами грузить, да на север отправлять.

— Погрузили в товарные вагоны, заперли и айда. Детишки дорогой помирают. Который поменьше, так просто из окна его выкинут на ходу, ну, а которые побольше, тех, как

откроют где на остановке в поле, али бо в лесу вагон, так тут и выбросят на потарзанье лютому зверю, али бо птице.

— И потянули туда на север народу видимо-невидимо. Из нашего Острогожского да из Бобровского уезду, нагрудили при нас прямо на целый большой город.

— Слышим потом, после нас большие были восстания. Будто разрешили колхозам этим самым разойтись. Ну, а теперь отобрали у всех хлеб и народ, слышно, начисто помирает. Одни колхозники в живых остаются.

— Вот, значит, привезли нас в леса, в бараки. Полегли мы на нары подряд. А потом гонют в лес на работу. Ну, а хлеба нет. Кто на работе, да выполнил урок, тому шестьсот граммов, а семья как знает. Почитай все ребятишки перемерли. Что-ж, здесь в лагере куда лучше. Здесь хоть какой ни есть — паек тебе есть за работу. А там смерть.

— Не стерпел я и ушел. Баба и парень там остались. Уж не знаю — может живы, а может и нету их больше. Меня поймали, да за побег со спецпоселка в концлагерь.

5. ПРОФЕССОР ШАШКИН

Однажды, после изнурительной срочной работы, мы с профессором Шашкиным возвращались на второй лагпункт.

Холодное солнце поднималось из-за косматых снежных деревьев и в утреннем морозном воздухе резко звучали свистки и стуки машин и говор людей. Мы подходили к каналу. Около своего поста, ежась от холода, сигналист вызванивал сигналы.

— Не успеете, — закричал он нам.

Мы остановились невдалеке от сигнальной будки и прачешной.

— Вы, профессор, — сказал я, — говорите, что количество заключенных перевалило в Белбалтлаге уже за третью сотню тысяч. Пожалуй ГУЛАГ'у придется выдумывать новую обширную стройку...

Шашкин засмеялся коротким, отрывистым смехом.

— они уже давно выдуманы. И, конечно, развернуты в еще больших масштабах, чем канал. Разве вы не слыхали о БАМ'е?

— О Байкало-Амурской железнодорожной сети? Кое что слыхал. Это где-то севернее Амурской дороги?

Мы переждали взрывы, и как только сигналист дал три отбойных удара, пошли через мост. Шашкин продолжал:

— У меня поехал туда двоюродный брат, инженер-путеец. Пожалуй уже с год он там. Но настоящие работы начнутся в этом году и закончатся в 1937 году. К январю 1935 года число заключенных на БАМ'е возрастет до миллиона.

Шашкин подробно описал проект гигантской стройки, превосходящей весь Сибирский путь.

— И это не единственная постройка. Фараонизация идет вперед. И будет развиваться. Творческие силы, просыпающиеся центростремительные влечения народных масс нужно куда-то направлять, чем-то занимать. И это расширение лагерей и постепенное сглаживание разницы между вольным и лагерником, не сказывается ли тут тенденция — провести всю страну через этот режим, но под иными названиями. И этот каторжный режим в его конечном стремлении — не есть ли именно режим социализма?

Шашкин вдруг спохватился, понял, что увлекся и как-то неловко замолчал. Я его понимал: в лагере вся толща заключенных пронизана сексотами и нельзя ни на кого положиться.

Однако, мало по малу мы с профессором узнали друг друга достаточно, чтобы говорить, не стесняясь на скользкие политические темы. Я удивлялся работоспособности профессора, твердости его духа. ГПУ не смогло столкнуть его в обывательское болото. И после подвала он остался таким, каким, по-видимому, был прежде.

Однажды утром мы шли по знакомой до надоедливости дороге по мосту через канал, кишащий людьми.

Среди этой толпы не было ни одного человека, одетого не по лагерному. Однако, однообразная на вид серая масса по-прежнему оставалась разнообразной по составу.

— Вот, прежде всего, в чем проявляется социализм, — говорил с горечью профессор. — Вот оно равенство людей перед голодом и смертью. Это не каторжане прежних времен, стерегомые охраной и трудящиеся как рабочие на помещика или хозяина. В этой толпе нет и духа старой каторги. Она страшнее, потому что безнадежнее, а безнадежнее потому, что не только насилие ее равняет, но и сама себя сознает она такою. Это новый продукт новой общественной жизни, это члены нового социалистического общества. Некая невидимая рука движет этим обществом, которое хвалится, что творит жизнь «своими собственными руками» и строит ад. Как здесь лагерник штурмует канал ради куска «слезного хлеба», так и на всем пространстве социалистического отечества за этот же кусок «слезного хлеба» работает порабощенный колхозник, зажатый в тиски «ударничества» рабочий.

Мы шли дальше к электростанции. Профессор продолжал:

— Представим себе, что этот режим пал. Перед строителями новой жизни встанет необычайная задача: снять с лица советского гражданина нарощенную им за двадцатилетие советской социалистической власти социалистическую маску. И не думайте, что это будет легкий труд, что маска упадет сама собою, как только не станет понуждения носить ее. Нет, привычка к ней велика. У многих она просто-таки срослась с лицом. Смотрите: все мы ненавидим режим, все желаем ему ножа в сердце. А, между тем, поддерживаем его и, даже, славословим, когда требуется. Противоречие повседневное и возмутительное. Случается наблюдать его на всякого рода собраниях. Люди как будто с развитой индивидуальностью, привыкшие мыслить. Но на лице — уже казенная социалистическая маска. И уж как она к ним не идет, как нелепо порою на них сидит. Вы представляете себе какое-нибудь собрание, ну, например, в Академии наук, обсуждающее вопросы по соцсоревнованию и ударничеству в научных областях?

— Что-ж, — возразил я, — безвыходность положения заставляет пускаться и на хитрости.

— А хитрости накладывают привычку, которая делается второю натурой.

— Да, но, в конце концов, все же это маска, а не настоящее лицо. А вот теперь пошли уже настоящие, природные члены социалистического общества, им впоенные и вскормленные, социалисты подлинного лица, а не маски.

— Молодое поколение?

— Да, хотя бы.

Шашкин усмехнулся.

— Человек рождается человеком со всеми натуральными свойствами и особенностями. Коммунистический режим мыслит и желает для себя человека не таким, как он существует в природе, а иного, созданного теоретически, книжной фантазией. Взять к примеру: человеку прирождено чувство собственности. Коммунистическая фантазия его этого чувства лишает, насильственно напяливает на него противособственническую маску. Таким способом и молодое поколение оказывается одетым в маску лишь принимаемую заподлинное лицо. Другое дело — легко ли ее будет снять. По моему глубокому убеждению самая главная задача будущим могильщикам коммунизма предстоит вовсе не в свержении режима. Это что. Он уже одряхлел, подточен, сам себя изжил и сам собою рухнет в какой-нибудь случайной катастрофе, может быть даже не весьма значительных размеров. А вот именно в снятии маски, в отвоевании природного человека у овладевшего им социалистического маскарада.

Мы остановились около узкоколейного железнодорожного пути. Мотовоз тянул состав вагонеток, груженных камнем и преградил нам путь. Шашкин посмотрел вслед гремящему мотовозу и продолжал:

— Конечно, мы сами, собственными руками приготовили путь этому ненавистному режиму. Он ведь к нам тоже в маске пришел. Обманул, втянул в сообщники обмана...

* * *

Мне вдруг захотелось посмотреть в лицо Шашкину. Но он, наклонив голову, взбирался по горной тропинке, погруженный в свои думы, вероятно, вызванные воспоминаниями о только что рассказанном.

Придя в холодную палатку, я улегся в свой теплый спальный мешок и не мог уснуть, несмотря на утомление. В голове что-то трещало и звенело, бессвязные мысли неслись нестройными вереницами. Все, чему я так когда-то верил, предстало теперь передо мною в новом свете. И это новое было так неожиданно, словно удар грома. В душе моей целая буря.

6. НЕКОТОРЫЕ АНТИТЕЗЫ

Введенский жил на третьем лагпункте вместе с прорабами в довольно сносном общежитии. Мы иногда брали вычислительные работы с собою и уходили из людной конторы в это общежитие.

Прорабы на этом участке строительства были в большинстве из военных. К строительному искусству до сих пор они никакого отношения не имели и занимали в красной армии должности комбатов, комполков и даже комбригов. По оговору Рамзина ГПУ разгромило весь Киевский военный округ, и в лагерях оказалась значительная часть его командного состава.

Меня очень интересовали эти люди, служившие советской власти не за страх, а за совесть. Среди них я почти не встречал военных советской подготовки. Все это были люди старого времени, однако, верившие советской власти.

Комсомолец-студент Введенский как-то еще не проникся духом лагерной осторожности и с ним можно было поговорить без боязни услышать трафаретные ответы. Он ко мне с любопытством приглядывался, как к обломку погибшего режима и быта.

Прораб Морозов, человек лет под сорок, лежал на своем топчане и читал газету.

— Что нового? — спросил его Введенский.

— Ничего особенного, — сказал Морозов, отложив газету и равнодушно взглянув на нас.

— Интересно, что теперь пишут буржуазные газеты, — сказал Введенский, обращаясь ко мне.

Я пожал плечами.

— Вероятно, диаметрально противоположное советским.

— То есть, как это? — воскликнул Морозов и даже сел на топчане.

— Согласитесь сами, — продолжал я, — что задачи советской печати и печати буржуазной совсем разные. Буржуазная печать имеет целью осведомлять обо всем и быть рупором жизни, а советская об осведомленности ни мало не заботится и следит только за проведением в жизнь законов.

— Ну, уж нет, — возразил Морозов. — Это вы что-то того... перехватили. Именно только свободная советская печать служит рупором жизни и осведомителем, а вовсе не продажная буржуазная печать.

Введенский поглядывал на меня улыбаясь, будто хотел сказать: — видите как вы заблуждаетесь.

Меня это задело за живое. Я взглянул на большую круглую голову Морозова, на его упрямый лоб и, позабыв всякую осторожность, вступил с ним в спор.

— Что представляет собою буржуазная пресса? — говорил я Морозову. — Прежде всего, это армия корреспондентов, залезающих буквально во все щели, освещающих все достойное внимания. Может быть, многим и многим не хотелось бы быть освещенными репортерским фонариком. Но печать — одна из сильнейших держав мира и, по неписанным законам, она вправе вторгаться всюду. Все перипетии общественной и политической жизни отражаются немедленно в печати. Советская печать тоже имеет корреспондентов. Это армия рабкоров, селькоров, военкоров, лагкоров и прочих коров. Но задачи деятельности этой армии совершенно иные. Советский корреспондент следит

только за проведением в жизнь правительственных мероприятий. И все. Материалы, присылаемые советскими корреспондентами, фильтруются в соответственных советских учреждениях. И только после этой фильтровки и исправлений печатаются. Роль совкорреспондента сексотская. Он сообщает обо всем, что заметил противосоветского, и его заметки во многих случаях идут в ГПУ. Вообще, он наблюдает за тем, что ему поручено. Весь материал в советских газетах — это материал государственных учреждений, прошедший через всяческие ячейки и, в большинстве случаев, санкционированный ГПУ. Советская печать ни в какой мере не отражает жизни. В газетах нет даже отдела происшествий. Это особенно показательно.

Морозов даже покраснел.

— Вот как. Если нет никому не нужного отдела происшествий, то, значит, газеты ни о чем не осведомляют?

— Не в отделе происшествий дело. А вот мы с вами отлично знаем по многочисленным письмам о голоде в стране. На юге люди мрут как мухи. Ведь этого вы отрицать не будете? А, между тем, в газетах об этом ни слова. Если бы в прежнее время это проделывал какой-нибудь полицейский листок, его свободная пресса живьем бы съела.

Морозов вскочил.

— Вот как. Вы сравниваете нашу печать с полицейской? Нет, это уже слишком... Я прошу вас не говорить подобным образом в моем присутствии.

Он быстро оделся и ушел с сердитым видом. Водворилось неловкое молчание. Я в душе ругал себя за длинный язык. Введенский отложил работу и сказал.

— А все же я с вами не согласен. Буржуазная печать продажна и служит только интересам буржуазии. Она не может отражать жизнь, да и интересов народных она не защищает.

— У вас неверное представление о жизни вне Советского союза. Если бы строй жизни там был такой, как у нас, ваши возражения были бы правильны. Но строй жизни там совсем иной. Там существует свободная конкуренция, и неправильно осведомленную газету никто и читать не станет.

— А как же читатель узнает — врет она или нет?

— Очень просто. Если она вздумает врать, то остальная печать живо выведет ее на свежую воду.

По глазам комсомольца я ясно видел: не верит он мне. Он так уверен, что страна советов единственная в мире, заботящаяся о рабочих, что в остальных странах рабочие мрут с голоду, угнетаемые буржуазией, при полной неосведомленности об этом общества, в результате замалчивания продажной печатью. Разуверять было бы бесполезно и трудно еще и потому, что комсомолец не помнит прежнего, до советского быта.

7. СНОВА НАЙДЕНОВ

Возвращаясь как-то морозным утром из своей конторы, я столкнулся у самых ворот лагпункта с Найденовым. Не узнать его было нельзя: те же «веселые» глаза, та же подвижность. Он меня тоже узнал и, пожимая руку, заметил:

— Ого, я вижу вы не на канале втыкаете. Что-то мозолей у вас не чувствуется.

— А вы на канале?

— Еще бы. Но имею дело не с кирпичами, а с бетоном. Мастер-бетонщик.

— Давно здесь?

— Пожалуй, месяца четыре.

— Неужели нельзя было задержаться на строительстве пушхоза? Ведь работа там еще есть.

Найденов пожал плечами.

— Что станешь делать? Эта собака — Александров начал прямо разрушать пушхоз из мести к Туомайнену. Всех до единого плотников перебросил сюда. И лошадей отобрал. Ну, да черт с ним. Мне и тут не плохо как специалисту. Живу в бараке и пользуюсь всякими поблажками.

Найденов жил на том же втором лагпункте. При случайных встречах мы вели долгие разговоры, вспоминая прошлое и пытаясь заглянуть в будущее.

Найденов остался все таким же. Случалось видеть мне его в сопровождении лагерных «административных чинов». При разговоре с ними не чувствовалось в его манере держать себя той собачьей натянутости, какая бывает у попавшего в низы жизни.

— Что вы не устроитесь в канцелярии? — спросил я как-то Найденова.

— Благодарю вас. На четыреста грамм хлеба? Да и торчать круглые сутки в этих конурах мало радости. Я получаю кило хлеба и еще ухитряюсь добывать кое что премиальное.

— Знаете, Григорий Иванович, а я тут горе мыкал несколько месяцев на общих работах. Никак не мог выбраться. Крепко меня зажали.

— Ну, уж это совсем глупо. Надо было с первых дней идти в УРЧ и там выяснить обстановку.

— Выяснял, — с сокрушением заметил я, — но меня и ветеринарного врача Федосеича (помнить должны по сельхозу) сюда направили при особой бумажке — держать только на физических работах.

— Чепуха. Все это можно было обойти. Просто вы предоставили себя произволу лагерных ветров. Эх, Семен Васильевич, когда вы научитесь жить по-советски? Нужно всегда становиться ближе к партийному и чекистскому миру. Если хочешь вести с врагом успешную войну, старайся быть с ним в соприкосновении, веди разведку, знай его намерения. А вы нарочно удаляетесь и предоставляете врагу бить вас по чем попало.

— Да, вы военное дело, очевидно, не плохо знаете, — заметил я.

— Есть такой грех, — весело сказал Найденов, распрощавшись со мной.

Однажды вечером Найденов отыскал меня в палатке и потащил в библиотеку.

— Используем мой блат там. Пропуск у вас есть, и из второго лагпункта выпустят, а в первый лагпункт, где библиотека, попадем по благу — у меня там вахтер знакомый.

Морозный вечер. Мы идем мимо лазарета у второго лагпункта. Со стороны канала слышатся глухие звуки взрывов и в зареве фонарей в лесу изредка сверкают блестящие пальцы прожектора. От лазарета наша дорожка вела к окраине огромного карьера, кишашего людским и лошадиным муравейником.

— Чертова машина, — со злостью сказал я, подразумевая канал.

— Ничего, пусть будет так. Нам в будущем пригодится.

— На кой черт тут этот канал вообще? Просто фараоново сооружение. Что они тут возить будут по этому каналу?

— Большевикам возить нечего. Они вывозят по преимуществу мировую революцию. А вы знаете, проект о сооружении этого канала возник лет сто тому назад и предвидел этот канал еще Петр Великий. Так что канал бы здесь все равно был. Значит возить было и будет чего.

— Относительно «будет», говорить не стоит. Наше дело конченное.

— Значит вы для себя футурум вообще исключаете из оборота?

— Послушайте, Григорий Иванович, вот мы с вами и на Соловках ищали, втыкали в самых гиблых местах.

Вы и тогда были твердо уверены в близости крушения большевиков. Откуда эта уверенность?

Найденов помолчал, посасывая махорочную папиросу и весело взглянув на меня, сказал:

— Значит есть к тому основания.

И сразу переменяя тон, продолжал:

— Знаете, Семен Васильевич, я давно собирался посвятить вас в наши некоторые планы. Мы знаем друг друга давно и вот я уверен — вы будете для нас полезным человеком. В будущем нам люди нужны.

— Кому это «вам»? — удивился я.

Григорий Иванович, не отвечая на мой вопрос, продолжал:

— То, что сейчас происходит в стране трудно даже обрисовать. Огонь крестьянских восстаний не затухает. Большевики ходят по окровавленной земле, вот что надо сказать. Да. И видите ли, это все зря. Неорганизованная крестьянская масса гибнет в этих восстаниях, во многих случаях поджигаемых провокаторами ГПУ. Если бы было возможно подняться над всей страной и закричать: — остановитесь, пусть не льется русская кровь».

— Что вам дает право вот на этот гипотетический крик? И кто ему, этому крику, поверит? Ведь и ГПУ полезно было бы так закричать.

Найденов даже остановился.

— Для ГПУ хода назад нет. Оно вылезло теперь из своего вонючего чекистского подвала и палачествует прямо в народных массах, ничуть не маскируясь. Остановиться оно не может. Если нет восстаний — их надо вызвать, чтобы обескровить крестьянство. Другое дело партизанская борьба. Здесь ГПУ несет жертвы. Провокатора к партизанам не пошлешь. И не к партизанам мой крик. Да, так вот насчет права. Право у меня есть. Должен вам сказать я сию отнюдь не по липовому делу. Пойман, так сказать, с поличным. За такие дела, как мое, живым не оставляют. А вот я сумел остаться.

— Каким же это образом? — удивился я.

— Я старый боевой офицер и совсем не земледелец-крестьянин, как я записался в лагерных анкетах. Ни к плотничьему делу, ни к бетону раньше я вообще никакого отношения не имел. Теперь, как видите, бетонщик.

* * *

Найденов продолжал:

— Но, к сожалению, гибель нескольких главарей отодвинула сроки. Без жертв, конечно, не обойтись. Яд провокации весьма сильное средство, но нас уничтожить оно не может. Мы сильны не только своей конспирацией, но и тем, чего нет у провокаторов — христианскими принципами. Попадая в чекистское окружение, мы имеем единственный для себя оплот в вере. Только она и может поддержать человека в этом пекле.

Я был поражен всем услышанным. Найденов продолжал:

— Вы вот сетовали — не удалось вам прошлой осенью драпануть. Если хотите — весной самым спокойным образом уедете из лагеря. Только не советую вам все же за границу бежать. Что вы там будете делать? Слишком много средств тратится ГПУ для провокационной работы в эмигрантской среде. Политическая работа в широких эмигрантских кругах невозможна.

— Выходит — вы и в эмиграции были?

Найденов усмехнулся.

— И очень даже был.

— Эх, вот хоть бы одним глазом посмотреть на эмигрантскую жизнь, посмотреть, как люди живут настоящими людьми.

Найденов махнул рукой и, улыбаясь, заметил:

— Там хорошо, где нас нет... А меня при воспоминании об эмигрантском житье просто берет досада. Мы здесь боремся, рискуем ежеминутно головой. И вот потом вместе с настоящими русскими людьми придут эти слюнявые непротивленцы, проповедники всяких марксизмов наизнанку, разное политическое жулье, изъеденное большевицкой провокацией и начнут здесь свою волюнку.

— Ну, с марксизмом ничего у них не выйдет, — возражаю я.

— Жизнь будут отравлять, вот что. Всякого сорта забракованные политики ужасно вьедливый народ. Будут брызгать слюной на окружающее.

* * *

Я не успел в первые дни нашего пребывания на втором лагпункте повидаться с работавшим несколько дней с Федосеичем отцом Иваном Сиротиным. Затем он исчез как и Федосеич. Теперь с появлением Федосеича мы обнаружили местопребывание отца Ивана в одной из палаток. Он был дневальным. Встретился я с ним у кипятилки. Отец Иван меня тотчас узнал.

— Мы, кажется, встречались с вами в Новороссийском подвале, — говорил он, пожимая мне руку. — Да, да, теперь припоминаю. Это было в двадцать седьмом году — пять лет назад.

Мы прошли с ним в кочегарное отделение кипятильника. Посторонним туда вход был воспрещен, но нас, при нашем появлении, приветствовали. Кипячением тут ведали двое: высокий и крепкий, лет под шестьдесят кулак Никитин и такого же роста, мужиковатого вида священник отец Никифор.

В сердечном общем разговоре я кратко рассказал о своем соловецком и не соловецком лагерном житье. Меня приняли здесь как своего человека вся «кипятельная братия».

Здесь был некий центр всяких новостей. В закуте кипятильщиков, вмещавшей две их постели и маленький столик, то и дело появлялись многочисленные их лагерные знакомые из всех слоев населения «полотнянного города». Зайдет канцелярист из УРЧ'а — сообщит урчевские новости, письмоносец — управленческие новости, рабочий — низовые новости (большею частью на тему об «издержках революции»), монтер или подрывник — вообще новости.

Отец Иван жалуется:

— Новости, говорите, какие? Скверные новости... Первоначально я предполагал, что это только мне о скверных новостях из деревни пишут. Однако, оказывается всем деревенским жителям из разных местностей России сообщают об одних и тех же печальных деревенских новостях. Голодает деревня. С голоду мрет.

— А цензура, — спросил я, — разве она пропускает эти письма.

— Что цензура? Ежели пишут про общий и повсеместный голод — что сделает цензура? Тогда бы пришлось все письма уничтожать.

— Какая же причина голода? — спросил отец Никифор.

— Осенью у всех невошедших в колхозы отобрали весь хлеб до зерна. Голод начался с осени. К весне умирать будут, если правительство не поможет.

Никитин, услышав об «ожидании помощи» только молча скривил губы в улыбку. Он-то ведь знал, что мужику помощи ждать неоткуда.

Во время нашей беседы в кипятильне появился неизвестно откуда Найденов.

— И вы здесь блат имеете? — обратился он ко мне улыбаясь весело.

— Все еще старые связи действуют, — сказал я.

Найденов также принял участие в разговоре. Но я заметил, что с его приходом разговор стал потухать. Кочегарам понадобилось что-то делать у топок, не требующих, по-видимому, никакого дела, отец Иван вышел.

— Что нового? — спросил я Найденова.

— Новости есть. Как же. В чекистском мире предвидится скорая буря. Канал к сроку не закончен и, по-видимому, начнется самоедская кампания.

— То есть, это как?

— Начнется это с поедания одного чекиста другим. Сначала где-то в Москве. Потом будет съеден, конечно, начальник лагеря Александров. На этом все это не остановится и пойдет дальше. Для таких бурных чисток ИСО обладает неиссякаемым запасом агентурных сведений. Всякая неполадка в работе, а их, неполадок, бездна, всякое даже отступление от планов занесены на скрижали осведомительного отдела ИСО. По знаку сверху вся эта масса «преступлений» может быть свалена на любые головы. Посыплются новые сроки и все прочее на всех энтузиастов стройки в аппарате. Система ведь никогда не бывает виновата в крахе всяких коммунистических планов. Пакостит всегда не кто иной как вредитель.

* * *

Действительно, в феврале 1933 года выяснилось: к первому мая канал закончен не будет. В неуспехе был обвинен начальник Белбалтлага Александров. Его немедленно убрали и на его место назначили болгарского еврея Фирина. Фирин, конечно, как и всякий чекистский администратор начал с чистки. Особенно пострадали от этой чистки отставшие: наше седьмое и восьмое отделения. Здесь приняты были суровые меры и на сцену появилась зловещая фигура Успенского. За расстрел имяславцев он был в загоне и едва не получил срок. Теперь его назначили начальником двух объединенных отделений: седьмого и восьмого. Он немедленно начал оправдывать возлагаемые на него надежды.

«Ударные темпы» уже не удовлетворяли Успенского. Он перешел сначала «на штурм канала», а затем объявил «ураганник». Я тоже был «ураганником» и «штурмовиком», ибо получал семьсот пятьдесят грамм хлеба. Работа, конечно, осталась та же самая. Ведро в бутылку все равно не вольешь. Но шум от «штурма» и «урагана» получился большой.

Население нашего лагпункта стало быстро расти; приходил этап за этапом. Строились новые палатки и новые толпы людей лились в канал.

Первые новости сообщил мне отец Никифор. В кипятилке было все, как обычно. Я сел на постель, отец Никифор по обыкновению подкладывал дрова в топку, переливал воду из контрольных цилиндров.

— Новости какие, Семен Васильевич. Вчера приехал из Медгоры человек и сообщил. Начальника лагеря посадили.

— По какому это случаю.

— Канал не кончили, во-первых. А тут на беду Сталин стал каналом интересоваться.

— Кто же теперь на месте Александрова?

— Фирин. Какой-то Фирин.

— Ну, это нам все равно, — заметил я, — что в лоб, что по лбу.

— Не скажите. Должно быть все же кое какие гайки нам закрутит эта новая метла.

Я устало махнул рукой.

— Потом, вот еще... Я вас, Семен Васильевич, хотел предупредить. Ваш знакомый Найденов, как бы вам сказать... Его следует оберегать.

Я вопросительно смотрел на отца Никифора.

— У меня ведь тут клуб и я многое знаю, хотя и сижу на месте. Один придет за блатным кипятком — сообщит то, другой другое. Глядишь — целую сводку лагерной жизни можно сделать.

— Ну, и что же вы слышали о Найденове?

— Видели его у чекиста Матвейчика, вот что.

— Так ведь всякого из нас чекист может вызвать.

— Ну, и будет это целое событие. А Найденов, говорят, ходит к чекисту довольно таки часто. Что-то тут дело не чистое. Я хотел вас давно предупредить, да все как-то не удавалось.

Я поблагодарил отца Никифора за сообщение и при встрече с Найденовым сообщил ему об этом. Тот только посмеивается.

— Наша сеть весьма обширна. Мы не боимся заглядывать даже в святое святых наших врагов.

8. НА ПУТИ К ИЗБАВЛЕНИЮ

Теперь мы раз в неделю производили нивелировку и определяли сколько еще остается в теле канала невыбранного грунта и камня. В помощь нам командировали еще одного землемера.

Каково же было мое удивление, когда этот землемер оказался черноморцем Ивановым, братом зава землеустройством, с которым я служил перед арестом и заключением в концлагерь.

Иванов, сильно постаревший и осунувшийся, с грустью рассказывал о черноморских землемерах.

— Весь землеустроительный аппарат попал сюда в концлагерь. И вы тоже, если бы оставались служить, все равно бы не миновали лагеря. Кто бы мог подумать, что так, за здорово живешь, исправный и добросовестный работник мог угодить на каторгу. Дело наше, конечно, липовое и гроша ломаного не стоит. Где-то там на верхах состряпали проект колонизовать девственные горы и леса Черноморского побережья. Разумеется, в срочном порядке начались подготовительные работы: съемка, таксация почв, разбивка. Работа в горах сумасшедшая. Но по срочным заданиям дни и ночи работали. Нужно было все в один год закончить. На следующий год предполагалось перебросить на эти новые места пятьдесят тысяч семей.

— Но ведь там нет дорог и край совершенно первобытный, — удивляюсь я.

— Вот в том то все и дело, — соглашается Иванов. — Сколько труда надо положить колонисту, чтобы только приспособить землю для эксплуатации. Извольте ка произвести расчистку в тех непроходимых лесах.

Не мудрено, что первые же партии переселенцев оттуда разбежались. Так и провалилась эта затея с колонизацией.

— Об остальном догадываюсь, — сказал я: — виновниками оказались агрономы и землемеры.

— Так и было. Агроном Эпаминонд Павлович Дара в отчаянии вскрыл себе вены, будучи в подвале ГПУ. Но его отходили. Бедняга тоже тянет лагерную лямку..

— Смородин, — обратился ко мне счетовод, передавая телефонную трубку, — тут вас спрашивают. Дайте потом отбой.

Незнакомый голос:

— Это Семен Васильевич?

— Да. Кто спрашивает?

— Матушкин.

После краткого разговора я побежал на соседний лагпункт, к неожиданно оказавшемуся здесь Матушкину.

После первых обычных, но оживленных разговоров, Матушкин вдруг помрачнел. Даже и своему переселению с острова не радовался.

— Что это ты, Петрик, так мрачно настроен? Смотри — весна на дворе, скоро снег начнет таять и житье полегче станет, — утешал я его.

— Наслушался я тут от очевидцев о лучшей жизни. Ты не можешь себе представить, что происходит сейчас в России, — говорил Матушкин, угрюмо качая головой. — Гибнут целые округа от голода. Недавно вернулся обратно в лагерь из командировки знакомый ветеринар. Побывал в Киеве и в Ростове на Дону. Ни одна страна в мире ничего подобного никогда не переживала. Прежде всего — страшные опустошения в деревне от коллективизации. Мы считали, принимая в соображение советскую привычку выражать все в процентах, во что обошлась народу коллективизация. Брали только официальные данные. И у нас получились страшные цифры, невероятные цифры! Вот, например, раскулаченных по первому разряду пять процентов всего деревенского населения. Это миллион дворов или четыре с половиною миллиона душ. Около миллиона или полутора из них в лагерях, а остальные погибают в ссылке, в спецпоселках. Но с остальным деревенским населением расправились и еще круче. Раскулаченных по второму разряду по нашим подсчетам было в два раза больше, чем раскулаченных по первому разряду, то есть девять миллионов душ. Их лишили имущества, предоставили им умирать, как они хотят. Такое ограбление иначе и нельзя назвать, как приговором к голодной смерти. Общее количество вычищенных из колхозов и раскулаченных по второму разряду достигает шестнадцати миллионов. Три четверти из них погибли или погибают от голода. За год — восемь — десять миллионов покойников. И ведь это, повторяю, по официальным данным. Ветеринар рассказывает: уже теперь вымерли целые деревни. Улицы пусты и мертвы — все живое или умерло, или съедено. Ни собачьего лая, ни кошачьей фигуры в деревне. Летом все травой да бурьяном порастет. А в городах что делается! В Ростове на Дону специальные команды не успевают подбирать мертвецов. Из деревень все, кто могут, бегут вопреки запрещению властей. В городе свободно продают «фондовый хлеб» по четыре с полтиной кило. А вывезти из города нельзя ни грамма. Стоят заставы и все отбирают. Деревня обречена на полную гибель. Тут вот еще зоотехник ездил покупать для лагеря скот в совхозах. Так что рассказывает — поверить трудно. Скот, согнанный в одно место — болеет. Еще кормов для него нет, помещений нет. И все это делается по распоряжениям сверху. Происходит вполне сознательное истребление властью всего крестьянского достояния. Властью над крестьянским хозяйством поставлен крест, оно обречено на гибель и замену колхозами, управляемыми правительственными эмиссарами. Крестьянство, как класс, перестает существовать.

Матушкин замолчал и мрачно задумался.

— Сталин решил сразу построить социалистическую деревню при помощи дубины, — сказал я.

— Сталин? А ты уверен в единодержавии Сталина? Я нет. Помнишь комиссию Орджоникидзе по ревизии ГПУ? Чем она кончилась? Да, ничем. Сталин мечтал было наложить руку на ГПУ, да не тут-то было. Так с полгода, поговорили в угоду ему о вредительстве с усмешкой и, якобы перестали верить во вредительские дела. А теперь снова принялись за прежнее. Вон в Сибири был «процесс организаторов голода». Обвиняли каких-то там своих заправил, якобы они голод организовывали с вредительской

целью. Своих партийных даже расстреляли. А кто организует голод? В стране, где все продовольствие в одних руках — в руках правительства — кто организует голод?

Матушкин прав — все рушится. А между тем был момент, когда коммунистический мир должен был бы погибнуть. Весь поглощенный борьбой с крестьянством, он бросил на этот фронт все свои силы. И, казалось, в грохоте вспыхивающих всюду неорганизованных восстаний уже слышится грозное предупреждение насильникам о последнем их часе. Какое удобное время было для удара по власти темных сил с тыла. Но этого тылового удара не последовало. И вот восемь миллионов мертвецов и четыре с половиной миллиона раскулаченных обескровили крестьянство. Исчез крестьянин на Руси, превратился в колхозника!

* * *

Измученный рассказами Матушкина, я лежал на нарах в палатке и смотрел на бледный свет лампы, на дремлющего у печки дневального. Завтра опять начнется то, что и сегодня. Опять остро почувствовал себя зажатым в тесно сдвинувшихся стенах, опять на дне колодца.

За эти годы и воля стала уже не та и сам я уже сдал. Недалеко и время упадка сил. Настанет и оно. Что-тогда?

В моем воображении проходят виденные мною толпы инвалидов, идущих из лагеря в ссылку. Их радость и надежда на лучшее сменяется очень скоро отчаянием, ибо их удел — постепенное угасание от голода. Разве я сделан из другого теста? Разве я не один из русских — одна капля людского русского океана, обреченная, как и многие капли на гибель?

И вновь во мне вспыхнуло неукротимое желание поставить на карту свою жизнь. Бежать, во что бы то ни стало бежать! Дело идет к весне. Эх, если бы я был в зверосовхозе, как бы облегчилась тогда эта задача!

Только к утру я забылся тяжелым сном. А вышло, что уж именно, утро вечера мудренее. Ибо утро расцвело чудом.

В конторе у нас все было по-прежнему; так же спали на столах, так же посреди комнаты топилась печка.

— Тут есть относительно вас телефонограмма, — сказал дежурный.

Я читал и не верил своим глазам: телефонограмма извещала об откомандировании меня обратно в зверосовхоз, по распоряжению управления Белбалтлага.

XI. ПОСЛЕ КРУШЕНИЯ

1. СПАСИТЕЛЬНЫЕ БЕРЕГА

Шесть утра. В единственное окно моей кабинки пробился луч весеннего солнца. Обстановка кажется мне мало вероятной: около единственной моей постели — столик, на нем точные технические весы в стеклянном колпаке, на левой стене, на полках книги, далее, за столом у правой стены — железная печь — необходимая принадлежность каждой лагерьной кабинки. Без неё всякая кабинка называется просто сараем. Некоторое время я ничего не могу понять — потом ощущаю себя вырвавшимся из канального пекла, радостно вскакиваю и, зажмурившись от солнца, решаю подремать еще и валюсь обратно в кровать.

Но уже в следующую минуту я на ногах, весело напеваю, одеваюсь и вообще прихожу окончательно в себя.

Моя кабинка как раз позади крольчатника у противоположного фронтальному выхода в лес. Вокруг тающий снег, лужи, вытаявшие кочки. Я иду по коридору крольчатника мимо анфилады секторов — слева маточных, справа выгулов для молодняка. Двери маточных отделений уже раскрыты, всюду идет работа по первому утреннему поению и кормлению животных. Стучат открываемые и закрываемые дверцы клеток, глухо звякают железные черпаки о кормушки.

В кроличьей кухне Якубов весело меня приветствует. Он заменил здесь кулака Ялтуховского и был свидетелем войны между Туомайненом и Александровым.

— Мы думали — крольчатнику конец будет, — рассказывает Якубов. — Вместо вас Сердюков назначил Ивана Ивановича Богусhevского. Тот в кролиководстве совсем ничего не понимает, а сам вид такой на себя напустил, будто что и знает. Ну, мы все, конечно, его ведь и раньше знали — трепач и больше ничего. Работать, конечно, он не мог. Распоряжений никаких никому не дает и стал каждый делать свою работу как хотел и как умел. Кто дачу воды стал сокращать или совсем не давать кроликам, кто кормежку сокращать. Начался тут такой беспорядок, что, право, удивительно как это тут все цело еще осталось. Ну, ежели бы такая волынка еще несколько месяцев продержалась — пришлось бы нам не иначе лавочку закрывать.

— Как же Сердюков на это все смотрел?

— Да, как вас увезли тогда, почитай что ни разу и не был в крольчатнике.

— А Карлуша?

— Карлуша у себя в питомнике только бродил. Сюда ни ногой.

Рассказывая о крушении Александрова, Якубов оживился и весело тараторил:

— Вот как в кино, не иначе получилось это все. Мы еще и не чуем, что Александрова в конверт запрятали, а Карлуша уже пришел в крольчатник. Молчит Карлуша, ходит везде и глядит. Потом после разъяснилось, за Константином Людвиговичем срочно было послано. Того на аэроплане из Соловков вывезли. Ну, конечно, как приехал Константин Людвигович так и работа настоящая началась. Вы осенью сдавали крольчатник, почитай, пятнадцать тысяч было животных, а осталось три или даже меньше.

Из кухни я пошел бродить по всему обширному хозяйству. За шесть месяцев моего отсутствия лицо Повенецкого зверосовхоза сильно изменилось. ГПУ продало зверосовхоз «Союзпушнине» и теперь он обслуживался наполовину вольными, наполовину

заклученными. Такое смешение персонала наложило на лагерную жизнь свой отпечаток. Большинство вольных были или родственники заклученных, или бежавшие от паспортизации.

Директор Туомайнен встретил меня по возвращении из бездн канального строительства Белбалтлага с нескрываеомой радостью. Впрочем, радость эта объяснялась довольно прозаическими причинами. За мое отсутствие помер зоотехник питомника и завзверсекцией Михайловский и в хозяйстве не осталось людей опытных в звероводстве. Временно ведал питомником Уманский, подлежащий через месяц освобождению из лагерей. Я назначался Туомайненом на его место.

Теперь в хозяйстве было два директора: технический директор Туомайнен и политический — заслуженный коммунист из Ростова на Дону, попавший сюда с директорского кресла большого завода за перманентное пьянство.

Оба директора ухватились за меня, как за некий якорь. Работать ни у того, ни у другого не было никакого желания, а на голой халтуре в хозяйстве далеко не уедешь: передохнут лисицы и соболя и тут уж директорам придется прямо без пересадки переходить с вольного положения на положение заклученных.

— Тебе придется через месяц принять питомник пушных зверей, — сказал Туомайнен.

Он был весьма доволен своей победой: Емельянов, Сердюков и их ближайшие помощники совершенно исчезли с горизонта командировки, а новое лагерное начальство к нему благоволило.

Работать в питомнике мне совсем не хотелось. Там начался сильный падеж молодняка и ожидаемый процент выходной продукции сильно упал. Обычно мы выращивали три лисенка от самки, теперь же еще в подсосном возрасте их оставалось в среднем на самку — два с половиною. Но я не возражал против назначения.

С большим нетерпением ожидал я, когда же, наконец, возможно будет вырваться из «директорских объятий» и увидеть своих друзей.

Наконец, Туомайнен сказал:

— Будешь пока помещаться в крольчатнике. Можешь устраиваться.

Я вылетел из главдома и почти побежал по кроличьей улице.

Вот он — Константин Людвигович. Какой важный у него вид. Еще бы: в крольчатнике работает человек пятьдесят вольных и ему, старому каторжанину, приходится управлять хозяйством. Милые лица старых друзей, искренно радующихся моему возвращению со дна, встречают меня всюду в крольчатнике. В кроличьей конторе все по-прежнему: Артур Иванович Поллиц, не понимающий пользу туфты во всякой советской работе, сидит над своими учетными ведомостями и родословными книгами, генетик — профессор Воскресенский, из Киева, работает над биологическими препаратами. Этот крепко сколоченный, живой, неунывающий россиянин ни капельки не изменился. С ним мы направились в бактериологическую лабораторию — поведать об участии Федосеича его бывшим сотрудникам.

За столом, где когда-то сживал профессора Неводов и Федосеич, теперь за лабораторией бактериолог профессор Любушин. Тут же за соседними столами — санитарки, вечно торчащие за микроскопами то над соскобами с чесоточных лошадей, то над пробами кроличьих и лисьих выделений. Как известно все делалось ударно и ураганно, а по сему случаю не умеющие заряжать туфту должны были работать без конца. Однако, даже и почтениые профессора умели с грехом пополам заряжать в нужде туфту и кое-как спасать своих сотрудников от бесконечной, надоедливой работы.

Наш приход сразу оживил затихших бактериологов. Посыпались расспросы, высказывались сожаления и сочувствия старику Федосеичу. В лаборатории же оказался зашедшие сюда с медицинскими анализами молодой доктор Каскевич.

— Удивительный старик, — говорит о Федосеиче Каскевич, — осенью, когда за ним пришел конвой, я предложил ему сейчас же освидетельствование и, конечно, употребил бы все меры, чтобы отстоять его от переброски. Но старик наотрез отказался.

— Он на это не пойдёт, — заметил Любушин, — человек принципиальный.

Обратившись ко мне Любушин спросил:

— Но все-таки, в каком он состоянии?

Я рассказал невеселые вещи о Федосеиче и в лаборатории водворилось уныние.

Ольга Николаевна Малышева, санитарка-бактериолог и, кажется, еще счетовод, первая прервала тяжелое молчание.

— А вы не думаете послать старику посылку из наилучших благополучных мест? — сказала она своим тихим голосом.

— Посылку послать конечно возможно и мы ее решили послать. Но все же каждый сознавал — это не спасет обреченного старика. Если бы он был молод и пригоден к напряженной работе Туомайнен бы его, конечно, вытащил со дна, как вот меня. Но кому нужен дряхлый, бессильный старик? Кто из нас был застрахован от участи Федосеича и где гарантии нашей устойчивости? Все в этом окаянном чекистском болоте отравлено ненавистью и злом.

* * *

Весы на моем столе не изображали никакой символики. Мысли о моем любимом деле не оставляли меня даже в палатке на канале. Даже там я ухитрялся по Найденовскому блату доставать из библиотеки книги по интересующим меня специальным вопросам и думать над способом изготовления искусственного молока для выкармливания молодых животных без молока матери. В конце концов я открыл таки «биологическое молоко» и теперь производю с ним опыты. Каждый день я работаю над молоком, вычисляю, взвешиваю и производю массу всяких манипуляций в поисках верного пути. Теперь, впрочем, путь найден и я производю опытное кормление животных. В крольчатнике для меня отделено две сотни молодых кроликов, обреченных, за недостатком молока у

матерей, на съеденение лисицам. Теперь эти «обреченные» развиваются ничуть не хуже, чем на материнском молоке.

Часто среди захватившей меня работы я сразу вспоминаю с особой остротой кто я и где я. Зловещие картины канального житья меня отрезвляют, я бросаю свои занятия, иду в лес, брожу около питомника, достаю спрятанную, привезенную еще из Соловков, карту и новенький компас. Мною овладевает в эти минуты неудержимое стремление бежать. Мне думается: вот как и осенью, явится неожиданно стрелок-конвоир и опять пойду по мытарствам. Теперь уже эти мытарства кончатся не пушхозом, а братской могилой. Однако, бежать теперь было бы безумием. День теперь круглые сутки. В лесу ни развести костра, ни уснуть — ночная темень не скроет от преследователей. Нет, нужно выждать августа месяца. И при том необходимо бежать небольшой группой.

Что меня здесь удерживает? бессмысленное плавание по лагерным волнам, вот что ждет меня в лучшем случае. Бежать, во что бы то ни стало бежать!

Страхиваю набежавшую на меня хандру и иду опять бродить по пушхозу. Только теперь замечаю, как и здесь, в пушхозе, большинство рабочих голодны. Пушхоз причислен к Белбалтлагу и называется третьим лагпунктом первого отделения. Хлебные нормы здесь урезаны, как и на канале. Но работа здесь, разумеется, меньше вполтину против работы на канале. Шестьсот грамм хлеба и крохи от ежемесячного «ударного премиального пайка». Все премиальные дачи числятся только на премиальной карточке. Чего только тут нет: масса хлебных талонов, по которым не выдается ни одной корки хлеба, селедка, колбаса, жиры разных видов. Увы, как можно видеть на моей премиальной карточке, вырезаны (и по ним выдано) только три талона — на махорку, двести грамм сахарного песку и пару селедок.

2. Я ПРИНИМАЮ ПИТОМНИК

Ясным весенним утром я с Косиновым иду на звериную кухню. Его «казачья команда» уже вся в сборе и ожидает только распоряжения приступить к утреннему кормлению. Заспанный Уманский идет из главдома.

— Сегодня сдаю вам питомник, — говорит он, пожимая мне руку. — Пришло из [Медгоры распоряжение отправить меня на вольную высылку.

На лице его и в его фигуре нет и признака радости. Путешествие из одного чекистского болота в другое не утешает. Уманский работал в советском аппарате до самого своего ареста пять лет назад и знает цену всем этим «переменам».

Бригадир зверкухни Нечай заканчивает свою работу по распределению кормов, и казаки, взвалив на плечи лотки с кормушками, гуськом направляются в питомник. За ними уходят Уманский и Косинов.

Нечай явно расстроен.

— Вчера опять вызывали к следователю ИСО, — сообщает он мне. Приглашают нас двоих казаков в сексоты. И ведь не отстает сволочной чекист. Это уже в третий раз вызывает. Конечно, мы наотрез отказались.

Казак Нечай сидел по уголовной статье вместе с другим казаком — одностаничником. По марксистскому воззрению они оба являлись элементом «социально-близким»

коммунистам и, стало быть, считались весьма пригодными для сексотских деяний. Однако, вопреки Марксу, казаки остались казаками и в сексоты не пошли.

Мы вошли в кухню. Перед самым входом в узеньком коридорчике судомойка Пуцник мыла в лохани кормушки, принесенные после вечернего кормления. Она работала раньше у меня в крольчатнике и я знал о её близких отношениях к ИСО. По этому случаю мы тщательно закрыли за собою входную дверь и ушли в противоположный угол кухни.

— Что пишут из станицы? — спросил я Нечая.

Тот сдвинул брови.

— Помирают — вот что пишут. Мой брат помер в Ростове на Дону. Так его пришлось сестрам неделю хоронить. На кладбище — очередь. Бросить как собаку в яму — вот как там делают со всеми умирающими на улицах, не хотелось. Вот и стояли в очередь на кладбище.

Я смотрел на брызжущее здоровьем лицо казака и думал об уродливых гримасах коммунистической жизни, состоящей сплошь из вопиющих противоречий. Вот здесь в лагерях, километрах в пяти от нас люди по настоящему бьются только за право остаться живыми на «ураганниках» Успенского, и единственной мечтой лагерника является мечта о кусочке насущного хлеба. Мы здесь в самом центре этого ужаса сыты по горло, ибо живем и кормимся около лисиц и соболей. Я, раздувший из простого бунта крестьянское восстание в семи уездах, его идейный возглавитель жив и даже весьма благополучно существую, а десятки тысяч неграмотных и полуграмотных мужиков, восставших «против коммунии» с вилами, расстреляны за восстание спустя десять лет после восстания. Вот она проклятая социалистическая кузница, где нет ни правды, ни справедливости и даже простой человеческой логики...

По пути в контору зверосовхоза я встретил воспитателя КВЧ Грибкова. Он, конечно, воспользовался встречей для своих профессиональных целей и начал обычным своим бесцветным голосом нудный разговор о культнагрузке. Я сделал внимательное лицо и слушал заранее мне известное. Мне слишком хорошо была знакома халтурная сторона всякого вопроса о нагрузках. Моя ближайшая цель — в присутствии сексотов и их помощников казаться крайне довольным своим избавлением и верящим в чекистскую добродетель. Я безоговорочно принял всякого рода культнагрузку, отклонив по-своему обыкновению, противорелигиозную работу. Мы в общих чертах наметили план моей работе по линии КВЧ. Как он там будет выполняться — это другое дело. Важно иметь все это на бумаге в виде плана.

— Мне сообщили, — сказал Грибков, у вас имеется изобретение.

Я вопросительно на него посмотрел.

— При КВЧ у нас имеется БРИЗ (бюро рабочего изобретательства), так вот, сделайте нам заявку на изобретение. Мы его продвинем и будем хлопотать о сокращении вам срока.

Я постарался отговориться от этого любезного, но настойчивого предложения.

Навстречу нам шел из сельхоза в зверхоз профессор П. Г. Лапинский. Бедняга до сих пор не мог сносно устроиться и теперь, обремененный всякого рода нагрузками тянул ляжку счетовода сельхоза... Грибков тотчас обратился к нему по поводу борьбы с туфтой на

производстве. Почтенный П. Г. был выбран и состоял в комиссии «по борьбе с туфтой» — и мы его величали «зав туфтой».

Воспользовавшись возможностью отделаться от Грибкова, я оставил собеседников на дороге и направился в контору.

В кабинете директора было пусто. В секретарской сидел зоотехник сельхоза Сургучев, только что вчера приехавший из командировки за покупкой для сельхоза и для корма лисицам скота. Он поздравил меня с избавлением от канала. Я засыпал его вопросами.

— Как теперь выглядит деревня? Полагаю — вы были исключительно в сельских местностях.

Сургучев пожал плечами.

— От деревни одни воспоминания. Нет деревни. Погибла деревня. Колхоз — это нечто непередаваемое. Вот представьте себе такую картинку: весь скот согнан в одно место. А в этом «одном месте» нет ни помещений, ни кормов. Работа идет по наряду. Каждый день колхозник мотается по разным работам. А уж какова эта работа — лучше не говорить. Скот голодный, без ухода, без хозяйского глаза. Падеж огромный, ибо лечить нечем и некому. И все это как будто никого не трогает. Колхознику все равно на все наплевать. Ведь его лишили имущества и у него пропал всякий интерес к хозяйству, к работе. Все голодны, все злы. Но все же — колхозники живы. В счет кабальных сделок о предоставлении колхозами рабсилы в рудники Донбасса, им дают продовольственные ссуды. Но вне колхоза гибель. Осенью всех обобрала центральная власть. Заметьте — не местная власть, а специально командированные на места члены правительства. И вся неколхозная трудоспособная деревня вымерла. Улицы пусты, все заросло бурьяном. В райисполкоме и губисполкоме оперируют страшными цифрами умерших от голода. Да, как это ни странно, но мы должны быть счастливы, что живем в лагерях. Здесь все-таки как-то можно жить. А там — смерть.

Наш разговор прервал пришедший Туомайнен.

— Ты, Смородин, сегодня примешь питомник, — обратился он ко мне, вызвав меня в кабинет. — Весь инвентарь тщательно проверь. Обрати внимание — у нас имеется два охотничьих ружья и винтовка-малопулька для отстрела хищных птиц в питомнике. Они будут храниться у тебя и под своею ответственностью будешь их давать, когда надо.

Какой неожиданный сюрприз: три ружья. Правда, это не винтовки, а только охотничьи ружья, но все-таки оружие, и при побеге буду не с голым руками.

Выслушав наставления патрона о разных мелочах приемки, я направился обратно в пущхоз. В конторе питомника мы корпели целый день над приемо-сдаточными ведомостями. Считали и пересчитывали инвентарь, животных и материалы. Наконец, на третий день мы закончили приемку и я стал завом зверсекцией зверосовхоза. Свою кабинку у крольчатника я покинул и поселился в самом лисьем питомнике. Там, в одном из его уголков, в непосредственной близости к клеткам со зверями, находился небольшой дощатый сарайчик, оставшийся еще от времен постройки питомника. В этом сарайчике я и поселился. Сюда не имели доступа даже чекисты, ибо вход в питомник им, как людям посторонним производству, был воспрещен. Лучших условий для подготовки побега трудно было бы найти.

3. МОИ КОМПАНЬОНЫ

Штат питомника был не велик — всего двадцать два человека. Но это был все народ крепкий и здоровый за исключением сторожа питомника, старого егеря Трушина. Хотя ему уже было под семьдесят, но он не терял своей бодрости и был легок на ногу. Старший зверовод Виктор Васильевич Косинов закончил весной срок сидки в лагере и остался здесь по вольному найму. Ему разрешили даже съездить за семьей в Ростов на Дону.

Мало веселого сообщил Косинов в откровенном разговоре о своей поездке. Подтвердил то же самое, о чем пишут в концлагерь со всех концов нашего обширного отечества: голод, людоедство. Больше всего его поразило ругательское отношение населения к ГПУ. Его называли виновником бедствий и проклинали.

— Сижу я однажды на берегу реки за городом, — рассказывает Косинов. — Смотрю: идет высокий такой, лет под тридцать, детина с гармошкой. Нет ли, говорит, чего-нибудь поесть? Дал я ему селедку, да кусок хлеба. Молчит он и ест. Поел, поблагодарил. Ну, говорит, теперь сыграю вам. Играл он артистически хватаящие за душу мелодии. А потом как грянет марш «под двуглавым орлом». Эх, говорит, увижу-ли?.. Да так не договорил. Встал и ушел гармонист.

— Что же слышно о казачьих станицах? — спросил я.

— А много ли их и осталось? Даже и колхозников, не только что частных целыми станицами перебрасывали на жительство ни весть куда. А на их место — иногородних. Трудно даже представить себе, что произошло.

Косинов в своем новом положении вольного человека держал себя осторожно и в откровенные разговоры предпочитал не вступать.

Один из звероводов питомника освобождался и на его место я пригласил из крольчатника Петра Харитоновича Хвостенко. Я считал его человеком вполне надежным и годным для побега. Он горячо принял мое предложение. Я показал ему карту, компас и ознакомил со своим планом побега за границу, в Финляндию, через первобытные Карельские леса и болота.

— Нам нужно по крайней мере еще одного надежного человека, — сказал я. — Пожалуй хорошо бы было предложить составить нам компанию Василию Ивановичу?

— С удовольствием присоединится. А уж за надежность можно поручиться.

Я поручил Хвостенке переговорить со всякою осторожностью с Василием Ивановичем, не называя первоначально моего имени.

Василий Иванович Сычев — типичный сибиряк с Алтая. Во время коммунистического нашествия он было скрылся в Монголии, но спустя некоторое время нелегально вернулся обратно с целью вывезти и семью. Но как часто это бывает в подобных передрыгах, нарвался на патруль и попал в лагерь на пять лет, а за попытку к побегу ему удлинители срок до десяти. Какого духа был этот человек, лучше всего покажет собственный его рассказ о «безвестных могилах», слышанный мною от него во время наших лесных скитаний во время бегства.

* * *

В нашей Алтайской тайге, в горах, беспримерно лучшее житье. Там если у тебя ружьишко в руках, голодным не будешь. Опасного то зверя, почитай, что и нету. А так зверья всякого и птицы, прямо сказать без числа. Ну, и народишко таежный, это тебе не то, что здешний, — сурьезный народ.

— И села то у нас совсем не такие, как здесь. Село себе и село. Тут вон, в Карелии, живут по избышкам разбросанно, каждый сам по себе. Ни тебе дворов, как следует, ни ворот. А у нас все устроено по-русски: тут тебе и улицы, и церковь, конечно, и дворы забором обнесены, и у каждого, конечно, настоящие ворота. В первые годы комиссары боялись к нам и нос показать. Как только приехал какой-нибудь Иваново-Вознесенский комиссар, глядишь, уже где-нибудь по дороге из села лежит вверх копытами. Ну, однако, потом и коммунисты прихитрились. Первым делом начали на селе всякую склоку разводить. Сначала при сбореразверстки. Конечно, как разузналось что за комиссарская власть, каждый давай прятать: хлеб ли, орех ли кедровый и все другое. У кого найдут, а у кого и нет. Найдут продотрядчики спрятанное, ограбят и хозяина поддразнивают: мы, мол, от соседей твоих узнали где оно у тебя было запрятано. Конечно, кто стерпит, а кто и нет, и давай тоже указывать, где у кого что есть спрятано. И пойдет по селу склока гулять. Тут, в этой мутной воде, комиссары и действуют. Ну, конечно же, люди дознаются кто и на кого комиссарской власти доносил, так тем волей-неволей приходится подаваться в комиссарскую сторону. Таким то вот образом у нас с годами завелись сексоты и активисты.

— Я из своего села в Монголию ходил. Больше года не был дома. Пришел это и села своего не узнал: без малого в каждом доме по покойнику, много было в тот год расстреляно. И за что — не поймешь. Народ весь запуган, а самые смелые ухачи, которые в подвалах расстреляны, а которые в тайге кочуют круглый год.

— Однако, и я стал жить на заячьем положении: в селе только ночью, а днем в тайге. Осторожным стал. Да и как тут не быть осторожным? Комиссары то совсем бояться перестали: ездят как к себе домой. Ну, однако, узнал я тут в подробностях все ихняя штуки. Все то у них на обмане живет. Был тут у нас ихний, из наших проданся. И вот прикинулся он ихним, комиссарским, врагом, стал рассказывать, вроде по секрету, будто в тайге у него есть целая шайка белых. И будто даже офицер имеется. Ну, соблазнил он это, многих, стал их в свою шайку тянуть. Да, что — в соседних селах принялся деньги собирать на белую армию! И вот назначил ночь, чтобы убить всех местных комиссаров. Только всех, кого этот сексот смутил, еще днем арестовали. Вот и получилось по этому делу, что в каждом доме — покойник.

— Был у меня еще брат двоюродный. Вот горячий был человек. Чудом вырвался он из-под ареста и тоже в тайгу ушел. Ну, за ним, конечно, слежка — поймать бы надо. Ну, только Спиридон Иваныч не таковский был человек, чтобы его на мякине провели. Он себе не только в тайге поживал, а и раскидывал умишком, как бы заманить ему в лес трех главных деревенских сексотов. И что ты думаешь? Ведь заманил! Башка у него была золотая. Заманил всех троих и в тот же вечер убил и зарыл на болоте.

После этого дела стало на селе повольнее. Ну, однако, все еще коммунисты и чекисты держали силу в своих руках. И вот тут Спиридон Иваныч опять номер выкинул. Приказывает он своему сынишке — старшаку, что с ним скрывался, явиться в сельсовет с

повинной, что, мол, с отцом разошелся и не желает больше в лесу жить, — ну, словом, прикинуться ихним.

— Хорошо. Является парень с винтовкой в сельсовет, отдает оружие, и, — делайте, дескать, со мной, что хотите, а в тайгу больше не пойду. Живет парень месяц и другой. Конечно, на селе все от него сторонятся: виданное ли дело — против родного отца пошел и коммунистам продался. Однако, чекисты решили поймать Спиридона Иваныча и использовать для этого дела его сына. Стали его готовить как обмануть отца. Запутляли тонкое дело. Кабы парень и вправду от отца ушел — не быть бы Спиридону Иванычу живу. И вот, значит, должен парень выдать отца.

— Идут с ним в лес трое самых главных сексотов в селе. Должны были они захватить Спиридона Иваныча на болоте, на тех самых могилах, где зарыты сексоты. Сперва сын должен был придти и вызвать отца, а потом те трое его бы и прикончили.

— Вот приходят вчетвером на могилы. Они и говорят ему: — Ну, теперь, парень, ты свисти отца, а мы вот тут за кустами спрячемся. И только это они так разговаривают, как сзади подходит Спиридон Иваныч, сам третей — с двумя сыновьями. Спихнулись сексоты: «пропали наши головушки». Ну, тут, конечно, Спиридон Иваныч с тремя сыновьями окружили их, — им и податься некуда.

— Побросали они оружие и совсем пали духом. Ну, однако, один стал просить Спиридона Иваныча, сватом он ему был: «Пусти, дескать, не бей. Что тебе, дескать толку от нашей смерти? А живые мы, дескать, тебе пользу принесем». Тут подвел он их к могилам убитых сексотов и говорит:

— Хотел было я вас на это сексотское кладбище отправить, да вижу, не совсем у вас еще совесть погасла и не в конец вы обасурманились. Клянись мнездесь, что бросите сексотничать.

— И вот те трое живыми остались. Ну, после искупили они свой грех полностью. В сельсовете сказали, что мол Спиридон Иваныч бросился со сторчаков каменных прямо в бурун на речке и утоп. А сами зорко стали следить: как заведется вредный сексот, они его заманят на болото, да Спиридона Иваныча вызовут. Устроит он суд и в болото. Прямо кладбище из безымянных могил открыл. Жив ли вот сейчас — не знаю. Тут было и коммунисты в ГПУ прочуяли, но как деревенские коммунисты и сексоты молчат, то и ГПУ в этом деле им не помощь. А те, наши сельские, помнят сукины дети безымянные могилы, да меткое ружье Спиридона Иваныча.

* * *

За свою четырехлетнюю работу по звероводству и кролиководству, я накопил богатый научный материал по вопросам кормления и разведения животных. Мне хотелось многое и самое важное из этих материалов захватить с собой. Пришлось дни и ночи коптеть над всякого род выписками и вычислениями. Мой ближайший сотрудник-генетик профессор Кондырев начал даже косо на меня поглядывать из-за манкирования мною своими прямыми обязанностями...

Мои компаньоны по особо составленному нами плану собирали понемногу продовольствие. Укромных уголков в обширном питомнике было сколько угодно и вопроса о тайном складе у нас не было. Использовать для добычи продуктов зверкухню было опасно из-за сексотов. Василию Ивановичу пришла счастливая мысль достать просто рису в зерне. Рис является одним из часто употребляемых для кормления лисиц кормов. В складах пушхоза он всегда был в большом количестве. Оставалось только найти способ добыть рис из склада.

Харитоныч тщательно исследовал склад продуктов. Помещался он в досчатом сарае. В подполье этого сарая было нетрудно проникнуть. Мы решили забраться под склад, просверлить пол под завромом с рисом и таким образом приобрести мешок этого необходимого для нас продукта. Тяжелая задача просверлить пол и насыпать рису выпала на долю Петра Харитоновича. Я снабдил его хорошим буравом. Днем, когда склад не охранялся, Петр Харитоныч и Василий Иванович достали кил семьдесят риса. Мешок был спрятан в кустах. На другое утро я с Василием Ивановичем под предлогом деловой поездки, переправили мешок на лодке на мыс Оров Наволок и там спрятали. Все это на диво произошло без сучка, без задоринки, вот так же гладко, как об этом повествуется. Нам положительно везло.

В июне месяце был официально открыт Беломоро-Балтийский канал, хотя заканчивали его, вероятно, еще года два. По случаю события канал посетили Сталин и Молотов. После этого визита на канал направились целые толпы советских вельмож: чекисты высоких рангов, наркомы. Вся эта разнообразная компания считала своим долгом посетить зверхоз и осмотреть питомник. Надоели мне эти паломники чрезвычайно. Сколько чекистских фотоаппаратов запечатлели мою контрреволюционную личность во время пребывания всяких экскурсий в питомнике. В заключение в питомник прибыли триста матросов с военных судов, прибывших для прохождения по каналу. К слову — канал или собственно коробки шлюзов имели ширину только четырнадцать и восемьдесят пять сотых метра и через канал поэтому могли проходить только малокалиберные суда.

Толстый, как откормленная свинья, советский орденосец-поэт Демьян Бедный, прогуливаясь по питомнику у клеток с соболями, повествовал то анекдоты, то начинал хвалить Финляндию и финнов. У него даже есть, по его словам, и дача в Финляндии. Окружающие его чекисты подобострастно слушали.

В нашей звероводной конторе профессор Кондырев рассказывал Пришвину о своем деле, о том, что его посадили в лагерь за здорово живешь. Пришвин сочувственно качал головой, но, ясное дело, помочь ничем не мог. Он заехал в зверосовхоз собирать интересный для беллетриста материал о жизни диких зверей в неволе. Профессорская история ему не пригодится, ибо она шаблонна, как шаблонна «карательная политика ГПУ».

Между тем время побега уже приближалось. За несколько дней до побега мы решили прихватить с собой казака Митю Сагалаева. Парень был надежный. Хотя ему оставалось сидеть только какой-нибудь месяц, однако, он с удовольствием и радостью согласился составить нам компанию.

4. ПОБЕГ

Воспитатель Грибков зашел ко мне и снова начал приставать — сообщить лагерному БРИЗ-у о моем изобретении. Я опять отговорился.

— Вот я вам принес от КВЧ за ударную работу на производстве талон на три дополнительных письма.

Я взял талон на письма, нужный мне, порвавшему все связи с внешним миром, как прошлогодний снег. Вместе с премиальной карточкой этот документ свидетельствует об изобилии социалистических благ в царстве социализма после восемнадцатилетнего упрямства в государственном строительстве.

Разговор у нас перешел на соцсоревнование и ударничество. Затеял его собственно я. Мне нужно было произвести некую диверсию для прикрытия нашего побега. Я предлагал.

— Если вы считаете за нами недоимки по соцсоревнованию с крольчатником, то мы можем их теперь восполнить. Ежегодно наше хозяйство заготавливает для зверей ягоды черники и рябины. Черника уже, пожалуй, отошла. Придется напирать на рябину. И вот этот сбор можно возложить на звероводов в качестве дополнительной нагрузки. Этим мы и покроем всяческие наши недоимки по соцсоревнованию.

Грибков расцвел и на прощанье сказал:

— Значит как-нибудь на днях устроим производственное совещание и это дело обмозгуем.

Между тем у администрации лагпункта стала заметна некоторая нервность. Несколько заключенных были отправлены на Соловки, очевидно, в предвидении возможности их бегства. Однако, полковник гвардии Камыш, завхоз всего лагпункта, перехитрил администрацию, отправляющую его на Соловки. Утром, подъехавший за ним к его кабинке грузовик с охранником, долженствующий доставить Камыша в Медгору для дальнейшего направления на Соловки, уехал без полковника. Кабинка полковника оказалась пустой. Исчезали и его вещи. Камыш как в воду канул. Дня через три исчез бесследно повар пушхоза, уехавший в Медгору с каким-то поручением. Вероятно, добыл липу ^[25] и уехал спокойно по железной дороге.

Положение становилось тревожным. Нам надо было действовать, ибо усилился надзор и слежка. Пришлось срочно собраться нам и назначить день побега. Выбор наш пал на четвертое сентября. В этот день у Василия Ивановича был «выходной день» и он имел право отлучиться из питомника. Харитонычу дано было специальное поручение, также дающее право на такую отлучку в назначенный день. Оставалось зарядить соответствующую туфту и дать возможность отлучиться мне и Мите. Туфту эту я зарядил весьма удачно, назначив накануне дня побега «производственное совещание».

Вечером в конторе собрались все работники питомника и баклаборатории. На таких совещаниях по положению председательствовал завцехом — в данном случае я. Политический директор и воспитатель Грибков были тут же.

Я начал волынку с нудного доклада по соцсоревнованию, надоевшего до тошноты и мне и слушателям. За мною говорил Грибков, за ним директор, два, три «активиста». Остальным оставалось только приветствовать мое предложение — вместо отдыха после работы, ехать или идти в лес за рябиной. Начали составлять план — кто и в какую очередь идет в лес.

— Где же находить ту рябину? — спрашивает один из звероводов, — а вдруг, да её не окажется в лесу? Как же тогда выполнять задание? — Вопрос серьезный. Но я быстро нахожу из него выход.

— В таком случае я поеду завтра на разведку месторождений рябины. Можете отпустить со мною Сагалаева? — обращаюсь я к Нечаю.

— Ладно, заменим его на работе. Только это нам пусть зачтется в ударную работу.

На том и порешили.

Выходя из прокуренной конторы, я столкнулся с капитаном моторного судна, приобретенного недавно пушхозом.

— У вас имеется бинокль из питомника, — обратился к нему, — так он мне завтра будет нужен. Вам его теперь все равно не нужно: ваше судно ремонтируется. Когда судно выйдет из ремонта, бинокль я вам возвращу.

— Да, пожалуйста возвратите, — сказал капитан, передавая мне бинокль.

Нам продолжало везти: моторное судно могло быть при малейшем подозрении послано за нами в погоню, а теперь этой опасности нет.

Сегодня начальник охраны вызвал всех технических администраторов и обязал их подпиской следить за рабочими — заключенными, не готовятся ли к побегу, рассказал подробно как узнать готовящегося к побегу по его поведению. Я с особым удовольствием дал ему свою подписку — пусть надеется.

* * *

Четвертого сентября 1933 года ясным утром я стоял на песчаной отмели Онежского озера в глубоком заливе. Озерная ширь расстилается передо мною. Вдали маячат маленькие островки. Под лучами утреннего солнца тихая гладь озера дышит миром и покоем. Недвижно стоят прибрежные леса, не шелохнется камыш на отмелях.

На душе у меня смутно и тревожно. Вот он наступил назначенный день. Сегодня надо сделать решительный шаг, надо смело взглянуть в глаза судьбе: или свобода, или смерть. Иного выхода нет. Но не опасность угнетает меня в эту решительную минуту.

Я не думал, стремясь к побегу, о разлуке с Родиной. Но чувство любви к ней всегда жило в моем сердце, только я не ощущал его остро, как не ощущаем мы многое привычное. И вот теперь, в минуту расставания, это чувство помимо моей воли с особой силой проснулось, и тоскливо сжалось сердце.

Собираюсь с силами, стряхиваю нахлынувшую тоску и погружаюсь в холодные воды озера. Я купаюсь ежедневно по утрам до самых заморозков и это прекрасно на меня действует. Так и теперь: выхожу из воды твердым и решительным.

Около склада продовольствия обычная картина: зав складом выдает дневную порцию продуктов для зверей и кроликов. Бригадир зверкухни с Митей Сагалаевым, бригадир кормового отделения крольчатника — тут же. Несколько в стороне два сексота, очутившиеся здесь как бы случайно, дополняют картину.

Подхожу к группе.

— Ну, Митя, поедем на остров Левин за рябиной, — обращаюсь я к своему компаньону по побегу.

Митя молча следует за мной. Мы взваливаем на плечи весла, стоящие у крольчатника. Я вспоминаю о замке. Лодка у пристани на замке всегда. Посылаю Митю к бригадиру крольчатника за ключом. Митя возвращается немного обескураженный.

— Нет в крольчатнике ключа. Ключ у рыбаков. А рыбаки выехали на лов.

В это самое зремя из лесу по тропинке идет прямо к нам старший рыбак.

— Ключ от лодки у вас? — спрашиваю.

— У меня.

— Давайте сюда.

Рыбак, не сказав мне ни слова, передал мне ключ. Нам положительно везло!

У пристани моторное судно или по-здешнему «сойма», несколько лодок. Около — матросы и группа рабочих, занятых ремонтом. Вблизи пристани — навес, загруженный мешками с зерном, охраняемый сторожем художником Ваулиным. Никто не обращает на нас ни малейшего внимания.

Наша лодочка, не спеша, степенно вышла из-за загиба деревянной пристани и направилась вдоль прибрежных камышей за ближний восточный мыс. Вдали по спокойной поверхности озера скользят рыбачьи лодки. Мы благополучно огибаем мыс и подплываем к лесным зарослям за заборами питомника. Василий Иванович и Петр Харитонович уже ожидают нас там. Положение становится опасным: если теперь из-за кустов вывернется охранник — мы пропали. Все улики на лицо: три ружья, запасы продовольствия, бинокль. Но охраны не видно и мы торопливо грузим все на лодку. Петр Харитонович отправляется почти бегом на мыс Оров Наволок за спрятанными бутылками рыбьего жира и должен там на мысе к нам присоединиться. Мы втроем садимся на лодку и выезжаем из камышей.

Лодка весело скользит мимо мыса обратно. Опять мы видим пристань, силуэты рабочих, ремонтирующих судно. На нас, разумеется, никто не обращает внимания: мало-ли лодок проходит по этим водным просторам. Налегаем на весла и быстро подвигаемся к мысу Оров Наволок. Забравши Петра Харитоновича и спрятанный там рис, мы направляемся на самую оконечность мыса.

Мы почти не разговариваем. Внимание напряжено до крайности: нет ли где случайно охранника или сексота.

Безлюдье и тишина. С каменистой отмели на оконечности мыса открылась озерная ширь. Километрах в двенадцати от мыса на противоположном берегу озерного рукава словно уснули огромные лесные массивы.

В молчании я вышел из лодки на каменистую отмель, внимательно осмотрелся кругом и, помолвившись в душе, вынул компас и определил направление нашего пути мимо Аленина

острова. Еще момент — и весла дружно заработали. Наша лодка направлялась в глухое место на противоположном берегу, расположенное как раз по середине между двумя рыбацкими поселками.

Выгрузка заняла не более минуты. В следующий момент мы быстро начали нагружать лодку камнями с намерением утопить на глубоком месте. Операцию потопления пришлось проделать мне и вышла она у нас неудачно.

В момент погружения лодки камни сдвинулись к корме и лодка, погрузившись в воду, стала вертикально. Корма уперлась в дно и кончик носа выставился из воды. Получился сигнал, указывающий охране место нашей высадки. Нырнув к корме я стал под водой швырять камни из лодки. Однако, работа оказалась совсем не легкой. Минут сорок работал я изо всех сил, ныряя для выбрасывания камней. Наконец, полузатопленная лодка поднялась на поверхность. Я толкнул ее посильнее, предоставив дальнейшее легкому ветерку и, дрожа от холода, направился к берегу. Моя тренировка холодными купаниями и обливаниями зимой мне очень пригодилась: я не схватил даже насморка.

Молчаливый дремучий лес, сбегавший к самым водам с прибрежной возвышенности, принял нас в свои объятия. Мы живо углубились в лес и только там немного передохнули и начали приспособлять к переноске наши грузы.

Петр Харитоныч захватил с собою даже щипцы для резки проволоки на границе. Наши представления о границе были очень туманны и каждый рисовал ее себе по-своему. Петр Харитоныч представлял ее себе опутанной проволочными заграждениями и по сему случаю припас щипцы. Мы же взяли с собой топор и веревку, впоследствии сослужившие нам великую службу.

Теперь наша ближайшая задача — пересечь полотно Мурманской железной дороги и оттуда направиться по намеченному заранее маршруту.

Бодро шагаем по сухому хвойному лесу, напряженно всматриваясь вперед.

К полудню лес стал редеть: вероятно, скоро дорога. Однако, дороги все еще нет. На нашей карте она, к сожалению, не нанесена и определить где она невозможно. Уже под вечер добрались мы до каменистых отсыпей, они преградили нам путь, уходя на север и на юг из поля зрения. Пришлось идти прямо по этому каменному хаосу. Опасное это было путешествие, угрожавшее целостности наших ног. Но, слава Богу, ноги остались целы и мы преодолели это первое серьезное препятствие на нашем пути. Тяжелые мешки с провизией нас буквально душили — приходилось идти через силу, пока не добрались мы до железной дороги.

Первая ночь застала нас, возбужденных и радостных, на обширной свежей гари. Пожар здесь уничтожил верхний почвенный покров и обнажил камни. Идти в темноте по этому каменному хаосу — значило рисковать вывихом ноги. Мы прилегли на камнях, положив в изголовье свои тяжелые мешки. Но едва засерел рассвет, как уже бодро двинулись вперед.

Нам нельзя пользоваться ни дорогами, ни даже тропинками: везде могла быть засада. Наш путь лежал через леса, через бесконечные моховые болота. Приходилось идти прямо по зыбкой поверхности болот, по напитанным водою мхам. За спиной каждого из нас тяжелый мешок с продуктами, не дающий возможности двигаться быстро.

Зыбкая почва трясется вокруг от наших тяжелых шагов. Всюду блестят зеркала воды. Опасность стережет нас на каждом шагу. Но у нас нет выбора. Сфагновые болота, наиболее мокрые и зыбкие, сменяются клюквенными болотами, состоящими по большей части из пышных моховых подушек. В них нога тонет по колено. При ходьбе приходится высоко поднимать ноги, для того, чтобы опять погружаться в подушку. Шаги получаются детские. На болотах всюду поблескивающий своими кожистыми листьями болотный мирт, багульник, со своим одуряющим пряным запахом, и мох, мох без конца.

Силы напряжены до крайности то моховыми подушками, то зыбью торфяников. Давит плечи тяжелая ноша. Каждый раз, добравшись до сухого местечка, падаем в изнеможении и отдыхаем. А там опять моховые подушки, опять торфяная зыбь.

Только к вечеру мы достигли, наконец, до сухой, твердой земли и решили здесь провести ночь. Василий Иванович с удовольствием осмотрелся.

— Вот это местечко подходяще. Теперь роса упала на наш след и никакая ищейка нас не найдет. А человек в темноте по лесу не ходок.

— А как насчет костра? — осведомился Митя.

Разводим большой костер. Теперь опасаться нечего. Даже с горы наш костер не увидят. Ночью надежно. А вот днем дым видно, откуда хочешь. Днем костры жечь опасно.

Около полыхающего костра мы начинаем готовить еду. Через полчаса сварился рис. Кладем по две ложки рыбьего жира в каждый из двух котелков и с удовольствием съедаем все. У нас есть хлеб и даже немного сливочного масла, добытого мною по благу.

После еды мы весело болтаем, представляя себе, какой поднялся шум на нашей командировке, когда обнаружили наш побег.

— Я думаю — нам следует провести здесь на этом месте еще один день, — сказал я. — Отошли мы совсем не далеко и оставлять следы тут опасно. Пусть по берегу поищут собаки ищейки и нигде не обнаружат свежего следа.

Всю ночь и все утро мы проспали, не оставив даже никакой охраны. Однако, Петр Харитоныч побаивался погони и ночью не спал.

Теперь надо было подробно обсудить наш маршрут. Я наметил его таким: сначала идти километров пятьдесят на север. Затем в совершенно безлюдных местах повернуть на северо-запад и выйти к границе в местах глухих и, по бездорожью, неохраняемых строго.

Так мы и решили идти. Путь наш лежал почти параллельно Мурманской железной дороге, остающейся справа от нас. Лишь только начинался рассвет, как мы отправлялись в путь, в удобном месте варили обед и тотчас отправлялись дальше до остановки на ночлеги.

Однажды в полдень мы достигли высокого горного хребта. Василий Иванович быстро влез на дерево.

— Что там направо? — спрашиваю я его.

— Направо? Паровоз вижу. Мы все еще идем вдоль железной дороги. А на севере озеро.

— Большое?

— Вот это так озеро! Километров двадцать шириной. Что это за озеро? А влево дорога со столбами. Тут же на мысу деревня.

На карте было только одно большое озеро в этих местах — Сегежское. Несомненно, это оно и есть. Наш путь лежит к его западной оконечности.

— Где у него западный конец? — спрашиваю я Василия Ивановича.

— Вот сюда, на эту елочку.

Я определил направление по компасу и мы двинулись вперед. Только ночью подошли мы к Сегежскому озеру.

Ветер и дождь. В глубокой темноте мы идем по дороге вдоль озера, среди шумящего леса, готовясь ежеминутно попасть в лапы засады. Наконец, озеро кончилось, и мы свернули с дороги в лес. Дождь перестал. На наше счастье мы попали в березовые заросли, березовой корой развели костер и хоть немного подсушились и обогрелись.

Передохнув, мы свернули прямо на запад и шли в самых глухих дебрях бесчисленные озера, обширные болота, быстрые реки легли на нашем пути. Ни дорог, ни тропинок. По болотам виднелись только лосиные следы.

— Коли лось прошел, так и мы пройдем, — шутил Василий Иванович.

И мы идем. Зыблется зеленый болотный покров, мелькают зеркала воды, топорщатся кое-где спасительные кочки. Во многих случаях нас спасала быстрота ходьбы. Иногда положение казалось совсем безвыходным: почва зыблется, ноги утопают в грязи. Но где-нибудь в сторонке — спасительна кочка. Быстро к ней. В таких местах невозможно было идти друг за другом, приходилось расходиться, чтобы не завязнуть всем вместе. Неожиданно из болотных дебрей вздымались горные хребты, поросшие лесом, зачастую с мокрыми лысынами. Иногда горы были сплошь гранитными и приходилось буквально ползти, чтобы преодолеть это препятствие.

Как бы то ни было, но мы в конце концов втянулись. Каждый вечер уставшие и мокрые выбирали мы для ночлега обычно какой-нибудь глухой овраг, заросший и захламошенный. В этой глухой дебри разжигался большой костер, около него сушилась наша одежда, обувь, варилась еда и велись разговоры. Советская маска не скрывала более наших настоящих мнений, мы снова стали людьми. У меня на душе было совершенно спокойно. Мы знали: места тут совершенно не обитаемы и ночью пробраться к нам по лесу совершенно невозможно. Да и свет костра не мог быть виден, ибо закрывался деревьями и рельефом местности... Днем, случалось, пролетали аэропланы, обшаривая дебри в надежде случайно открыть беглецов из советского рая.

Мои спутники — ребята простые, идущие против советской власти только потому, что она мучает, разоряет и не дает житья. В наших разговорах у костра я стал вести с ними антикоммунистические беседы, старался осветить события в России критикой марксизма. И вот тут-то обнаружилось у моих собеседников две точки зрения.

Казак Митя и Василий Иванович твердо знали (даже и без моих бесед): вне сильной национальной России нам, к вообще русским, нет спасения. У Петра Харитоныча

напротив, была другая точка зрения: он оказался украинским самостийником и при том самого крайнего направления. Меня поразила его удивительная скрытность. Я знал его без малого года два, составлял ему блат и не имел ни малейшего понятия о его «самостийности». Сам я в первый раз встречался со слепой «самостийной» идеологией, производящей все беды и русские и украинские «от москаля». Мои компаньоны, конечно, горячо возражали Хвостенке и у них завязался странный спор.

— Ну, а коммунисты как? — спрашивает Митя, — они кто: самостийники или «москаля».

— Нехай будут хоть и коммунисты, або булы наши. Со своими мы справимся, а вот с москалями нет, бо сидят они на нашей шее уже богато время.

— Значит хохлацкий коммунист на другой манер? — язвит Василий Иванович.

Я начинаю постепенно и обстоятельно разбирать зоологическое самостийное положение о том, что все беды от «москаля», представлял ему неоспоримое доказательство о совершенной идентичности и одинаковой сущности коммунистов вне зависимости от народности. Но это ни в какой мере не повлияло на убеждения Петра Харитоновича. Так и остался он самостийником и теперь стал уже не Хвостенко, а Фостенко.

Митя рассказал нам про свое житье в эмиграции. Был он в Афинах, работал на пивоваренном заводе и до сих пор об этом вспоминает с умилением.

— Что же тебя, Митя, заставило вернуться на Родину? — спрашиваю.

— Смутили, — чешет он в затылке. — Поверил рассказам, будто нам ничего не будет после возвращения. Вернулось нас в тот раз человек семьдесят. Разных станиц, конечно. Жили сначала ничего. Ну, потом, конечно, потихоньку всех в конверт. Кого в лагерь, кого расстреляди. Мне пятерку дали.

— И то счастье, — заметил Василий Иванович. — Тебе вот хорошо, баба еще осталась в станице. А меня прямо чисто с корнем. Ну, однако, все же и у меня семья уцелела. Сыну у меня пятнадцать лет. Так он достал себе липу, да и айда из села. Совсем с Алтаю уехал. Эх, вот время пришло. В прежние годы мальчишка в четырнадцать лет совсем еще глупым считался: пасет скот, помогает бабам по дому. А теперь как двенадцать лет, уж он смотрит, как бы документ достать, да из села на вольный свет. Вот и мой. Уже через дядю мне письмо в лагерь прислал. В комсомол записался. Фамилия конечно липа. Мать даже к себе переправил. Написал и я ему перед самым нашим побегом так, чтобы другие не поняли. А Василий, мол, ушел за свою дорогу.

На двенадцатый день мы добрались до горного хребта, с приютившейся у подножия карельской деревушкой. Здесь могла быть опергруппа ГПУ и нам надлежало с особой осторожностью обойти эту деревушку. Задача наша усложнилась преградой в виде быстрой и шумной речки, протекавшей в конце поселка, у самого подножия горы. Кружной обход этого места занял бы целый день.

Пробираемся ближе к селению. Людей пока не видно. Вот дальше уже и идти нельзя: могут увидеть из деревни. Где ползком, где вперемежку наклонившись, мы добираемся до дороги. Перебегаем ее и скрываемся в прибрежных кустах. Как будто нет никого. Начинаем исследовать берег. Метрах в пятидесяти от нас, на берегу, стоят две пустые лодки с веслами. Людей около не видно. Широкая и быстрая река шумит по камням и

шуршит донной галькой. Через её быстрины и омуты перейти нечего и думать. Брода вблизи нет.

Решаем завладеть лодкой и переправиться. Быстро грузимся, отталкиваемся. Сильное течение относит лодку к югу, но мы усердно гребем к противоположной стороне: на руле Василий Иванович, я с Хвостенко на веслах, Митя наблюдает, не заметили ли наше присутствие. Противоположный берег тонет в глухой древесной заросли. Что там за этой зеленой стеной? Может быть сидит в кустах засада, а лодка только приманка и мы мчимся прямо в пасть ГПУ. Но раздумывать поздно. Лодка продолжает мчаться поперек речки, минуя водовороты с гребнями пены и шумливые мели. Вот мы уже и перебрались и уже вдалеке от берега, в лесной труппе. Опять скрываем следы от собак-ищеек: сыпим на следы нафталин и молотую махорку. С высокого дерева на встречной горе опять изучаем местность. Никакого признака жилья. Болота, озера, реки, хребты гор.

Продукты у нас убывают, силы падают. Однообразное питание рисом сказывается в упадке выносливости. Мы проходим в сутки едва семь-восемь километров. Дичи нет, леса словно кладбище — безжизненны и молчаливы. В довершение всех бед начинаются дожди, и мы идем мокрые, едва передвигая ноги.

5. В ДЕБРЯХ

Шестнадцатый день пути. С утра идет дождь. Болотные мхи напитаны водой, с каждой задетой нами ветки льются на нас холодные струи. Туман. Глушь. Настойчиво движемся вперед. Дождь идет до самого вечера. Наконец, мы, измученные и промокшие до нитки, подходим к горному хребту. Перед нами, среди густых елей высится голая скала. Разводим костер и подсушиваем насколько возможно одежду.

Продукты у нас на исходе, между тем пройдена едва половина пути. Силы наши надломлены лишениями.

— Нам непременно надо подойти к жилью и там добыть корову или лошадь, — говорит Василий Иванович.

Мы не возражаем: хлеба ведь здесь не достать.

Вечером следующего дня мы достигли высокого горного хребта и принялись изучать раскинувшуюся перед нами мозаику болот и озер.

— А вот и жилье, — говорит Василий Иванович, передавая мне бинокль и указывая на постройки на берегу длинного озера.

Среди дремучего леса действительно виднелись возведенные кем-то, новые постройки.

— Завод что ли какой, — недоумевает Хвостенко.

А мне вспоминаются рассказы чекистов — приятелей Туомайнена, о финской коммуне. Из Финляндии переходят советскую границу коммунисты и сочувствующие им. Общение советских граждан с такими беженцами повело бы к разоблачению коммунистической лжи о жизни на западе. Да и беглецы, при виде советских порядков, быстро превратились бы из сочувствующих во врагов. По этим соображениям здесь, в глухих, безлюдных дебрях, организована коммуна для финских беженцев... Разведка наша полностью подтвердила мою догадку: это была финская коммуна.

Мы пошли к берегу озера. Коммуна расположена на том берегу, здесь, около — паром, небольшая постройка: дом и, по-видимому, конюшня.

Наступила ночь. Мы стараемся поближе подойти к постройкам у парома. Вот и огонек между деревьями. Наш природный алтайский следопыт исчез во тьме, а мы остались его поджидать... Через полчаса он вернулся довольный:

— Ну, должно быть будет удача. Возле дома конюшня с двумя лошадьми.

Мы несказанно обрадовались этому известию, рассвет застал нас на берегу озера за толстым стволом упавшей сосны. Почти рядом пролежала лесная полузаросшая дорожка к домику. Взошло солнце. У домика никаких признаков людского присутствия.

— Чего же ждать? — сказал Митя. — Если в доме никого нет, так лошадей можно и днем увести.

Василий Иванович снова пошел на разведку. Через час он вернулся и сумрачно лег на прежнее место: конюшня оказалась пустой.

— Куда же девались лошади? — спросил Митя.

— Уехали на них, должно быть.

В наших тощих мешках провизии было всего на два дня. В лесах одна клюква, да брусника, дичи никакой. Все мы молчим, погруженные в невеселые думы. Призрак голодной смерти в глухих дебрях встает перед нами. Ходьба по звериным тропам слишком изнурительна и медленна.

Я лежу усталый и разбитый. Все члены как свинцом налиты. Лежать бы так без движения целый день.

Василий Иванович насторожился: где-то невдалеке послышалось ржание. Мы все вскочили, забыв осторожность. Лошадь! Действительно: по дороге бежала лошадь с боталом на ше. Каждый из нас хорошо знал, что ботало надевается, когда лошадь выпускают на пастбище. Стало быть, она не убежала.

Хвостенко вышел к ней навстречу, протянул руку и позвал:

— Сек, сек, сек...

Лошадь весело заржала и подбежала к нему. Он схватил ее за гриву, а удалой станичник Митя накинул ей на шею аркан из нашей веревки. В следующий момент общими и дружными усилиями лошадь расковали, обернули ей ноги тряпками из мешков, сняли с шеи ботало, тщательно спрятали все под мох, не забыв посыпать нюхательным табаком и скорым шагом отправились по тропинке на гору.

Только глубокой ночью добрались мы до вершины хребта и переночевав там, направились в самую глушь. К вечеру следующего дня мы пришли к уединенному озеру. У нас положительно не было сил двигаться дальше. В конце дневного марша, меня водрузили верхом на похищенного у коммуны коня, передав мне и все мешки. Перед самой остановкой Харитоныч начал осторожно переводить лошадь через ручей. В конце концов, лошадь вынуждена была сделать небольшой прыжок. Я потерял равновесие и вместе с

котомками начал ползти под брюхо остановившейся лошади. Мои компаньоны молча смотрели на эту незабываемую по комизму картину, но не могли даже расхохотаться — на это у них не хватило сил.

Мы решили остановиться дня на четыре. В тот же вечер туша убитой нами лошади была разделана по всем правилам охотничьего искусства и в снятой с лошади шкуре мы засолили нарезанное пластами мясо. Мы рассчитывали через два дня засушить его на вертелах. Пока же без конца варили и ели мясо, топили жир. Это было форменное пиршество.

В этих глухих первобытных лесах — хаос, не тронутый человеком. Упавшие, вырванные с корнем деревья валялись всюду в полном беспорядке. Мы укладывали целые стволы таких упавших деревьев и зажигали. Получался сильный, равномерный огонь. Около него удобно сушить конское мясо на деревянных вертелах, воткнутых одним концом в землю.

На второй день отдыха я сидел перед сложенным нами шалашем и чинил обувь. Тишина была полная, как-то всегда в Карельских лесах. Солнце уже склонялось к западу. Мои спутники спали. Призрак голода исчез совершенно и мы, успокоенные и полные надежды на скорое достижение спасительной границы, позабыли даже о всякой осторожности. Поправляя потухший костер, я услышал какие-то странные шумы. Сперва мне показалось, что это зашумел ветер в вершинах деревьев. Я стоял и слушал.

Вот где-то тут недалеко родился странный звук, словно ударили по сухому стволу звонкой палкой... Еще и еще... Собачий лай!

В один миг мы приготовились: спрятали лошадиные кости, собрали свои котомки, приготовили оружие. Отошли от шалаша к болоту. Василий Иванович пошел на разведку. Лай прекратился.

Вскоре вернулся Василий Иванович. Пока ничего особенного. Вероятно, рыбаки. Во всяком случае люди могли нас заметить и нам нужно торопиться с заготовкой продуктов из мяса. Лучше, если финская коммуна не нападет на следы исчезнувшей лошади. Василий Иванович советует: — ждать нечего: сегодня же ночью пересушим мясо. Ночью мы пока в безопасности; в темноте по лесу до нас не добраться...

Всю ночь шла горячая работа; пылал громадный костер, сушилась и жарилась конина. Утром, отягощенные припасами, мы вновь двинулись по бесконечным болотам и овражистым нагорьям. На одном из хребтов, лежащих на нашем пути, мы наткнулись на триангуляционную вышку, метров сорок вышиной.

Чудесный вид открывался с верхней площадки вышки. На добрую полусотню километров по радиусу раскинулась мозаика озер, лесов, болот. На дальнем западе хребты гор направляются уже с востока на запад. Это, вероятно, Финляндия.

Мы разложили на площадке вышки карту, но не могли точно ориентироваться; карта очень мало походила на местность. Мы жадно всматривались в дальний запад — предмет наших вожделений. Отсюда все казалось обманчиво близким. Мы чувствуем — цель наших стремлений не далека. Это сознание наполняет нас бодростью и мы неудержимо стремимся вперед.

Тропинка от вышки вывела нас на лесную дорогу. Наступила ночь, а мы все шли и шли по дороге, как заколдованные. Вот и широкая дорога с телефонными столбами. Она идет на

запад. Мы идем по ней, отбросив всякую осторожность. Километры так и мелькают. Наконец, дорога выводит нас на широкое шоссе, единственное, обозначенное на нашей карте. Оно идет на северо-запад вдоль границы. Нам нужно выйти еще севернее в глухие и менее охраняемые места. Настало утро, а мы все идем, но уже не по дороге, а сторонкой лесом. Идем, пока не выбиваемся окончательно из сил.

6. ЗАСАДА

Сегодня четвертое октября 1933 года — ровно тридцать дней, как мы скитаемся по звериным тропам. Нами овладело неудержимое стремление вперед. Предосторожности брошены. Наше ночное путешествие по дорогам, по-видимому, не охраняемым, нас окрылило. Будем идти и дальше. День можно переждать в лесу, а ночью снова по дороге. И вот сегодня, проспав весь день в овраге, мы вышли в серых полусумерках на дорогу. Мы намеревались пройти еще верст пятнадцать и тогда уже свернуть на запад к границе. От дороги до границы должно было быть не более двенадцати километров.

Тишина. Сначала идем напряженно прислушиваясь и всматриваясь в окружающее. По обе стороны дороги свежие гари. Всюду валяется множество обгорелых деревьев. Телефонные столбы частью сгорели, частью повалились под тяжестью падавших во время пожара деревьев. Телефонная проволока перепутана, порвана. Этот разгром еще более успокаивает нас и мы бодро идем вперед. Василий Иванович уже сокрушается о наших напрасных трудах. Мы могли бы давно пройти сделанный нами путь, если бы пользовались дорогами.

— Не может быть, — говорил он, — чтобы они все дороги охраняли. Дурака мы сваяли. Надо было беречься только первые десять дней, а в глухих местах идти по дороге. Давно были бы на месте.

Дорога делает поворот. Невдалеке, в вечернем полусумраке, ясно обозначается небольшой мост. Очевидно, к дороге у моста примыкает болото и пожар поэтому не уничтожил островка зелени. За мостом уже темнеет не горелый лес.

— Вот хорошее место, — говорит Василий Иванович, глядя на кусты налево, — следовало бы нам здесь отдохнуть. Торопиться некуда.

Мы смотрим на приветливую зелень кустов и продолжаем подвигаться к ним по дороге.

— Стой. Куда идете?

В двух-трех метрах от меня в положении «с колена» находился пограничник, направивший на нас винтовку. Двое других лежали рядом.

Только одно мгновение прошло после окрика. Пограничник еще не успел сделать движение и произнести обычное «руки вверх!», как я, прыгнув в сторону, пустился бежать. Моему примеру последовали все. Мы бежали по открытому месту к спасительному лесу, черневшему впереди метрах в ста.

Все, что я затем делал, было совершено бессознательно, автоматически. Первые десять-пятнадцать моих шагов, очевидно, ошеломили неожиданностью пограничников и они не стреляли. На самом бегу я вдруг с размаха валюсь на совершенно ровном месте. В самый момент моего падения пограничники открывают частый беспорядочный огонь. Я быстро поднимаюсь и бегу дальше. Гулкое эхо гремит выстрелами.

Я помню каждое мгновение своего бега. Помню, как я, вставая, оглянулся на пограничника. Как сейчас вижу его лицо с орлиным прыщавым носом. Он тоже встал и напряженно всматривался в моих, бегущих сбоку и опередивших меня, компаньонов.

Я продолжаю бежать, чувствую себя здоровым и сильным. Слышу стук своих шагов. Пробегаю еще шагов десять и снова валюсь на землю на совершенно ровном месте. Трещат выстрелы. Я опять поднимаюсь и вижу бегущих своих компаньонов. Василий Иванович посредине. Он все также, как и раньше держит ружье за ствол и едва на полголовы отстает от других. Ближе ко мне бежит Хвостенко и я вижу по скулову бугорку на щеке, как напряжены его мускулы. Митя бежит справа. Вот уже близок спасительный лес. Трое уже скрылись в лесу, а я все еще бегу под выстрелами.

Вот и лес. Я пробегаю еще метров двадцать в его глубину и останавливаюсь. Охрана продолжает стрелять. Я бегу вдоль опушки, окликаю вполголоса своих. Поворачиваю обратно, вновь зову. Никакого ответа. Еще два раза пробегаю вдоль опушки. Пробую углубиться в лес и натываюсь на болото. Заботливо осматриваюсь и собираюсь с мыслями. Первое чувство — радость: остался цел. Меня спасло, конечно, мое двукратное падение под влиянием чудесной, непреодолимой силы. Пограничники, вероятно, сочли меня раненым. Мелькает мысль: а ведь компас то у меня. Как же они без компаса? Не важно: Василий Иванович охотник-промышленник, — он их и без компаса выведет.

Сумрак окончательно сгустился и я с трудом подвигаюсь инстинктивно подальше от засады. Под ногами хлюпает вода. Вынимаю компас, нужно отойти на восток. Едва различаю стрелку и, взяв направление, двигаюсь дальше. Болото кончилось. Продолжаю идти и вдруг слышу странный шорох. Вот так неожиданность! Передо мною берег незнакомого озера. Стараюсь представить себе карту и никак не могу припомнить озера так близко от дороги. Подхожу еще ближе, всматриваюсь. Противоположный берег скрыт в полусумраке. Оттуда, с того берега веет ветер и у моих ног плещут волны.

Иду вдоль озера. Неожиданно чувствую под ногами невидимую во тьме тропинку и иду по ней. Опять неожиданность: из темноты вынырнула избушка. Рыбачья хижина, что ли? Обхожу ее и иду дальше. Берег озера уходит на юго-восток, я поворачиваю на север.

Странны эти блуждания в лесу впотьмах. Причудливые силуэты выявляются из тьмы и преграждают путь.

Только поверь этому, да сверни в сторону, — и пошел кружиться на одном месте. Я же прямо шел на эти призраки и они оказывались то кустами, то ветками ели. Часа через два пути из мрака выползли и мне преградили путь какие-то белесые громады. Оказалось — скалы, они образовали закрытие с запада. Я приютился у их подножия. Рука нащупала сухие сучья. Трепетный свет зажженного костра осветил массивные скалы и лапы густых елей, окружавших их плотным кольцом. Я вздохнул с облегчением: огонь мой никто не увидит. В лесу была тишина. Вытащил карту и при свете костра рассмотрел вновь. Напрасно: на ней и признака озера не было в этом месте.

Когда прогорел костер, я смел золу и оставшиеся угли еловой веткой, лег на согретую землю и тотчас заснул.

7. БОРЬБА ЗА ЖИЗНЬ

Утро. Ночные тени исчезли и передо мною все те же бесконечные болота и лес... лес. Спешу уйти подальше от вчерашнего происшествия.

Невыносимо тяжелый путь. Иду по зыбким болотам и редким возвышенностям с упавшим, горелым лесом на них. Иногда этот лесной хаос упавших стволов становится почти непреодолимым препятствием. Но мне рассуждать нет времени, ибо положение слишком опасно: кругом, конечно, рыщут с собаками-ищейками в поисках нас. Вперед, во что бы то ни стало — вперед!

В этой бешеной гонке проходит полдня. Вот опять из болота вынырнул невысокий длинный хребет, захламощенный горелым лесом и молодой порослью. И что же я вижу? На влажной земле свежий отпечаток конской подковы! А вот еще и еще...

Мигом исчезаю в кустах и ухожу в сторону от этого места, держусь самых густых зарослей. Нас несомненно ищут по всем доступным местам.

К вечеру я добрался до уютного глухого оврага, набрал сучьев и устроил нечто вроде шалаша. Ночью высушил хорошо одежду и снова улегся на теплое место из-под костра...

Вот и утро. Высунул голову из-под плаща и изумился: ослепительно белый свет резнул глаза. Опять неожиданность: все кругом покрыто снегом. Я спрятал голову под плащ и еще плотнее закутался. Положение становилось совсем скверным: идти по снегу — значит оставить следы и дать возможность пограничникам захватить себя врасплох.

Пролежал весь день и всю ночь, а на утро следующего дня пошел дальше по снежным полным воды болотам. Сапоги весь день полны ледяной воды. Утром съел последнюю горсть сухого мяса, оставив в запасе только немножко конского-топленого сала. К вечеру я едва передвигал ноги и уже через силу спустился в глубокий овраг, поросший густым ельником. На моховом покрове под елями — ни снежинки. У меня нет сил развести костер, и я валюсь на мягкий мох, только вынув руки из рукавов и укутавшись в полушубок и плащ. Засыпаю тяжелым сном.

Проснулся освеженным. Идет дождь и это меня радует: исчезнет снег и исчезнут следы мои. Однако, за день вымок совершенно: докучливый дождь промочил насквозь и мой плащ и полушубок. Но у меня задача — сегодня добраться до дороги, на которой нас встретила засада и дорогу эту пересечь. После катастрофы на дороге я, отступив на восток, пробираюсь глушью вдоль этой дороги. Сегодня с утра изменил направление прямо на запад и должен пересечь дорогу. Иду весь день, а её все нет и нет. Чувствую, как с каждым шагом увеличивается опасность, но все же шагаю изо всех сил. В котомке у меня, кроме кусочка конского жира, нет ничего съестного. Ягоды не попадают. Кое-где только на болотных проталинах и кочках попадается клюква.

День начинает блекнуть. Короток осенний день на севере. Неужели не дойду до дороги? Напрягаю остатки своих сил, едва передвигаю ноги в снежном, хлюпающем месиве. Наконец, в изнеможении останавливаюсь перевести дух под развесистой елью и неожиданно в просвете между косматых еловых лап вижу столбы с телефонной проволокой. Дорога!

Осторожно пробираюсь к дороге и застываю в напряженном внимании. Вся дорога в следах от конских подков и солдатских сапог. Возможно, что патруль только что прошел. Осторожно отхожу назад, нахожу глубокий овраг и останавливаюсь в нем на ночлег. Силы мои упали окончательно и я едва в состоянии двигаться. Но лечь нельзя — одежда мокрая, к тому же начался легкий заморозок. Но никогда еще мне не было так трудно развести костер: иззябшие пальцы плохо справлялись со спичками, сырые дрова не загорались. Пришлось для разжигания употребить часть бумаг из моего багажа. Наконец,

костер загорелся, отогрел мои иззябшие члены и я принялся за сушку: вылил воду из сапог, посушил их, слегка просушил одежду и не будучи более в состоянии бороться с усталостью, надел все полусухое и уснул. Впрочем, сон мой можно было только приблизительно назвать сном: небытие заливало сознание как только голова прикасалась к земле.

Ясное солнечное утро. Я с трудом расправляю после тяжелого сна онемевшие, скрюченные от холода члены и спешно собираюсь в путь. Сегодня решительный день, ибо мне надлежит пересечь дорогу, охраняемую патрулями. Может быть тут, где-нибудь совсем недалеко засада? Я чувствую, как опустился весь, как упали силы мои, сделав меня неспособным к сопротивлению. Душа моя полна отчаяния. Неужели всему конец? Неужели тут, у самой границы меня постигнет неудача и чекист-палач заработает три рубля «оперативных» на моей голове?

Я остановился в кустах, у края дороги, и впервые за долгие годы полуравнодушного отношения к религии понял всем сердцем, душой своей почувствовал, как во мне жил и руководил мною Промысел Божий.

Я поднял к небу полные слез глаза и с горячей молитвой обратился к Богу. Налагая на себя крестное знамение, с юношеских лет мною оставленное в равнодушии, я почувствовал, как в какую-то бездонную пропасть проваливается и мое отчаяние и мое изнеможение. Счастливый своим просвещением, я бодро зашагал вперед.

Кругом ни души. Пуста и дорога. Налево, у края дороги мерещатся постройки. А может быть, это мне только показалось? Я, не раздумывая, быстро пересек дорогу, ступая из предосторожности только на каблуки, и скрылся под елями на другой стороне.

Опять иду по лесу и налево от себя вижу речку, текущую на запад, вероятно, в Финляндию. Иду вдоль её прихотливых извивов, но она неожиданно поворачивает почти в обратную сторону, на восток, я бросаю речку и иду снова лесом прямо на запад. Из-за пригорка согретого солнцем, показывается тропинка. Кругом по-прежнему пусто. Возле тропинки множество брусники: её красные грозди сплошь покрыли землю. Сажусь и начинаю утолять голод брусникой. Кем проложена здесь в этих пустынных местах тропинка, и куда она идет? И почему именно здесь такая масса брусники? Эти вопросы возникают и потухают в моем сознании, не задевая моего спокойствия. На тропинке тепло и уютно.

Однако, пора идти дальше. Со вздохом вынимаю компас и беру направление. Через несколько минут ходьбы снова столбы с телефонной проволокой, снова дорога. Удивительное дело: что тут за обилие дорог? Слева вижу опять ту же прихотливую речку, но через нее переброшен небольшой, опрятный мост. Уж не граница ли? Быстро уйду от опасного места и возвращаюсь к утомительному странствованию по болотам.

Наконец, дорогу мне преградило обширное озерное дефиле ^[26]. Оно уходило из поля зрения и вправо и влево. Я остановился в нерешительности, где начать обход. Наконец, избрав северное направление начинаю путаться, блуждая между озерами и рискуя попасть на засаду.

Четыре дня блуждал я по дебрям без пищи. Теперь горные хребты ни разу не пересекали моей дороги — они шли на запад. По моим расчетам от дороги до границы оставалось двенадцать-пятнадцать километров, а между тем, я иду пятый день. Уж не перешел ли я

границу четыре дня тому назад, не ли я бруснику на самой границе? Но я по-прежнему избегаю тропинок и иду самыми глухими местами.

Тридцать восьмой день пути по звериным тропам.

Из-за гушины елей на солнце сверкает серебряная поверхность речки. Осторожно подхожу поближе и нахожу переход через нее из двух бревен, а за ним какое-то странное сооружение: два небольших навеса, крытых дранью. Перебираюсь через речку и осторожно залезаю под навес. Без сомнения — это становище лесорубов. По полу разбросаны бумажки, спичечные коробки. Как странно: в надписях латинский шрифт. Неужели я в Финляндии? Собираю бумажки, коробочки и бегу в ближайšie кусты. Внимательно рассматриваю надписи на незнакомом языке. Какие же они, если не финские? Я боюсь верить, боюсь ослабить напряжение воли, только что мною обретенной.

С удвоенным вниманием и осторожностью пробираюсь вдоль речки. Из лесу выскользнула тропинка. Стою в нерешительности: идти по ней или нет? На тропинке что-то белеет. Подхожу и поднимаю папиросную коробку. По диагонали на ней написано «Saïmaa». Я вспоминаю из географии финское озеро Сайма и медленно иду по тропинке в лес. И вдруг меня заливают волной радости. Я вздыхаю полной грудью и легким, решительным шагом иду вперед.

Поскорее бы встретить кого-нибудь, чтобы окончательно убедиться в избавлении.

Иду по утоптанной тропинке то спускающейся в болото, на пешеходный настил на нем, то взбирающейся на пригорки. Наступает ночь, а я все иду и иду. Поднимается ветер, начинает бушевать буря, гудят и стонут леса, а я все иду среди бушующего хаоса, пока силы не оставляют меня и я валюсь на землю.

Лежу изнеможенный и чувствую, как изнеможение во всем теле начинает заливаться волной радостной энергии и я, движимый ею, встаю и снова иду по тропинке среди бушующего леса.

Тропинка начинает спускаться под горку и, скользнув куда-то, исчезает в лапах развесистой ели. Я выхожу на широкое шоссе. Да, это, разумеется, Финляндия. Иду по шоссе на запад. Вдали в ночном сумраке блестит огонек. Смело иду на него. Одинокий домик выделился из тьмы освещенным окном. Около домика кто-то колет дрова. Подхожу вплотную.

Высокий парень, опустив топор, с удивлением смотрит на меня, изможденного, в рубище, без шапки.

— Это Финляндия? — спрашиваю я.

— Финляндия.

Я закрываю лицо руками и плачу, плачу...

* * *

Через день в карантине, Хвостенко и Митя Сагалаев рассказали мне об участии Василия Ивановича. Он был смертельно ранен и остался навсегда в лесу...

КОНЕЦ

1

ТОГПУ — Транспортное ГПУ

[\(обратно\)](#)

2

красный офицер

[\(обратно\)](#)

3

Это недавно возникший православный толк занесенный в начале нашего века на юг России с Афона и получивший чрезвычайно быстрое распространение на Северном Кавказе (в Терской области), на низовом Поволжье и в Южной Сибири. Имяславцы, иначе «имябожцы», учат, что антихриста нечего ждать: он уже пришел, панует на земле и всех православных тянет соблазном и принуждением в свое окаянное воинство. Дабы не быть, хотя бы случайно, записанным в число антихристовых слуг, имяславцы тщательно скрывают свои имена, дарованные им в благословение жизни самим Богом и должны к Нему же, по кончине человека, возвратиться. Поэтому на вопрос как его зовут, имяславец отвечает: «Бог знает». Это люди необычайной чистоты нравов, строгие вегетарианцы, живут общинами «братьев» и «сестер». Народ чрезвычайно трудолюбивый, но всякую работу по принуждению считающий повинностью на антихриста, а потому наотрез отказывающийся от таковой. В большевиках имяславцы увидели воочию пришедшее царство антихриста, а потому повсеместно оказали им непоколебимое пассивное сопротивление, до самоистребления, по образцу «христиан древнего благочестия» в XVII веке. Одним из главнейших распространителей имяславского учения был в последних годах прошлого столетия Булатович, бывший гвардейский офицер, потом участник в абиссинских авантюрах «граф» Леонтьев и, наконец, монах на Афоне.

Община имяславцев изображена П. Н. Красиовым в одном из его романов. Ред.

[\(обратно\)](#)

4

Он входил в систему того, что заключенные на своем выразительном языке прозвали «каторжную присягою». За правило было взято концлагерным начальством ошеломить новоприбывающих этапников грубым обращением и понуждением к непрерывному физическому труду до полного истощения сил телесных и до панического упадка духа; сразу ломали и силу и волю к сопротивлению. Ред.

[\(обратно\)](#)

5

Аврамий Палицын — инок Троице-Сергиевской лавры, агитатор-патриот, бытописатель и обличитель своих дней. Кудеяр легендарный волжский разбойник, о котором поется много песен в русском народе. Ред.

[\(обратно\)](#)

6

работаете

[\(обратно\)](#)

7

Соловецкое словечко — злостный лодырь. По расшифровке Б. Солоневича — фальшивый инвалид сол. лаг. особ. назначения.

[\(обратно\)](#)

8

Проститутка, занимающаяся ограблением своих клиентов.

[\(обратно\)](#)

9

Это редкое мистическое изображение, помнится, слывет «Знамением». Подобные имеются также в Московском Благовещенском и Ярославском Предтеченском соборах. Ред.

[\(обратно\)](#)

10

Нелепая книга Морозова в свое время наделала большой шум и, принятая с жадностью «полуинтеллигенцией», принесла не мало вреда простодушным читателям, привыкшим принимать за чистую монету печатное слово, изрекаемое с авторитетом учености, да еще из уст прославленного долгим заключением автора шлиссельбуржца. Но и на «левой» серьезные люди возмущались фантастической мистификацией «Откровения».

Большой друг мой, покойный Герман Ал. Лопатин, определял «Откровение», как научную шутку дурного тона. Так и отписал автору. Ред.

[\(обратно\)](#)

11

«Парашник» — передатчик всяких новостей, называемых «радио-парашами»

[\(обратно\)](#)

12

Нет искусства в этих соловецких стихах: голос отчаяния, стон из «юдоли сени смертной»... В воле Горького было внять стонам юдоли и внести луч утешительного света в её безнадежный мрак. Но он прошел сквозь нее как бы слепым и глухим. Если уж так, то хоть остался бы после того также и немым. Но, покорствуя властному «социальному заказу», не удержал ни языка, ни пера и — вместо того, чтобы дезинфицировать чумную язву соловецкой лжи и жестокости, восславил «царствие чумы», по чекистской шпаргалке, под указкою Глеба Бокия. Недобрую память оставил по себе Максим Горький на Соловках. Все прощают люди сущие в страданиях — даже обманутые надежды, — но обманутой веры в большего человека восстановить нельзя. Ред.

[\(обратно\)](#)

13

Отдел кустарных промыслов, использующий скульпторов, художников.

[\(обратно\)](#)

14

Уходи, спеши, проваливай.

[\(обратно\)](#)

15

Палка.

[\(обратно\)](#)

16

еда, жратва.

[\(обратно\)](#)

17

Помыть — обворовать, украсть

[\(обратно\)](#)

18

См. Ионин. По Южной Америке.

[\(обратно\)](#)

19

«При «залежной системе» использовалась не вся земля. Часть её «отдыхала» без использования.

[\(обратно\)](#)

20

Заведующий гужевым транспортом.

[\(обратно\)](#)

21

Подробно о спиритуалистах рассказывается в моей книге «Соловецкий заговор», готовящейся к печати. Автор

[\(обратно\)](#)

22

Опилки, например, по питательности не ниже картофеля, но на усвоение имеющихся в них питательных веществ организм тратит больше, чем этих питательных веществ в опилках имеется

[\(обратно\)](#)

23

шум, гвалт, тревога

[\(обратно\)](#)

24

«Утильсырье» — старый хлам: тряпки, бутылки и проч. Собирает его главутиль

[\(обратно\)](#)

25

Липа — подложный (не настоящий) документ

[\(обратно\)](#)

26

На фотографии, конечно, финский пейзаж, но он как две капли воды похож на встреченное мною дефиле.

[\(обратно\)](#)